ВСЕМИРНАЯ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Юрий КОВАЛЬ

ИЗБРАННОЕ



Избранное
Юрий Иосифович Коваль

Аннотация
Юрий Коваль. Избранное
«Коваль – это планета с мощным гравитационным полем…»
Недопёсок. Повесть
  Часть первая
    Побег
    Алюминиевый звон
    Характер директора Некрасова
    Давило
    Снежное поле
    В лесу
    Кто стрелял?
    Верея
    Барсучья ночь
    Маркиз
    Сто шестнадцатый разрывается на части
    Серая лиса
    Колпаки и колёса
    Бой с дворняжками
    Хороший плотник Меринов
    Пальма

Ночь в конуре
Большая Вера Меринова
Вчерашние щи
Полтабуретка
Часть вторая
Дошкольник Серпокрылов
На полюс!
Колёса, которые видит старик Карасёв
На севере диком…
Приключения на Северном Полюсе
Бой у ковылкинской сосны
Сервелат
«Всё путём»
Бег на Северный Полюс
Сикимора
В каждом приличном доме имеются мыши
Масло, подлитое в огонь
Третья ночь
Раннее утро в деревне Ковылкино
Утренние взгляды директора Губернаторова
Характер Веры Мериновой
Три телефонограммы
Что делать?
Каша, заваренная на большой переменке
Интересные задумки директора Губернаторова

Второй класс глядит на Менделеева
Два директора
Речь директора Некрасова
Наполеон Пятнадцатый
Зуб дошкольника Серпокрылова
Последнее убежище Наполеона
Окружение и погоня
Два дерева в чистом поле
Гора с плеч
Гора залезает обратно
Друзья звероводства
Директорское спасибо
Поздний вечер в деревне Ковылкино
Алый. Рассказы
Алый
Елец
Козырёк
Особое задание
Глава первая,. в которой появляется Галоша
Глава вторая,. в которой Галоша исчезает
Глава третья,. в которой Потап никого не признаёт
Глава четвёртая,. в которой имеются сосиски
Глава пятая,. в которой Галоша идёт в секрет
Глава шестая,. в которой появляется халат
Глава седьмая,. в которой Галоша становится

красным как рак
Глава восьмая,. последняя
Белая лошадь
Чистый Дор. Рассказы
По лесной дороге
Чистый Дор
Стожок
Весенний вечер
Фиолетовая птица
Под соснами
Около войны
Берёзовый пирожок
Лесовик
Железяка
Вишня
Колобок
Картофельный смысл
Кепка с карасями
Нюрка
Бунькины рога
Выстрел
Вода с закрытыми глазами
Клеёнка
По-чёрному
Подснежники
Последний лист

Листобой. Рассказы
- Капитан Клюквин
- Серая ночь
- Лабаз
- Лесник Булыга
- Белозубка
- Нулевой класс
- У Кривой сосны
- Картофельная собака
- Гроза над картофельным полем
- Листобой
  - Найда
  - По чернотропу
  - Веер
  - Ночные налимы
  - Шакалок
  - Колышки
  - Снежура
  - Лось
  - Листья
  - Кувшин с листобоем

От Красных ворот. Повесть
Полынные сказки. Повесть о давних временах
- Сказка про серые камни
- Сказка об огромных существах
- Сказка о какой-то штуке с золотым носом

Сказка о крыльце и завалинке
Сказка о Соседней комнате
Сказка о Главном Человеке
Сказка про деда Игната
Сказка о Полыновке
Марфушина сказка в три блина длиной
Сказка о полынном языке
Сказка о солдатике
Сказка о том, как Мишка уходил на войну
Сказка об игре в яйца
Марфушина сказка про степного брата
Сказка о том, как пришла осень
Сказка о том, как в школе начались занятия
Сказка о фамилии
Сказка об уроке русского языка
Сказка о сосновой лампе
Сказка про деда Игната и волка Евстифейку
Сказка о праздничных стихах
Сказка о снежных часах
Сказка о метельном празднике
Сказка о волках и глупой корове
Сказка о «Волчках»
Сказка о «Волчках». (продолжение)
Сказка о трёх рублях
Сказка деда Игната про другие три рубля
Сказка о сёстрах

Сказка о жареном гусаке
Сказка о ледянке
Сказка про серебряного сокола, которую рассказала Натакай
Сказка о сломанных дрожках
Сказка о приходе весны
Сказка о гусиных буквах
Сказка о строгом празднике
Сказка о сеятеле
Сказка о том, как не зацветала сирень
Дунина сказка про рябину
Сказка о чёрте с рогами и бородой
Сказка деда Игната про козла Козьму Микитича
Сказка про Катьку
Сказка о счастливой сирени
Приключения Васи Куролесова. Повесть
Часть первая. Усы и поросята
Глава первая. В деревне Сычи
Глава вторая. Тёртый калач
Глава третья. Парочка поросят
Глава четвёртая. Тёмная ночь
Глава пятая. Рыжий
Глава шестая. Обыкновенный мешок
Глава седьмая. Вася бьёт черноусого
Глава восьмая. По следу

Глава девятая. Усы
Глава десятая. Появление гражданина Курочкина
Глава одиннадцатая. Искры из глаз
Глава двенадцатая. «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые…»
Часть вторая. Водопроводчики
Глава первая. Нос уточкой
Глава вторая. Телеграмма
Глава третья. Допрос Матроса
Глава четвёртая. Матрос наводит на след
Глава пятая. Руки вверх!
Глава шестая. Три богатыря
Глава седьмая. Йод из Тарасовки
Глава восьмая. Рашпиль
Глава девятая. Каша в голове
Глава десятая. Засада
Глава одиннадцатая. Страшноватая ночь
Глава двенадцатая. Собачья жизнь
Часть третья. Запах мёда
Глава первая. Цветочек без поливки
Глава вторая. Щепки летят
Глава третья. Вася хочет быть лошадью
Глава четвёртая. Тёмная лошадка
Глава пятая. Перо
Глава шестая. Свист

Глава седьмая. Погоня
Глава восьмая. Мусорная урна
Глава девятая. Деньги не пахнут
Глава десятая. Всё ясно!
Глава одиннадцатая. Пчелиный знаток Емельяныч
Глава двенадцатая. Грузовое такси
Краткий словарик, на всякий случай составленный автором

Аннотация

В этот том замечательного писателя Юрия Иосифовича Коваля входят циклы рассказов «Алый», «Листобой», «Чистый Дор», повести «Недопесок», «Приключения Васи Куролесова», «От Красных ворот» и «Полынные сказки».

Открывается том интереснейшей статьей о жизни и творчестве писателя, написанной литературоведом Ириной Скуридиной.

Юрий Коваль
Избранное

«Коваль – это планета с мощным гравитационным полем…»

9 февраля 1938 года в Москве родился Юрий Иосифович Коваль, отец его служил в уголовном розыске, а мать была врачом психиатром. Писатель никогда не жаловался на тяжёлое детство, пришедшееся на войну, но эвакуация, голод и холод тех лет отозвались в его жизни костным туберкулёзом… В его семье не было литераторов, зато со школьным преподавателем литературы ему несказанно повезло. Владимира Николаевича Протопопова, описанного им позже в повести «От Красных ворот», никак нельзя было назвать типичным учителем. Он был талантлив и странен во всех своих проявлениях и, может быть, поэтому разглядел в среднем ученике, которого надо было подтянуть по литературе, личность… На всех уроках будущий писатель и его ближайшие друзья писали стихи, а классе в восьмом они даже образовали тайный союз поэтов, чем изрядно взволновали родителей.

Вечерние беседы о литературе сделали своё дело и в 1955 году Юрий Коваль поступил в Пе-

динститут, где с первых дней учёбы прослыл незаурядной личностью. Круг его интересов был удивительно широк: он занимался прозой Зощенко, рисовал в изостудии, пел и играл на пианино, банджо, гитаре, сочинял стихи и прозу для институтской газеты, играл в настольный теннис и ходил в походы… Всякое было в те годы: и прогулы лекций, и споры до хрипоты, кто хуже учится, и «шпаргализация» вопросов для зачётов, как говаривал известный бард Юлий Ким, учившийся на параллельном курсе, и разработанная Ковалём остроумная система подготовки к экзаменам по литературе: он приглашал девушек в кино и театр на постановки произведений, которые не успел прочесть. Короче говоря, в студенческие годы Коваль был настоящим гусаром.

Годы учения в институте можно смело назвать лицейскими, решающими в формировании будущего писателя. Это был золотой век Пединститута, преподавательский состав в те годы сложился блестящий и студенты ему соответствовали: с Юрием Ковалём учились ставшие известными всей стране барды Юрий Визбор, Юлий Ким и Ада Якушева, поэт Юрий Ряшенцев, театральный режиссёр Пётр Фоменко и многие другие. Главная задача учителя была, по словам

сокурсника Коваля, будущего директора школы Семёна Богуславского, развивать в себе незаурядность, чем, собственно, и старались заниматься тогдашние студенты. Бóльшую часть времени они проводили в институте, дневали и ночевали там порой в прямом смысле слова, а частые туристические походы помогали не расставаться.

Несмотря на частые публикации в институтской газете, Юрий Коваль не был доволен написанным в то время. И так уж получилось, что, сочиняя с детства, в живописи он всё же проявил себя раньше, чем в прозе: в институте закончил курс изобразительного искусства и, получив звание преподавателя рисования, готовил себя к карьере художника. Уже в начале 60-х ему как художнику было что показать. Тогда, отработав год после института в сельской школе в Татарии, он привёз в Москву несколько взрослых рассказов, и целую серию ярких живописных полотен, написанных маслом. Рассказы не были опубликованы, а вот поражающие буйством красок картины были высоко оценены в мастерской его друзей московских скульпторов Владимира Лемпорта, Дмитрия Сидура и Николая Силиса. С этими художниками, которых он впоследствии называл своими учителями, Юрий Коваль не

прерывал связь до последнего дня своей жизни, без малого сорок лет. Это с их лёгкой руки он приобщился к скульптуре, делал и обжигал в их печи керамические тарелки и панно, нашёл свой стиль в технике горячей эмали. В свою очередь они признавали, что интересом к живописи их заразил именно Коваль.

Вернувшись из Татарии, Юрий Коваль несколько лет работал учителем в школе рабочей молодежи, литсотрудником в только что созданном журнале «Детская литература», иногда печатаясь вместе с однокурсником Леонидом Мезиновым под псевдонимом Фим и Ам Курилкины, а в 1966 году навсегда ушёл «на вольные хлеба». Изредка подрабатывая журналистикой и литературным трудом, печатаясь еле-еле, Юрий Коваль оставался верным себе и при первой возможности хлопотал за друзей, пытался опубликовать, пристроить рукопись, подавал массу творческих идей, вовлекал в коллективные проекты. В те годы в издательстве «Малыш» были опубликованы первые книжки Коваля: сборники стихов «Станция Лось» (1967) и «Слоны на Луне» (1969).

По заданию журнала «Мурзилка» в 1968 году поэт Юрий Коваль отправился в командировку на погранзаставу писать стихи о границе, а вернув-

шись в Москву, вместо стихов написал рассказ «Алый», принесший ему первый громкий успех. «Вот тут-то я и поймал прозу за хвост», — сказал об этом времени писатель. Жизнь погранзаставы и борьба с нарушителями границы описаны в этом рассказе, но всё же он о верности и любви человека и собаки. Молодой писатель не боялся «недетских» тем, оставался при этом искренним и поэтичным, как в описании смертельно раненого истекающего кровью пса: «Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем». Рассказ издали огромным тиражом, о нём написали в газетах и журналах, кинорежиссёр Юлий Файт снял по сценарию писателя художественный фильм… После «Алого» Юрий Коваль продолжал писать и публиковать рассказы из «пограничной» серии, но сам почему-то не был ими доволен. И тогда произошло важное событие в его литературной биографии, он принял решение не работать долго в одном жанре, менять его практически в каждом новом произведении.

Ещё школьником Коваль увлёкся охотой и со знакомыми охотниками совершал короткие вылазки в леса, в институтские годы он был уже заядлым охотником и рыболовом. Его друг, проза-

ик и страстный охотник Вадим Чернышёв писал о Ковале: «Его охотничья и рыбацкая страсть не была всепоглощающей, диктующей как жить, — её было отпущено ему судьбой столько, сколько нужно, чтобы мир обрёл краски и запахи, чтобы всё это нашло отражение в его творчестве». Действительно, редко встретишь в его прозе сцены охоты, мало того, всю сознательную жизнь Юрий Коваль считал защиту природы самым главным делом на земле. Регулярными стали его дальние поездки в глухие уголки и маленькие деревни Урала и русского Севера, где он жил порой неделями и месяцами. Автомобильные и пешие путешествия по Вологодчине и жизнь на Цыпиной горе возле Ферапонтова монастыря сформировали интерес писателя к традиционному деревенскому и особенно северному русскому быту и языку.

Вокруг него царила атмосфера творчества. Уезжая из Москвы, по настоянию Коваля, его друзья брали с собой альбомы для рисования, карандаши и фломастеры. С удовольствием ведя свои дневники поездок, он приучил и многих из них записывать значимые события прошедших дней. Коваль не был педантом, с карандашиком и записной книжкой в руках не ходил, равнодушен

был и к сбору вырезок о себе и своём творчестве из журналов и газет. Его записи были дневником художника, он вёл их в огромных альбомах, называл «Монохрониками» и вклеивал туда же наброски, рисунки и разные памятные бумажки. Работа эта спасала его в трудные времена, помогала оставить в памяти важные и мелкие подробности жизни. На основе этих записей позже было написано и опубликовано «Веселье сердечное» («Новый мир», 1988 № 1), повествование, сохранившее бесценные сведения о старшем друге Коваля самобытном писателе-сказочнике Борисе Шергине. Молодым журналистом-словесником пришёл он когда-то брать у него интервью, и был потрясён встречей с полуслепым стариком, открывшим для многих из нас неведомый богатый мир архангельских былин и сказаний. Шергин стал для Юрия Коваля наставником и учителем, дал ему рекомендацию в Союз писателей.

Четыре рассказа, привезённые из Ферапонтова, легли в основу книги «Чистый Дор» (1970). В книгах Коваля этого времени, как в размышлениях его героини девочки Нюрки, радость и печаль рядом, жизнь и смерть не противостоят друг другу, а сосуществуют на фоне вечно обновляющейся природы. В литературе для детей

появился новый герой — бесхитростный и хитроватый одновременно, способный на поступки, по-детски открытый, радостно воспринимающий природу и людей. В те годы Юрий Коваль окончательно и бесповоротно решил быть детским писателем. «Всё, что я мог бы сказать взрослым, я говорю детям, и, кажется, меня понимают. Именно занятия детской литературой очистили мой стиль, прояснили мысли, выжали воду из произведений», — писал Коваль. Помогала ему в работе отчасти фантазия, но более всего память и зоркость. Он видел то, чего не видели его спутники, шедшие с ним рядом той же дорогой. А если видели и называли, то, назвав, забывали, а он подхватывал и своё, и чужое вылетевшее и забытое слово и вплетал его в ткань того, что писал в данный момент. Да так, что сказавшему оставалось только удивляться. В рассказах Коваля обыкновенные берёзовые веники в раскалённой бане «жар-птицами слетали с потолка», «картофельная собака» Тузик при встрече «фыркал и кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол», яркая клеёнка с васильками в деревенском магазине ослепляла, «будто кусок неба, увиденный со дна колодца», а на воображаемых погонах дошкольника Серпокрылова «куда боль-

ше сверкало звёзд, чем в созвездии Ориона».

Новый поворот жанра назрел, и в 1971 году вышел в свет пародийный детектив «Приключения Васи Куролесова». Герои и сюжетная канва были взяты из рассказов отца писателя, начальника Уголовного розыска Московской области, дослужившегося до звания полковника. Он не участвовал в битвах на фронтах, но во время войны ловил бандитов, и в 1943 году те прострелили ему обе ноги и живот. «Все мои книги он очень любил, охотно их читал и цитировал, — вспоминал писатель. — Правда, при этом говорил: „Это, в сущности, всё я Юрке подсказал“. Что и правда в смысле Куролесова и куролесовской серии». Юрий Коваль гордился своим отцом и очень ценил его колоритный малороссийский юмор. От него, очень смешливого и смешившего слушателей любым своим рассказом, писатель узнавал забавные детали уголовных историй и типичные черты представителей бандитского мира. В результате в этой и других книгах серии — «Пять похищенных монахов» (1977) и «Промах гражданина Лошакова» (1989) — бандитов не осуждает суд и не бичует сатира, они просто выпадают из жизни, как не совместимые с красотой и гармонией природы… На вечере Юрия

Коваля в Детской библиотеке на сцену вышла библиотекарь с лохматой зачитанной книжкой в руках, это были «Приключения Васи Куролесова». «Сколько писателей, — сказала она, — мечтают, чтобы их книги в библиотеках были именно такими, зачитанными до дыр, в то время как у многих из них книжки стоят на полках новенькими и блестящими, потому что их не касалась рука читателя».

Юмор и острая фабула — приметы прозы Юрия Коваля, считавшего, что воспитание чувства юмора это в конечном итоге воспитание свободы души. В 1972 году повесть «Приключения Васи Куролесова» победила во Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. Ещё раньше по счастливой случайности она попала в руки известного немецкого переводчика Ханса Бауманна, что предопределило её судьбу за границей. На Франкфуртской ярмарке книгу купили сразу несколько издательств, она была переведена на разные языки и издана по всей Европе и на других континентах. Друзьями Юрий Коваль не был обделён никогда и «случайная» встреча с прекрасным переводчиком в Германии была закономерной удачей. «В нём была необыкновенность, особость таланта, — вспоминала его однокурсница

филолог Роза Харитонова. — Он помнил каждого человека, который оставил след в его душе. Коваль обладал редким даром — рядом с ним человек чувствовал себя красивее, умнее, достойнее, чем думал о себе прежде».

За комическим детективом в творчестве Юрия Коваля последовал цикл коротких рассказов о природе «Листобой» (1972), где тонкий лиризм соединяется с неизменной иронией и самоиронией, и сборник «Кепка с карасями» (1974) — итог 10 лет работы писателя в детской литературе. Писателю совсем стыдно не знать, что его окружает, птицы ли это, звёзды или растения, считал Юрий Коваль. «Всё, что я ни придумал бы сам, всегда хуже того, что я увидел в натуре. Безмерно приятно узнать растение в лицо и сказать кому-то: А вот козлобородник». Одной из его настольных книг был двухтомник «Травянистые растения СССР», который он купил в трёх экземплярах, так ему понравился текст и рисунки. Однажды друг Юрия Коваля детский писатель Виталий Коржиков, посадил дуб и поделился с ним желанием видеть этот дубок таким же, как красавец-дуб на иллюстрациях их общего друга известного книжного иллюстратора Николая Устинова. «А ты возьми Колин рисунок, — сказал Коваль, — и

дубу покажи». «Ты с ума сошёл», — сказал Коржиков, но рисунок дубу всё же показал. И, кажется, тот всё понял.

В интервью биологу и журналисту Галине Николаевой, помогавшей планировать сад у дома Коваля в деревне Плутково, что на речке Нерль недалеко от Калязина и в двухстах километрах от Москвы, и опекавшей цветы в его последней московской квартире, писатель говорил: «У меня в комнате растениям отведено лучшее почётное место. Крупные, рослые стоят на полу, и мне нравится видеть их рядом со скульптурными работами моих друзей — Лемпорта и Силиса… Мне важно, чтобы растениям было уютно в доме. Прошлой осенью мне в одном магазине страшно понравилась кордилина — необыкновенной красоты. Уже взял деньги и поехал её покупать. Но поскольку я очень люблю шеффлеру и аралию, которые у меня растут давно, понял, что они могли обидеться. Я решил не обижать их и не взял её». Вечный юннат в сердце, он всегда был готов выбежать из дома смотреть на подлетающих к городу снегирей или мчаться в Ботанический сад любоваться цветущей азалией.

Брат скульптора Николая Силиса Вадим привёл их однажды на звероферму, из этого маленького

эпизода поездки на Урал вышла впоследствии замечательная повесть «Недопёсок» (1975) о приключениях молодого песца, сбежавшего из своей клетки. Недопёсок Наполеон Третий больше всего ценил свободу и точно знал, куда ему надо бежать — прямо на Северный полюс. По этой повести Коваля кинорежиссер Эдуард Бочаров вскоре снял фильм, а артист и сказочник Владимир Литвинов поставил радиоспектакль, для которого Коваль написал и исполнил несколько песен. Видя природный артистизм Коваля, Литвинов сразу понял, что никто не прочтёт текст от автора лучше его самого. Так оно и получилось. А сама книжка, как и раньше, не залёживается на полках книжных магазинов: во времена рыночного изобилия «Недопёсок» продолжает оставаться книжным и библиотечным дефицитом.

В 80 — 90-е годы на первый план вышли взрослые рассказы, вошедшие позже в книгу «Когда-то я скотину пас» (1990), и рассказы-миниатюры для шести книг, написанных в соавторстве с художницей Татьяной Мавриной: «Стеклянный пруд» (1978), «Заячьи тропы» (1980), «Журавли» (1983), «Снег» (1985), «Бабочки» (1987), «Жеребёнок» (1989). В этой серии уникальный творческий союз писателя и художника соответствует детскому

восприятию мира — в единстве цвета, звука и слова. Книги эти были прекрасно изданы, на форзаце красовалась золотая Андерсеновская медаль — из писателей и художников нашей страны до сих пор лишь Татьяна Маврина удостоена этой высшей награды Международного Совета по детской литературе. Юрий Коваль хорошо знал и любил художников, в том числе книжных, и высоко ценил хорошо изданную книгу. Нет преувеличения в том, что почти все книги Коваля, изданные при его жизни, — это праздник книгоиздания, прекрасный пример творческого подхода писателя, издателя и художника к работе с детской книгой. Важно и то, что получая авторские экземпляры в издательстве, Юрий Коваль обычно покупал ещё несколько пачек и потом с лёгкостью раздаривал книги, доставая из заветного сундучка в своей мастерской всякий раз, как встречал душу близкую, созвучную его литературе.

В «Полынных сказках» (1987) Юрий Коваль описал деревенскую жизнь средней России во всём её многообразии от весны до зимы, от сева до уборки, от рождения до смерти. Есть здесь печаль и боль, и всё же эта книга — о счастье и гармонии. Писатель задумал эту книгу, как дань уважения матери — Ольге Дмитриевне Колыбиной,

и использовал написанные ею воспоминания о собственном детстве. Но как разительно отличаются типичные для многих семей сухие записи, фиксирующие факты и имена, от узорчатой канвы книги, в которой автор сумел развернуть перед читателем сложный загадочный и полный открытий мир, шаг за шагом постигаемый маленьким ребёнком. В 1987 году книга получила первую премию Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу, а вскоре была выдвинута на Государственную премию. «Проза должна быть такой, — говорил Юрий Коваль, — чтобы ты был готов поцеловать каждую написанную строчку».

Без преувеличения можно сказать, что «Сказки» (1987) латышского писателя Иманта Зиедониса, «Чубо из села Туртурика» (1983) и «Гугуцэ и его друзья» (1987) молдованина Спиридона Вангели, стихи и проза других детских писателей стали широко известны и популярны в России в переводах-пересказах Коваля. Произведения эти, не теряя авторского своеобразия, получали вторую жизнь на русском языке благодаря свойственным писателю глубокому пониманию образности, богатству словаря, умению каждое слово поставить на единственно правильное место.

Восемь лет, как и «Недопёска», писал он «Самую

лёгкую лодку в мире» (1984) — «правдивую» повесть о путешествиях на необычной бамбуковой лодке по таинственным «макаркам» и заросшим «кондраткам» к Багровому озеру. Книга была удостоена Почётного диплома Международного совета по литературе для детей и юношества. В одном из интервью Юрий Коваль говорил: «Я считаю прозу не на страницы даже, а на фразы, на предложения, на абзацы, на пассажи. Один пассаж написался вдруг: бах и сразу получился. Над вторым пассажем можно работать три-четыре недели, если он не складывается. Годы уходят на некоторые предложения». В повествовании Коваля обыденность сливается с мистикой, а повседневность реальной современной жизни легко превращается в фантасмагорию. «Самая лёгкая лодка в мире» — одна из нескольких книг, проиллюстрированных автором. И это не было временным увлечением, у него вообще не было хобби. Всё, чем он занимался, он делал профессионально, быстро и основательно обучаясь тому, что вызвало его интерес. Со стороны жизнь его могла показаться лёгкой и успешной, но кроме других талантов он был одарён умением учиться и невероятной трудоспособностью, поэтому и успевал чрезвычайно много.

В конце 80-х годов в журнале «Мурзилка» Юрию Ковалю предложили поработать с семинаром начинающих детских писателей, и он вёл его долгие годы. Сначала занятия проходили в казённых кабинетах издательства и за эту работу писателю платили зарплату, потом времена сменились, деньги кончились, а семинары, став потребностью души, плавно переместились в его художническую мастерскую на Яузе. На первых занятиях мне показалась странной его манера вести семинар — он практически не давал заданий, не придумывал литературных упражнений. Спустя годы я поняла: самое большее, что он мог дать семинаристам, — возможность общения накоротке, шанс просто жить рядом, слушать, анализировать и пытаться пробудить свою творческую энергию. Вопреки мнению, что творческие люди достаточно эгоистичны, Коваль давал щедрые и честные творческие «авансы» молодым авторам, считал творчество высшим проявлением человеческой деятельности, оберегал, лелеял и поддерживал любой истинный творческий росток. С младшими он общался без лести и на равных, педагог по профессии, он никогда не был назидателен, обучал, не докучая. Удивительно, но «семинаристы» Коваля встреча-

ются до сих пор и, как прежде, читают друг другу свои новые вещи.

«Коваль — планета с мощным гравитационным полем, — писала в книге избранных произведений участников семинара писатель и переводчик Наталья Ермильченко. — Каким-то чудом, не очень того желая, он притянул нас из разных концов Москвы. Мы шли в мастерскую наблюдать космическое явление, имя которому — Коваль. И странно было, что он так близко, что он поёт для нас под гитару, читает свою прозу… Обращается к нам: „Очень хорошо. Но не гениально! А надо гениально!“ И в то же время мы чувствовали, что это — иллюзия, что между Ковалем и нами — миллионы световых лет, преодолеть которые столь же трудно, как дойти пешком до любимого им Ориона. И потому страшно было ему читать и неловко — звонить, и потому на каждый семинар мы бежали как на самый последний, бросая семьи, дела и друзей…»

Первые слова рукописи «Суер-Выер» (1997), последнего романа Коваля, были написаны в 1955 году. Вместе с однокурсниками на лекциях Коваль всё время сочинял стихи о преподавателях и студентах, постепенно эти сочинения трансформировались в текст, напечатанный

тогда в факультетской газете «Словесник» под названием «Простреленный протез», из которого спустя много лет Коваль оставил лишь несколько фраз. Возможно, этот «пергамент» (так значится в подзаголовке) о путешествии фрегата «Лавр Георгиевич» по разбросанным в некоем океане странным островам: Тёплых Щенков и Сухой Груши, Валериан Борисычей и Пониженной Гениальности, Открытых Дверей и т.д. — воплощение его идеи чистого искусства, апофеоз литературных экспериментов Коваля, материализовавшаяся любовь к Рабле и Гоголю, Сервантесу и Свифту. Белла Ахмадулина, которой посвящены три книги Юрия Коваля, писала: «Его письменная речь взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, своесловиями и словесными своеволиями». За повесть «Суер-Выер» посмертно в 1996 году Ковалю была присуждена премия «Странник» Международного конгресса писателей-фантастов, название которой так соответствует настроению последнего романа и последних лет жизни Коваля. «Дело не в том, — говорил он в одном из последних интервью, — сколько ты прошёл, а сколько ты пережил за количество пути. Скитание — это вещь такая. Скитаться можно сидя на месте». Как

только ни называли последний роман Коваля — взрывоопасной смесью смеха и слёз, самым весёлым романом последнего десятилетия, романом-фантазией, грустно-весёлой прозой, самой лёгкой и самой полной, даже переполненной книгой, но самое точное, на мой взгляд, определение — весёлое прощанье с миром — принадлежит режиссёру и писателю Михиаилу Левитину, поставившему «Суера-Выера» на сцене Московского театра «Эрмитаж» в 2004 году. Хотя и прощание у Коваля получилось не совсем обычным: две книги были опубликованы ему «вдогонку», спешили, но не успели порадовать его при жизни. Третья, главная книга последних лет его жизни не спешила и лишь через три долгих года скитаний по издательствам увидела свет. И ещё несколько лет в разных газетах и журналах выходили взятые и неопубликованные при жизни интервью с Юрием Ковалём, как его прощальный привет всем нам.

Хороших книг никогда не бывает много. Я уверена, что в маленьких сельских и школьных библиотеках будут рады новому большому сборнику Юрия Коваля, и слегка завидую читателю, который впервые откроет страницы его замечательной прозы.

Ирина Скуридина

Недопёсок
Повесть

Часть первая
Побег

Ранним утром второго ноября со звероферм «Мшага» бежал недопёсок Наполеон Третий.

Он бежал не один, а с товарищем — голубым песцом за номером сто шестнадцать.

Вообще-то за песцами следили строго, и Прасковьюшка, которая их кормила, всякий раз нарочно проверяла, крепкие ли на клетках крючки. Но в то утро случилась неприятность: директор звероферм Некрасов лишил Прасковьюшку премии, которая ожидалась к празднику.

— Ты прошлый месяц получала, — сказал Некрасов. — А теперь пускай другие.

— Ах вот как! — ответила Прасковьюшка и задохнулась. У неё от гнева даже язык онемел. — Себе-то небось премию выдал, — закричала Прасковьюшка, — хоть и прошлый месяц получал! Так пропади ты пропадом раз и навсегда!

Директор Некрасов пропадом, однако, не пропал. Он ушёл в кабинет и хлопнул дверью.

Рухнула премия. Вместе с нею рухнули предпраздничные планы. Душа Прасковьюшки

окаменела. В жизни она видела теперь только два выхода: перейти на другую работу или кинуться в омут, чтоб директор знал, кому премию выдавать.

Равнодушно покормила она песцов, почистила клетки и в сердцах так хлопала дверками, что звери в клетках содрогались. Огорчённая до крайности, кляла Прасковьюшка свою судьбу, всё глубже уходила в обиды и переживания и наконец ушла так глубоко, что впала в какое-то бессознательное состояние и две клетки забыла запереть.

Подождав, когда она уйдёт в теплушку, Наполеон Третий выпрыгнул из клетки и рванул к забору, а за ним последовал изумлённый голубой песец за номером сто шестнадцать.

Алюминиевый звон

Песцы убегали со зверофермы очень редко, поэтому у Прасковьюшки и мысли такой в голове не было.

Прасковьюшка сидела в теплушке, в которой вдоль стены стояли совковые лопаты, и ругала директора, поминутно называя его Петькой.

— Другим-то премию выдал! — горячилась

она. — А женщину с детьми без денег на праздники оставил!

— Где ж у тебя дети? — удивлялась Полинка, молодая работница, только из ремесленного.

— Как это где! — кричала Прасковьюшка. — У сестры — тройня!

До самого обеда Прасковьюшка честила директора. А другие работницы слушали её, пили чай и соглашались. Все они премию получили.

Но вот настало время обеда, и по звероферме разнёсся металлический звон. Это песцы стали «играть на тарелочках» — крутить свои миски-пойлушки.

Миски эти вделаны в решётку клетки так ловко, что одна половина торчит снаружи, а другая — внутри. Чтоб покормить зверя, клетку можно и не отпирать. Корм кладут в ту половину, что снаружи, а песец подкручивает миску лапой — и корм въезжает в клетку.

Перед обедом песцы начинают нетерпеливо крутить пойлушки — по всей звероферме разносится алюминиевый звон.

Услыхав звон, Прасковьюшка опомнилась и побежала кормить зверей. Скоро добралась она до клетки, где должен был сидеть недопёсок Наполеон Третий. Прасковьюшка заглянула внутрь, и

глаза её окончательно померкли. Кормовая смесь вывалилась из таза на литые резиновые сапоги.

Характер директора Некрасова

Цепляясь кормовым тазом за Доску почёта, в кабинет директора вбежала Прасковьюшка. Она застыла на ковре посреди кабинета, прижала таз к груди, как рыцарский щит.

— Пётр Ерофеич! — крикнула она. — Наполеон сбежал!

Пётр Ерофеич Некрасов вздрогнул и уронил на пол папку с надписью: «Щенение».

— Куда?

Прасковьюшка дико молчала, выглядывая из-за таза.

Директор схватил трубку телефона, поднял над головой, как гантель, и так ляпнул ею по рогулькам аппарата, что несгораемый шкаф за его спиной сам собою раскрылся. Причём до этого он был заперт абсолютно железным ключом.

— Отвинтил лапкой крючок, — забормотала Прасковьюшка, — и сбежал, а с ним сто шестнадцатый, голубой двухлеток.

— Лапкой? — хрипло повторил директор.

— Коготком, — пугливо пояснила Прасковьюш-

ка, прикрываясь тазом.

Директор Некрасов снял с головы шапку, махнул ею в воздухе, будто прощаясь с кем-то, и вдруг рявкнул:

— Вон отсюдова!

Алюминиевый таз брякнулся на пол, заныл, застонал и выкатился из кабинета.

Про директора Некрасова недаром говорили, что он — горячий.

Давило

Горячий человек директор Некрасов был тощ и сухопар. Он ходил круглый год в пыжиковой шапке.

На своём посту Некрасов работал давно и хозяйство вёл образцово. Всех зверей знал наизусть, а самым ценным придумывал красивые имена: Казбек, Травиата, Академик Миллионщиков.

Недопёсок Наполеон Третий был важный зверь. И хоть не стал ещё настоящим песцом, а был щенком, недопёском, директор очень его уважал.

Мех Наполеона имел особенный цвет — не белый, не голубой, а такой, для которого и название подобрать трудно. Но звероводы всё-таки подобрали — платиновый.

Мех этот делился как бы на две части, и нижняя — по́дпушь была облачного цвета, а сверху покрыли её тёмно-серые шерстинки — вуаль. В общем, получалось так: облако, а сверху — серая радуга. Только мордочка была у Наполеона тёмной, и прямо по носу рассекала её светлая полоса.

Всем на звероферме было ясно, что недопёсок перещеголяет даже Наполеона Первого, а директор мечтал вывести новую породу с невиданным прежде мехом — «некрасовскую».

Узнав о побеге, директор Некрасов и бригадир Филин кинулись к забору. Они мигом пролезли в дырку и сгоряча в полуботинках побежали по следу.

— Сколько раз я говорил — заделать дырку! — кричал на ходу директор.

— Так ведь, Пётр Ерофеич, — жаловался в спину ему Филин, — тёсу нету.

Очень скоро они начерпали в полуботинки снегу и вернулись на ферму. Переобулись. Прыгнули в «газик», помчались в деревню Ковылкино. Там жил охотник Фрол Ноздрачёв, у которого был гончий пёс по имени Давило.

Ноздрачёва дома они не застали.

— Откуда я знаю, где он! — раздражённо отве-

тила жена. — Он мне не докладывает.

— Гони в магазин! — крикнул Некрасов шофёру.

Охотник Фрол Ноздрачёв действительно оказался в магазине. Он стоял у прилавка с двумя приятелями и смеялся.

— Товарищ Ноздрачёв! — строго сказал директор. — У нас трагедия. Сбежал Наполеон. Срочно берите вашего кобеля и выходите на след.

Охотник Фрол Ноздрачёв лениво поглядел на директора и повернулся к нему левым ухом. Охотник имел свой характер, и характер этот шептал Ноздрачёву, что трагедия директора пока что его не касается.

Характер Фрола Ноздрачёва любил сидеть в тёплом магазине с приятелями.

— Я человек занятой, — недовольно сказал Ноздрачёв, — поэтому интересно, что я за это буду иметь? Какие привилегии?

— Немалые, — ответил Некрасов.

Через полчаса русский гончий Давило — огромный широкоплечий пёс с печальными глазами — был поставлен на след у забора.

— Давай! Давай! — орал на него Ноздрачёв, которому посулили премию.

Давило обнюхал следы, и запах показался ему

противным. Жёсткий, железный. Нехотя, без голоса, побежал Давило по следу.

Снежное поле

Пролезши сквозь дыру в заборе, песцы быстро побежали в поле, но уже через десяток шагов остановились. Их напугал снег, который был под ногами. Он мешал бежать и холодил пятки.

Это был второй снег нынешней зимы. На поле был он пока неглубок, но всё же доходил до брюха коротконогим песцам.

Точно так напугала бы песцов трава. Раньше им вообще не приходилось бегать по земле. Они родились в клетках и только глядели оттуда на землю — на снег и на траву.

Наполеон облизнул лапу — снег оказался сладким.

Совсем другой, не такой, как в клетке, был этот снег. Тот только сыпался и сыпался с неба, пушистыми комками собирался в ячейках железной сетки и пресным был на вкус.

На минутку выглянуло из облаков солнце. Под солнечным светом далеко по всему полю засверкал снег сероватой синевой и лежал спокойно, не шевелился.

И вдруг почудилось недопёску, что когда-то, давным-давно, точно так же стоял он среди сверкающего поля, облизывал лапы, а потом даже кувыркался, купался в снегу. Когда это было, он вспомнить не мог, но холодные искры, вспыхивающие под солнцем, вкус снега и свежий, бьющий в голову вольный его запах он помнил точно.

Наполеон лёг на бок и перекувырнулся, взбивая снежную пыль. Сразу пронизал его приятный холодок, шерсть встала дыбом.

В драгоценный мех набились снежинки, обмыли и подпушь, и вуаль, смыли остатки робости. Легко и весело стало недопёску, он бил по снегу хвостом, раскидывал его во все стороны, вспоминая, как делал это давным-давно.

Сто шестнадцатый кувыркаться не стал, наверно, потому, что не вспомнил ничего такого. Окунул было в снег морду — в нос набились морозные иголки. Сто шестнадцатый нервно зафыркал.

Наполеон отряхнулся, будто дворняжка, вылезающая из пруда, огляделся и, наставивши нос свой точно на север, побежал вперёд, через поле, к лесу. Сто шестнадцатый поспешил за ним, стараясь повыше выпрыгивать из снега. У стога, который высился на опушке, Наполеон Третий

остановился.

Снег был здесь изрыт. На нём отпечатались какие-то звёзды, от которых пахло приятно и враждебно. Это были лисьи и пёсьи следы.

Вдруг под снегом кто-то свистнул в тоненькую косточку.

Недопёсок прыгнул, прихлопнул снег лапой и вытащил наружу полевую мышь.

В лесу

Мышей у стога оказалось полно. Попискивая, шныряли они в перепревшем сене, и Наполеон гонялся за ними, хлопал но снегу лапами и хвостом.

Сто шестнадцатому тоже хотелось поохотиться на мышей, да больно уж непривычным было такое дело. Вдруг прямо из-под носа у него выскочила мышь. Сто шестнадцатый схватил её, проглотил и подпрыгнул от ужаса.

Перепуганные мыши спасались под стогом.

Наполеон раскопал в сене пещерку, засунул туда нос. От крепкого сенного запаха закружилась голова. Пахло сено душными июльскими грозами, ушедшим летом.

Мыши затаились, и песцы бросили охоту,

побежали к опушке леса. Пересекли березняк, добрались до больших деревьев.

Это были старые ёлки.

На их макушках гроздьями висели зрелые медные шишки. У подножия, куда не навалило ещё снегу, ярко зеленел мох, а толстые стволы облеплены были серыми звёздами лишайника.

Морозной смолой пахли подошвы деревьев, стволы опасно уходили вверх, сплетались там ветвями и вливались в небо высоко над головой.

Вдруг сверху послышался тревожный и сильный стук. В красном грозовом шлеме на осине сидел чёрный дятел, долбил дупло. Заметив песцов, он крикнул пронзительно, расставил в воздухе бесшумные крылья, нырнул в еловый сумрак.

На крик его прилетела сорока.

«Страх-страх!» — сварливо закричала она.

Наполеон тявкнул в ответ, угрожающе взмахнул когтистой лапой.

Но сороку это только раззадорило. С дерева на дерево перелетала она над песцами и кричала на весь лес: дескать, вот они, беглецы со зверофермы, лови их, держи!

Под крик сороки песцы выскочили на вырубку, заваленную ломаными берёзками, выкорчеван-

ными пнями. Здесь под кучей еловых веток спал заяц-беляк. Он гулял-жировал всю ночь и спал теперь крепко и спокойно.

Шорох снега и сорочий крик разбудили его. Длинноухий, с выпученными глазами, он с треском выскочил из-под земли у самых ног Наполеона и пошёл сигать по вырубке, перепрыгивая пеньки.

Песцы замерли от ужаса, а потом дунули в другую сторону.

Сорока растерялась. Не могла сообразить, что теперь делать, за кем лететь, над кем трещать. Она раздражённо уселась на ветку козьей ивы, закрутила зелёной головой. Настроение у неё совсем испортилось.

Неподалёку, под ёлками, вдруг зашуршал снег, послышалось сопение, и на вырубку выбежал гончий Давило. Он равнодушно глянул на сороку, добежал до заячьего следа и тут оживился. Фыркнул вправо, влево, а после засунул нос свой, похожий чем-то на кошелёк, прямо под кучу еловых веток.

Задрожал от радости собачий хвост, и вылетели песцы из гончей горячей головы.

Давило рявкнул басом и побежал по новому следу, с удовольствием вдыхая сладкий заячий

запах.

Загремел голос Давилы под сводами ёлок — звонкой цепью потянулся по лесу, отмечая путь зайца. Недалеко протянулась цепь, дошла до опушки, заглохла на минутку, и тут на конце её, как двойной колокол, ударил гром.

Сорока слетела с козьей ивы и низом-низом, незаметно, быстро и неторопливо скрылась из глаз.

Кто стрелял?

— Что такое! Что ещё такое?! Кто стрелял?

Близкий, неожиданный выстрел ошеломил директора Некрасова, пыжиковая шапка вздрогнула на голове.

Директор стоял на опушке леса в высоких сапогах-бродняx, а на руках его были дворницкие рукавицы — хватать в случае чего песцов. Выстрела директор никак не ожидал. Наполеон нужен был живым.

— Кто стрелял?! Кто стрелял, я вас спрашиваю! — грозно повторил директор.

— Ясно кто, — угрюмо ответил бригадир Филин, который шевелился неподалёку в кустах, стараясь замаскироваться. — Обормот Ноздрачёв.

Из лесу выскочил Давило. Он был радостно возбуждён, шоколадные глаза его налились кровью.

— Ноздрачёв! — сурово крикнул директор. — Это ты стрелял?

— Да я тут косого зашиб, — послышался низкий, идущий из самой глубины души голос.

Скоро и сам Ноздрачёв вывалился на опушку. От него валил азартный охотничий пар. Заяц, который всю ночь гулял-жировал, болтался теперь у пояса. За три шага пахло от Ноздрачёва кислым бездымным порохом «Фазан».

— Токо выхожу на просек, — возбуждённо стал объяснять Ноздрачёв, — косой чешет. Я ррраз через осинки…

— Где песцы?

— Песцы-то? — растерялся охотник. — Наверно, круги делают.

Директор Некрасов всего секунду глядел на охотника Фрола Ноздрачёва, но и за эту секунду взглядом успел многое сказать. Оправивши шапку, директор повернулся к охотнику спиной и направился обратно на звероферму. За ним поспешил бригадир.

— Погоди, погоди, — вслед ему сказал Ноздрачёв. — Не волнуйся. Сейчас догоним. Я тут всё кругом знаю, не уйдут.

Звероводы даже не обернулись. По снежному полю уходили они от охотника, и вместе с ними уходила премия.

Тут вспыхнул охотник Фрол Ноздрачёв, и по лицу его пошли багровые полосы, похожие на северное сияние. Вспышки сияния никто, правда, не видел, зато услыхали директор и бригадир, как ругается охотник им вслед пустыми словами.

Отругавшись, охотник потоптался на месте и пошёл потихоньку туда, куда вёл его собственный характер.

— Не волнуйтесь, Пётр Ерофеич, — говорил тем временем Филин, догоняя директора. — Побегают, жрать захотят — через недельку сами вернутся.

— Да за недельку они от голода помрут, — недовольно сказал директор. — А если кто-нибудь прихлопнет Наполеона? Что тогда?

— Вот это вопрос! — подтвердил Филин. — Что же делать?

Директор закурил, напускал дыму в темнеющее постное небо.

— Надо попробовать Маркиза, — сказал он.

Верея

Серый денёк ещё посерел, сгустились на небе облака, предвечерний ветер погнал их на юг.

К вечеру оказались беглецы в глухом овраге, на дне которого медленно замерзал чёрный ручеёк. По оврагу, по оврагу, вверх по ручью добежали они до лесного холма-верей.

Здесь, на склонах вереи, были барсучьи норы. Барсуки селились на холме с давних времён, насквозь пронизали его норами.

Приближающаяся ночь тревожила Наполеона, хотелось спрятаться от ветра, нагоняющего позёмку. По можжевёловому склону поднялись песцы на вершину и заметили в корнях ёлки тёмную пещеру. Наполеон обнюхал снег вокруг неё, засунул внутрь голову.

Из пещеры пахло сухим песком, смолистыми еловыми корнями. Это была барсучья нора, давно заброшенная хозяевами. Корни, которые оплетали её потолок, медленно росли, шевелились и постепенно завалили ходы, ведущие внутрь вереи.

Наполеон залез в пещеру, за ним — Сто шестнадцатый, который сразу забился в угол. Недопёсок

свернулся колобком у входа, выставил наружу морду и глянул сверху на лес.

Ого, как высоко забрались они! Далеко видны были тёмные леса, робкие деревенские огоньки за лесами, сизая над огоньками пелена. И совсем уж далеко, как маленький грибок, видна была кирпичная водокачка, отмечающая над деревьями звероферму «Мшага».

Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд ещё три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона.

Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над лесом.

О Орион! Небесный охотник с кровавой звездой на плече, с ярким посеребрённым поясом, с которого свешивается сверкающий звёздный кинжал!

Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над чёрными лесами звероферму «Мшага». Грозно натянул Орион тетиву охотничьего лука, сотканного из мельчайших звёздочек, — нацелил стрелу прямо в лоб Тельцу, в полнеба раскинувшему звёздные рога.

Зафыркал кто-то внизу, забурчал. Это выходили

на охоту барсуки. Они спустились по склону вниз, пропали в овраге.

Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:

— …Гайки не забудь затянуть…

Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет.

Барсучья ночь

Всю ночь в овраге под вереёй возились барсуки.

Это была последняя, как видно, барсучья ночь перед зимней спячкой.

Ворчание барсуков тревожило Наполеона, он никак не мог заснуть, то и дело открывал глаза, готовясь встретить незнакомого врага. Один ворчун, самый старый и такой седой, что даже полоски на носу его посветлели, подошёл к пещере, в которой спали песцы.

Наполеон каркнул на него, как ворон, красным цветом блеснули из пещеры его глаза.

Уж на что стар был барсук, а не смог разобрать, что за зверь перед ним — то ли пёс, то ли лис, кто его разберёт? Старик решил с ним не связываться, скатился в овраг, презрительно что-то бормоча.

Он долго ещё бубнил себе под нос, бранил Наполеона.

И следы, собственные следы на снегу тревожили Наполеона. Они были частью его самого, тянулись по лесам и оврагам, словно гигантский хвост. Вот кто-то потянет за этот хвост и вытащит из норы, из барсучьей пещеры, притащит обратно на звероферму.

Плохо спал в эту ночь и директор Некрасов, хоть и не бранили его барсуки, не бродили под окнами. Снились директору большие неприятности и убытки, которые принёс звероферме сбежавший Наполеон. Дёргался директор, метался под одеялом.

— Катя, — говорил он во сне, — дай кисельку клюквенного.

И Прасковьюшка спала неровно, просыпалась, бормотала, била в подушку кулаками.

Славно спал в эту ночь Фрол Ноздрачёв, и снился ему тёплый магазин, ящик с макаронами. Грозно, азартно, по-охотницки храпел Ноздрачёв, так храпел, будто выговаривал фамилию знаменитого немецкого философа: «Фейеррр-бах! Фейеррр-бах!»

Барсучья ночь тянулась долго, и высоко поднялся Орион, медленно наклонился набок, догоняя

скрывающегося за горизонт Тельца. Под утро ушёл Орион за край земли, только кровавая звезда с его плеча долго ещё светила над ёлками, тусклая звезда с таким певучим и таким неловким, неповоротливым в наших лесах названием — Бетельге́йзе.

Перед рассветом протопали барсуки по оврагу в последний раз. Сопя и кряхтя, залезли спать в свои норы. И как только самый старый барсук улёгся, над далёкими лесами протянулась брусничная полоса рассвета.

Из оврага тем временем послышалось короткое тявканье, шорох увядших трав, припорошённых снегом. Кто-то бежал по следу песцов. Вот прохрустел сухим дудником у ручья и стал подниматься наверх.

Наполеон ощетинился.

Вздрогнул, зашевелился куст можжевельника — и низенький, рыжеватый зверь выскочил прямо к пещере. Увидевши Наполеона, он миролюбиво заскулил. Это был самый старый песец со зверофермы, которого звали Маркиз.

Маркиз

Наполеон хорошо знал этого рыжеватого Маркиза.

Маркиз жил в клетке напротив и с утра до вечера дремал, накрывши нос пышным хвостом. Он никогда не метался по клетке, как другие песцы, и не грыз решётку. Целыми днями он мудро спал, а просыпался только лишь для того, чтобы покрутить пойлушку.

Музыку предобеденную Маркиз очень любил и сам был неплохим музыкантом, умел выжать из своего незатейливого инструмента целый набор ликующих, а то и печальных, задумчивых звуков. Душа у него была, как видно, тонкая, артистическая.

Недопёсок терпеть не мог железную музыку. От визга пойлушек шерсть его вставала дыбом, он лаял, стараясь заглушить звон, но почему-то против воли и сам подкручивал миску — не хотел, а она притягивала, заманивала.

Появление Маркиза на барсучьей горе ни капли не удивило Наполеона. Он даже и не задумался, откуда здесь взялся Маркиз, которому полагалось дремать в данный момент на звероферме.

Маркиз тем временем обнюхал Наполеона и Сто шестнадцатого, который тоже вылез из пещеры, утомлённо зевая.

И вход в пещеру, и подножие ёлки обнюхал Маркиз. Нанюхавшись барсучьих следов, он презрительно фыркнул.

Маркиз был гораздо старше Наполеона. Уже пять лет крутил он на ферме свою пойлушку. Он был старше, сильней и властно прохаживался теперь по вершине холма и поглядывал на беглецов.

Маленьким серым носиком обвёл Маркиз голубые горизонты и нацелился на водокачку, отмечающую над лесами звероферму «Мшага».

Недопёску это не понравилось. Он также оглядел горизонты, направил свой нос точно на север и, не раздумывая, стал спускаться с холма, но уже не в овраг, а в другую сторону, к сосновому лесу. Сто шестнадцатый потоптался на месте и потянулся за Наполеоном.

Маркиз, однако, не растерялся, в три прыжка обогнал Наполеона, клацнул зубами у его уха, оттёр плечом и возглавил бег. По силе, по возрасту, по всем правам Маркиз должен был стать вожаком. И в этот спор Сто шестнадцатый решил не вмешиваться, он бежал последним, и легко

было ему на проложенных следах.

Скоро осталась позади барсучья верея, поднялся над песцами бор, такой дремучий, что даже и синиц здесь не было. Седобородый глухарь заприметил беглецов, но не шелохнулся в еловом шатре, хоть и невиданными показались ему бегущие звери — рыжеватый Маркиз, платиновый Наполеон и голубой Сто шестнадцатый.

С полчаса бежал Маркиз на север. Он не оглядывался на своих спутников и не останавливался, уверенно перепрыгивал поваленные деревья, пересекал лесосеки и просеки.

Третий раз в своей жизни оказался Маркиз на воле.

В первый раз, так же как Наполеон, сбежал он и три дня мыкался по лесам. Голодный и ободранный, вернулся на ферму. Через год сбежал другой песец, по имени Рислинг. Дело было летом, и следов беглеца не могли найти. Тогда-то директор Некрасов придумал послать вдогонку Маркиза. Директор понимал, что Маркиз, хлебнувший вольной жизни, обязательно вернётся на ферму. И верно, Маркиз вернулся к обеду, а за ним бежал измученный Рислинг.

Сегодня Маркиз попал на волю в третий раз, но никогда ещё так далеко в лес не забирался. И

сам он, когда был беглецом, и Рислинг крутились рядом с фермой, таясь в кустах, слушали предобеденный звон.

Маркиз по-прежнему бежал на север, но чувствовал, что пора уж поворачивать на юг. Огибая буреломы, выискивая будто бы лучшую дорогу, потихоньку, незаметно он загибал, загибал вправо и в конце концов обвёл беглецов вокруг вереи, поставил их к северу хвостом.

Наполеон понял, что Маркиз хитрит, но очень уж уверенно вёл его вожак, а сзади поторапливал Сто шестнадцатый, который ни в чём не сомневался.

Кончился сосновый бор, пошли перелески, осинники, и неожиданно небо раскрылось над головой, и прямо перед ними легло широкое белое поле. А за полем — дощатый забор, редкие ёлки с обрубленными до самых макушек сучками и между ними огромный кирпичный гриб — водокачка, отмечающая над чёрными лесами звероферму «Мшага».

Близко, совсем близко послышалось тявканье песцов, кислый запах мёрзлой кормовой смеси и пронзительный родной звук — песцы играли на тарелочках.

Сто шестнадцатый разрывается на части

У дырки в заборе Маркиз остановился. Он обернулся к спутникам, игриво вильнул хвостом в сторону звероферм: давайте, мол, вернёмся, ребята, пожрём, выспимся, а там видно будет.

Сто шестнадцатый сразу обрадовался, запрыгал восторженно вокруг Маркиза, ударил по воздуху лапой, будто крутил пойлушку. Устал Сто шестнадцатый — голубой двухлеток — от этой бестолковой беготни и чувствовал себя сейчас путешественником, который после долгих странствий вернулся домой.

А дома всегда хорошо. Дома ждёт тебя уютная, в общем-то, клетка, сколько хочешь кормовой смеси, пойлушка, старые соседи, старые привычки, размеренная нормальная жизнь. Да, плохо тем, у кого нет своего дома. Толкутся эти вечные странники там да сям, то прибьются к одному берегу, то приткнутся к другому, а за душой нету ничего — ни клетки, ни пойлушки.

Звон предобеденный между тем стих, зато усилился запах кормовой смеси — работницы

начали кормить зверей. Из щелей в заборе слышались их высокие голоса.

Звон, запах, голоса разбередили Наполеона. Поник вдруг Наполеон, и мех его платиновый обвис, обмяк, потускнел. Что же это такое, откуда снова взялась звероферма? Задумался недопёсок Наполеон Третий, сел по-собачьи в снег.

Ни капли не похож был он сейчас на гордого зверя, похож он был на дворняжку, которую пнули сапогом, чтоб не вертелась под ногами.

Маркиз подскочил к Наполеону, весело куснул его за ухо и попятился к дырке в заборе. Сто шестнадцатый потянулся за ним. Когда уже голова Маркиза скрылась в щели забора, Наполеон жалобно тявкнул. Маркиз остановился. Оглянулся удивлённо Сто шестнадцатый.

В этот момент принял недопёсок решение, тряхнул императорской головой и на глазах превратился из побитой собачки в настоящего песца. Платиновым своим бесценным хвостом повернулся Наполеон к ферме, а нос установил точно на север и побежал потихоньку обратно по своим следам. Сто шестнадцатый растерялся. Душа его разрывалась на части. С одной стороны, хотелось перекусить и выспаться, с другой — тянул за собой недопёсок, убегающий в открытое поле.

О недопёсок Наполеон Третий! Круглые уши, платиновый мех!

Ваша величественная чёрная морда обращена точно на север, и, как стрелка компаса, рассекла её ото лба до носа белая сверкающая полоса!

Прекрасен, о Наполеон, ваш хвост — лёгкий, как тополиный пух, тёплый, как гагачий, и скромный, как пух одуванчика. Одним только лишь этим хвостом укутай свою шею, вечный странник, и валяй хоть на Северный полюс.

О хвост недопёска! Ни лиса, ни соболь не похвастаются таким пышным хвостом цвета облака, которое тает в голубых небесных глубинах над березняком иль осинником. Торжественнейший хвост, формою похожий на дирижабль.

Душа Сто шестнадцатого разрывалась на части. Одна так и хотела нырнуть в дырку забора, пожрать и выспаться, в другой же части его души зрело чувство товарищества: всё-таки вместе с недопёском они бежали, вместе страдали.

Виновато заскулил Сто шестнадцатый, будто извиняясь перед Маркизом, и, как собачка за хозяином, потрусил через поле вслед за Наполеоном Третьим.

Маркиз не ожидал такого поворота. Он хотел было догнать беглецов, но уж сам приустал и

боялся опоздать к обеду. Маркиз тоскливо завыл им вслед.

На краю поля песцы остановились глянуть последний раз на Маркиза. Как маленькое рыжее пятнышко, виден был Маркиз на светлом снегу, перед щербатым забором, из-за которого тянулся запах кормовой смеси и слышался алюминиевый звон.

Серая лиса

Песцы пересекли поле и попали на просёлочную дорогу. Снег смешался здесь с грязью и песком, получился жёлтый кисель, но дорога шла точно на север, и Наполеону нравилось, что на ней почти не остаётся следов.

Песцы долго бежали по дороге.

Вдруг где-то сзади послышался чудовищный рёв.

Громыхая пустыми молочными бидонами, скрипя и визжа тормозами, их догоняла грузовая машина «ЗИЛ».

Недопёсок прыгнул в кювет, затаился, а Сто шестнадцатый припал к земле и накрыл голову лапами.

Машина остановилась.

Шофёр Шамов с изумлением глядел на пушистого зверя, пышным пластом лежащего на дороге. Из кабины видно было, как шевелит ветерок жемчужный мех.

«Серая лиса! — подумал Шамов. — Что делать?»

Он бестолково стал шарить под сиденьем в поисках чего-нибудь, чем можно было бы подшибить зверя.

Рука нащупала гаечный ключ. Он вытащил его из-под сиденья, высунулся из кабины и швырнул изо всех сил. Но слишком много надежды вложил он в свой бросок — гаечный ключ раскорякой запрыгал по дороге.

«Перелёт!» — огорчённо подумал Шамов.

Больше гаечных ключей у него не было. Была отвёртка, но для охоты на лису она не годилась. Пошарив под сиденьем, он вытащил огромную стальную рукоятку, которой заводят грузовик, и мощно метнул её в серую лису.

Заводило до лисы не долетело.

Волнуясь, он скинул телогрейку и вылез из кабины. Развернул телогрейку, как огромное промасленное крыло, и стал подкрадываться к Сто шестнадцатому.

Сердце у шофёра билось отчаянно, боясь упу-

стить такую редкую добычу. Но ещё отчаянней стучало сердце Сто шестнадцатого. Оно стрекотало, как кузнечик.

Не доходя двух шагов, Шамов прыгнул и накрыл песца телогрейкой, прижал коленом к земле.

Сто шестнадцатый не дёргался и не кусался. Он потрясённо смотрел на шофёра Шамова и не мог понять, что же это такое.

— Серую лису поймал! Серую лису поймал! — закричал Шамов. Уши его пылали от радости. Шапка подскакивала на голове.

Он скинул брючный ремень, связал Сто шестнадцатого и вдруг подумал: «Да это ведь не лиса! Это, наверно, со зверофермы зверь».

Тут в голове Шамова началась сложная работа: что делать — затаить ли добычу или везти на звероферму как государственную собственность?

«Затаю — найдут, — огорчённо думал Шамов. — Зря, дьявол, ключами кидался».

Лениво нажал он на педаль, поворотил грузовик к звероферме.

— Эй, тётка, — крикнул он сторожихе у ворот, — где у вас начальник? Я тут какого-то зверя поймал. Не вашего ли выводка?

Сторожиха глянула в кабину, ахнула, засвистела в милицейский свисток. И тут же началась

вокруг Шамова кутерьма.

Прибежал Некрасов, прибежал бригадир Филин, они хлопали Шамова по плечам, тащили его в кабинет, расспрашивали, где и как и не видал ли он Наполеона Третьего. Потом выдали ему премию — двадцать рублей.

Премия Шамова ошеломила. Он долго мял её в руках и повторял однообразно:

— Ну, как раз к праздникам!

Да, повезло шофёру Шамову. Не искал он в жизни никаких чудес, сроду не гонялся за синей птицей и вдруг — серую лису поймал.

С тех пор шофёр Шамов, катаясь по дорогам, всегда зорко глядел по сторонам и нарочно имел в запасе несколько гаечных ключей. Но больше никогда в жизни серая лиса ему не попадалась.

Колпаки и колёса

Когда грохот машины заглох, недопёсок вылез из кювета и обнюхал место, где лежал Сто шестнадцатый. Куда девался его спутник, Наполеон не понял, но с дороги решил поскорей убираться.

Пока он соображал, из-за поворота вынеслись два мотоциклиста. Они были в оранжевых колпаках, которые страшно горели над пасмурной

землёй.

— Смотри, — заорал первый мотоциклист, — лисёнок!

Второй не расслышал ничего за рёвом мотора, а только весело махнул рукой и помчался по дороге. В последний момент Наполеон отпрыгнул в сторону — мотоциклы промчались мимо.

Не понимая ничего, Наполеон спрятался в кювет, упал на землю и закрыл глаза.

Мотоциклисты вдруг заглушили моторы, слезли с мотоциклов и стали подкрадываться, растопырив длинные руки в зазубренных перчатках, похожих на огромных бабочек.

Недопёсок выскочил из кювета, побежал через поле в сторону от дороги.

— Догоняй! Уйдёт! — закричали мотоциклисты, завели моторы и дунули вдогонку.

По корявому полю ехать им было трудно — мотоциклы с рёвом подпрыгивали на мёрзлых кочках. Как тысячи пустых пойлушек, визжали в них стальные шестерёнки, снежная грязь фонтаном била из-под колёс.

Вправо, влево кидался недопёсок, то бежал изо всех сил, то припадал к земле, стараясь спрятаться от этого рёва, разрывающего уши.

Наконец один из мотоциклистов неловко по-

воротил — мотоцикл грохнулся набок. Второй наехал на него, зацепился колесом, подпрыгнул и вылетел из седла — заварилась на поле грохочущая каша из колёс и колпаков.

Страшная зазубренная перчатка соскочила с руки мотоциклиста и вдруг подползла к Наполеону, собираясь, видно, схватить его. Наполеон зарычал, укусил перчатку изо всех сил.

С перчаткой в зубах он побежал к дороге и увидел, что под нею проложена какая-то труба. Недопёсок нырнул в трубу и затаился.

Бой с дворняжками

Наполеон сидел в трубе и слушал, как ругались мотоциклисты. Они долго не уезжали, что-то подкручивали, подтягивали, стучали ключами.

Искусанная мотоциклетная перчатка жалобно попискивала в зубах Наполеона — звала, наверно, хозяина.

Когда колпаки наконец уехали, недопёсок вылез из трубы и побежал вперёд, на север. Перчатку мотоциклетную он держал в зубах, и она слабо трепыхалась, пытаясь вырваться.

Теперь недопёсок бежал не по дороге, а вдоль неё и, заслышав машину, сразу прятался за какой-

нибудь кочкой. Поле пошло в наклон, опустилось в овраг. За оврагом лежала деревня Ковылкино.

Недопёсок добежал до забора, не раздумывая нырнул в дыру и увидел другой забор и снова пролез через щель. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как опять наткнулся на глухой забор. За ним чернел деревянный горб — дом.

Недопёсок побежал было назад, потом — в сторону, но всюду вокруг него были заборы и дома с какими-то нехорошими трубочками, свисающими с крыш. Неожиданно выбежал он к деревенскому магазину. Уже стемнело. Над дверью магазина зажглась электрическая лампа. Поднялся ветер, и лампа со скрипом раскачивалась на проволоке под железным колпаком.

У крыльца стояла жёлтая дворняжка Дамка. Она поджидала своего хозяина, который уже битый час торчал в магазине. Увидев недопёска, Дамка злобно оскалилась и зарычала. Тут же из-под крыльца выскочила вторая дворняжка. Эта вторая была низенькая, ростом в полтабуретки, и напоминала чем-то поросёнка.

Недопёсок перепугался, попятился назад, но Дамка стремительно кинулась к нему, разинула острозубую пасть. Наполеон махнул головой — и мотоциклетная перчатка, как большая про-

тивная жаба, прыгнула Дамке в глаза. От ужаса Дамка пала на землю, а перчатка уселась на неё верхом.

Но тут к Наполеону подскакала Полтабуретка, отвратительно затявкала и схватила его зубами за шиворот. Огромное количество меху набилось ей в пасть. Она вырвала клок, стала отплёвываться и тут же завопила во всё горло, потому что песец вцепился острыми когтями ей в морду и потряс хорошенько.

— Наших бьют! — кричала Полтабуретка.

Со всей деревни к магазину стали сбегаться дворняжки, и скоро у крыльца закипела собачья свара. На шум из магазина выскочил какой-то человек в резиновых сапогах.

— Ку! — заорал он, расталкивая собак сапогами. — Провались! Провались!

Дворняжки разбежались. Только недопёсок остался у крыльца на земле, а рядом с ним валялась на снегу изжёванная мотоциклетная перчатка. Человек поднял её, примерил, и перчатка впору пришлась по левой руке.

— Какая дурацкая рукавица! Неуж из-за неё псы грызутся? — сказал человек и поглядел по сторонам: не видно ли где второй перчатки?

Этот человек был плотник Меринов.

Хороший плотник Меринов

Меринов считался в деревне хорошим плотником.

Он умел рубить избы, баньки, выстругивал ульи для пчёл, делал берёзовые табуретки. Кроме того, он был ложечник, вырезал деревянные ложки, разукрашивал их цветами и птицами, а после возил на базар.

Разглядевши недопёска, Меринов понял, что перед ним щенок.

«Английский шпиц, — подумал он. — Наверно, его дачники бросили».

Плотник Меринов в собаках мало разбирался, но относился к ним добродушно. Во дворе у него жила собака Пальма, которую плотник любил почесать за ухом.

Потолкавши сапогом английского, как он думал, шпица, Меринов хотел идти домой, но шпиц застонал, уткнулся в плотницкий резиновый сапог.

— Что такое? — удивился плотник. — Чего скулишь? Ступай к своим дачникам!

Шпиц английский к дачникам, однако, не пошёл, а всё, как мёртвый, лежал на земле. Поте-

рял Наполеон былую свою красоту и был похож теперь на самого ободранного в мире щенка, в котором нет ни толку, ни породы. Грязными клочьями торчал драгоценный мех, свалялся колтунами. И, глядя на него, никто бы, конечно, не мог подумать, что такие неважные звери выращиваются на зверофермах.

— Потрепали тебя, бедняга, — говорил плотник. — А в другой раз будь умнее — не связывайся с дворняжками. Ну, ладно, сейчас я тебя куда-нибудь пристрою.

Он взял шпица за шкирку, будто котёнка, и понёс его в магазин. В магазине было шумно, народ толпился у прилавка, а на ящике с макаронами в уголке сидел охотник Фрол Ноздрачёв.

— Кому щенка? — закричал плотник. — Английский шпиц! Его дачники бросили! Дрессированная собачка! Кушает конфеты «Озеро Рица»!

В магазине засмеялись, зашумели. Продавщица Ася крикнула:

— Иди, Мерин, домой. Надо нам твоего щенка!

Охотник Фрол Ноздрачёв поглядел на недопёска туманными глазами и сказал:

— Это шпиц не чистокровный. У него хвост лисий. Брось его.

Плотник Меринов покричал ещё, предлагая

щенка, потом купил махорки-крупки и пошёл из магазина.

— Ладно, — бормотал он, выходя на крыльцо, — не хотите — не надо. Отнесу его домой, Веруне в подарок. На́, скажу, тебе, Веруня, подарок — английского шпица. Пускай на дворе живёт. Да и Пальме будет веселее.

Плотник сунул недопёска за пазуху, а мотоциклетную перчатку в карман.

Сухо и тепло было за пазухой у плотника. Пахло махоркой и столярным клеем.

Пальма

Со звоном топая сапогами по мёрзлой земле, плотник Меринов подошёл к своему забору и остановился, докуривая цигарку. Хозяйка у него была строга, дома курить не велела. А плотник хозяйку свою уважал. Он постоял у забора, попыхтел дымом. Из цигарки сыпались на землю махорочные звёзды.

Затоптав огонь, плотник распахнул калитку и вошёл во двор.

— Ну вот, — сказал он, вытаскивая недопёска из-за пазухи. — Вот мы и дома. Видишь этот дом? Это наш. И сарай наш. И вишни наши, шубинки. А

Пальму не бойсь, она не тронет… Пальма! Свои!..

Плотник опустил недопёска на землю, вынул из кармана мотоциклетную перчатку, кинул на крыльцо, а сам пошёл в дом. В открытую дверь блеснуло электрическим светом, и донёсся на редкость приятный, сытный и жирный запах — это хозяйка вынимала из печки вечерние щи.

Добротный двор был у плотника Меринова. Дом он срубил из толстых сосновых брёвен, наличники на окнах разукрасил травяным узором. Под окнами росли коренастые вишни-шубинки. С их веток свешивались длинные серые сосульки. Сбоку от дома был сарай, в котором тепло шевелилась мериновская корова Воря. У сарая стояли ко́злы и собачья конура, покрытая толем.

Из конуры вылезла толстая рябая псина. Она зевнула и, заприметив недопёска, лениво гавкнула.

Это и была Пальма Меринова.

Она походила на сосновый чурбак, укутанный войлоком, а на голове у неё росли развесистые уши, которые и придавали сходство с пальмой в кадушке.

Большим и мокрым, розовым даже в темноте носом обнюхала Пальма воздух и вобрала сразу все запахи, которые имелись в нём: вечерних

щей, мотоциклетной перчатки, Наполеона Третьего и даже запах луны, выскочившей на минуту из холодного облака.

Запах недопёска Пальме не понравился, очень он был жёсткий, жестяной. Но в то же время не вызвал особого раздражения.

«Что поделать, — добродушно, наверно, подумала Пальма. — Бывают и такие запахи. Беда не велика. Главное — сердце, душа».

Потряхивая своими тропическими ушами, подошла Пальма к недопёску. Он тут же упал на спину, выставив отросшие в клетке когти. Но Пальма не обратила на них внимания. Она высунула огромнейший язык, который был ей явно не по росту, и лизнула Наполеона. Тёплым, ласковым и приятным был этот язык. Сравнить его можно было только лишь с корытом, в котором мамаши купают своих младенцев.

Вцепиться в такой язык недопёсок никак не мог. Он заскулил, подставляя Пальме живот и платиновые бока, и в один миг превратился из Наполеона Третьего в обычного щенка. Пальма облизала как следует Наполеона и решила, что запах стал поприличнее. Она подтолкнула недопёска к конуре.

Пальма Меринова была вообще-то добродуш-

ная хозяюшка, из тех, которые, зазвавши гостя, сразу же выставляют на стол всякие коврижки и шанежки. Под конурою у неё припрятаны были разные кусочки и огрызочки, и, раскопавши коечто из своих запасов, Пальма принялась угощать Наполеона.

Урча, накинулся он на хлебные корки и петушиные головы, а Пальма похаживала вокруг него, ласково ворчала, потчевала.

Да, Пальма Меринова была радушная хозяюшка, и если б у неё в конуре был самоварчик, она, конечно, раскочегарила бы его.

Ночь в конуре

Сгустились сумерки, превратились в темноту, и сразу со всех сторон навалилась ночь на ковылкинскую землю. Не поймёшь, откуда она взялась: опустилась ли с неба или поднялась из глухих оврагов, заросших дудником, из барсучьих пещер.

К полуночи ударил мороз, и вокруг луны, которая вышла из сизых облаков, засияла голубая радуга. Эта ночная холодная радуга нагнала на деревенских псов волчью тоску, и дружно залаяли они и завыли, глядя на луну.

Свет луны опечалил и Пальму, она тоже завыла, поддерживая своих односельчан. Голос её, тёплый вначале и бархатный, подымался всё выше, выше, растерял по дороге теплоту и бархат и уже тянулся к луне тонкой шёлковой нитью. Добравшись до самой луны, стала Пальма медленно опускать голову и увидела окна мериновского дома, освещённые электричеством. Электрический свет взбудоражил её, и Пальма залаяла, будто вызывала хозяев на улицу разделить с нею ночную тоску.

Голос Пальмы растревожил Наполеона; вспомнились хриплые крики песцов, голоса работниц, алюминиевый звон.

Глядя исподлобья на луну, он хотел подхватить, подвыть деревенским дворняжкам, но ничего не получилось — из горла его вырвалось лишь тявканье, похожее на старческий хриплый кашель. Никак не вязался этот простуженный звук с домашним собачьим воем, и не нужен был он в ночном деревенском хоре, как не нужен был здесь, в деревне, и сам Наполеон, чудный зверь, ни дикий, ни домашний — искусственный, выведенный человеком.

Под вой собак заполз Наполеон к Пальме в конуру, забился в самый дальний угол, зарылся в

какие-то жаркие тряпки и задремал.

Перчатку мотоциклетную он взял с собою, потому что стала она совсем ручной.

Ветер, который гулял высоко в небе, рассеял облака, и стало видно, как из ковылкинского оврага выливается на небо Млечный Путь — молочная дорога. И по дороге этой вдогонку за Тельцом, отмеряя ночные часы, медленно помчался Орион.

Грозно сверкнул кинжал на его поясе, изогнулся тугой лук, и вот стремительная стрела прочертила небесный свод, ударила в лоб небесному буйволу.

От грозного удара по всему небу посыпались искры — шальные кометы — и сгорели где-то над водокачкой, маленьким кирпичным грибом, отмечающим над чёрными лесами звероферму «Мшага».

Нет, не догнал Орион Тельца, не догнал вчера, не догонит сегодня и завтра. Куда проще директору Некрасову найти недопёска, вернуть на звероферму Наполеона Третьего.

«Надо было дать Прасковьюшке премию, — думал в этот миг директор Некрасов. — Всё же она старается… а теперь — одни неприятности».

«Ладно, проживу и без премии, — думала тем временем Прасковьюшка, — не в деньгах сча-

стье...»

Засыпая, она беспокойно ворочалась на высокой кровати с серебряными шарами в изголовье, вздыхала, жалела себя и Наполеона, который бродит сейчас неизвестно где, голодный и одинокий.

Шофёр Шамов, укладываясь спать, думал только об одном: что делать с премией — отдать жене или затаить на личные нужды?

«Затаю пятёрочку», — решил в конце концов он и на этом заснул, и снилась ему ровная дорога без луж и без колдобин.

На небо набежала глубокая снежная туча, закрыла луну, плащом окутала плечи небесного охотника. И разом смолкли деревенские псы, загремели цепями, укладываясь спать. Только Пальма лаяла долго, пока не погас свет в окнах мериновского дома.

Пальма забралась в конуру, притиснула Наполеона к стенке. От неё исходил такой мощный жар, что Наполеон задохнулся, задёргался, не просыпаясь, установил нос свой точно на север и обнаружил щель в стенке конуры. Он приник к ней носом и успокоился. Из щели тянуло холодом, пахло снегом, падающим с неба.

Заснул недопёсок Наполеон Третий, и, пожалуй,

никогда раньше не спалось ему так спокойно, как в эту ночь во дворе плотника Меринова, под защитой горячей и добродушной Пальмы. Снились ему длинные ряды клеток, Маркиз, крутящий миску, и Сто шестнадцатый, который ничком лежит на дороге.

Пальма спала уютно, похрапывала и посапывала. Ей снилась большая кулебяка, которую испекут, наверно, к празднику.

Большая Вера Меринова

К утру повалил снег, да такой густой, что плотник встал пораньше — расчищать дорожки деревянной лопатой.

Пальма вылезла из конуры и сладко зевнула. За Пальмой появился недопёсок и тоже принялся зевать и потягиваться.

— Вишь ты, — засмеялся плотник, — зеваешь! Пригрела Пальма-то? Верунь, выдь на крыльцо, глянь, кого я тебе принёс!

На крыльцо вышла дочка плотника Вера, большая девочка, которая училась во втором классе. По росту Вера догоняла своего папашу, а на плечах у неё лежала туго сплетённая коса, потолще корабельного каната.

— Это что за типчик? — спросила Вера, глянув на недопёска. — Папань, ты зачем шутки шутишь?

— Это, Верунь, английский шпицок, — ответил плотник, который, кстати, и дочку свою слегка побаивался, потому что она была строга. — Его дачники бросили, а я пожалел.

— Разве это собака? Смотри, какой хвост, и морда лисья.

— Может быть, это помесь собаки с лисой? — неуверенно рассудил плотник.

— Папань, ты думай, что говоришь. Ну откуда возьмётся такая помесь? Лиса эвон где, а собаки — в деревне. Это зверь, а не собака.

Мамаша Меринова Клавдия Ефимовна, обширная, как копна сена, вышла на крыльцо с полотенцем в руках. Как и у Веры, на плечах мамаши лежала коса, куда, правда, тоньше, чем у дочери. Клавдия Ефимовна работала в колхозе счетоводом, а два года назад была с председателем на звероферме, видала и песцов, и чёрно-бурых лис. Она сразу поняла, кто такой сидит на снегу у конуры.

— Песец, — сказала она. — Он с фермы сбежал.

— Я его вчера у магазина от собак отбил, — хвастливо сказал плотник.

— А что это, интересно, ты делал у магазина? — спросила Клавдия Ефимовна.

— Так, Клав… — замялся плотник. — Сама знаешь, махорки-то надо купить. А где ж её взять, как если не в магазине?

— Весь двор провонял своим табачищем, — недовольно заметила мамаша Меринова и, присевши на корточки, стала разглядывать недопёска.

— Какой мех красивый, — говорила Вера. — Мам, налей ему щец.

— Нечего зверей прикармливать. Пускай отец сядет на велосипед да отвезёт его на ферму.

— Не надо его на ферму, мам, — сказала Вера. — Пускай он у нас поживёт. Будет как собачка. Давай мы его пригреем.

— Куда я, Клав, теперь поеду, — поддержал Веру плотник. — Разве я проеду по такому снегу? К тому же задняя ось, похоже, треснула.

— У тебя я знаю, где треснуло, — сказала мамаша Меринова, недовольно поглядевши плотнику в глаза. — Ты скажи-ка лучше, что это ты у магазина делал?

Плотник Меринов смешался, закашлялся, вытащил из-под крыльца какую-то верёвку и пошёл за калитку, сказавши загадочно:

— Схожу за жердями.

Вчерашние щи

Осторожно по шерсти попробовала Вера погладить недопёска. Он сжался и, насупившись, поглядел куда-то за забор. Лёгкие прикосновения человеческой руки удивили Наполеона, но ничего страшного в этом не было, и вдруг тёплая приятная дрожь пробежала по спине.

А Веру удивляло, какой у него чуткий мех. Он струился, шевелился под пальцами, был живым и даже на ощупь серебристым. Вере очень хотелось провести пальцем вдоль белой полоски, рассекающей нос недопёска, но она не решилась.

— Мам, принеси щей. Давай мы его прикормим.

Мамаша Меринова погладила Веру по голове и сказала:

— Ты у меня молодец. Животных любишь. Ладно, всё равно сегодня новые ставить.

Она сходила в дом и вынесла чугунок тех самых щей, что так вкусно пахли вчера. Эх, были в запасе у мамаши Мериновой бараньи варёные мослы, но не сумела она их оторвать от сердца!

Пальме налили в миску, а недопёску разыскала

Вера бывшую сковородку с обломанной ручкой, накрошила в щи хлеба.

Пальма завиляла хвостом, подошла к своей миске и весело ударила по щам языком.

— Хлебай, хлебай, не робей, — подталкивала Вера Наполеона.

Он упирался, хотел для начала крутануть сковородку и лапой неожиданно зачерпнул щей. Облизнул и сразу понял, что никогда не пробовал ничего столь острого и солёного. Снова обмакнул лапу и зацепил какой-то лохматый узел.

— Это капуста, — пояснила Вера. — Хлебай, хлебай… Тут и луковки попадаются, кругленькие, да, наверно, уж разварились, упрели. И картошка.

Наполеон слизнул капусту. Так и стал он есть: обмакивал в щи лапы и облизывал. Вчера щи пахли, может быть, и вкуснее, но и сейчас были они хороши. Кислый и жирный валил от них пар.

Пока налегал недопёсок на вчерашние щи, Вера Меринова принесла верёвку, ласково, лёгким бантиком обхватила его за шею, а другой конец привязала к кольцу, вколоченному в стенку конуры.

— Посидишь так до обеда, — сказала она.

Только облизавши дочиста свою сковородку, заметил Наполеон, что на шее у него что-то ме-

шается. Вывернул голову и лапой попытался сковырнуть верёвку, но плотно уже сомкнулась она на шее, зарылась в мех. Тогда ему показалось, что от этой штуки можно убежать. Он прыгнул в сторону — верёвка схватила за горло, и Наполеон упал в снег.

Нет, Наполеон, не убежать вам от плотницкой верёвки. Простейший предмет, а легко превращает в собачку свободного зверя. И Пальма, и тёплая конура, и вчерашние сытные щи — это только обман, пригодный дворовым собачкам. На север, на север надо было, Наполеон, как раз ведь туда показывает верный компас, рассечённый белою полосой. Пропал, поник Наполеон, попался в петлю, сложенную бантиком из плотницкой верёвки.

— Не волнуйся, не волнуйся, — успокаивала его Вера. — Посидишь так только до обеда. Чтоб не убежал. А приду из школы, я тебе устрою домик.

Вера ласково гладила недопёска, уговаривала его, как мамаши уговаривают детей.

«Назову его Тишей», — думала она.

Вера Меринова была добрая девочка. Она любила животных, всех животных, всё равно каких. Но желательно — млекопитающих.

Полтабуретка

Мамаша Меринова ушла на работу, Вера — в школу. Дома никого не осталось.

А Пальма по характеру была домоседка. Она не слишком-то любила болтаться по улицам, ей нравилось, когда гости сами приходили.

Наевшись, Пальма вспрыгнула на конуру и улеглась на её плоскую крышу ждать гостей.

Наполеон, пришибленный верёвкой, заполз в конуру. Ему казалось, что какой-то страшный, сильный и невидимый зверь схватил за шею и держит. Вот нажмёт посильней — разорвёт горло. Мотоциклетная перчатка, которая дремала в куче тряпья, зашевелилась, ласково провела указательным пальцем по чёрному его носу, рассечённому белой полосой. Наполеон заскулил, но не смогла перчатка развязать верёвку на его шее.

Скоро во дворе появилась гостья.

Это была старая приятельница Пальмы собачонка Полтабуретка.

Маленькая и зловредная Полтабуретка имела скверный характер. Она воровала всё, что попадалось на глаза, любила укусить сзади. Де-

ревенские псы терпеть не могли Полтабуретку. Только Пальма жалела её.

«Маленькие собаки — злые, — рассуждала Пальма. — Их надо жалеть. У них жизнь не удалась».

Пальма всегда делилась с голодной Полтабуреткой костями, которые перепадали от мериновского стола, и Полтабуретка заходила каждое утро перекусить и вообще покалякать.

Увидевши гостью, Пальма приветливо махнула хвостом. Полтабуретка издалека оскалилась, захихикала, подскакала к конуре.

Вдруг она замерла на месте, наморщила нос — чем это у вас тут противным пахнет? Пальма фыркнула добродушно: мол, не беспокойся, затесался тут один знакомый или родственник, что-то вроде племянника.

Из конуры вылез недопёсок с мотоциклетной перчаткой в зубах.

Полтабуретка зарычала, глазки её загорелись скандальным огнём. Она сразу вспомнила, кто ей вчера всю морду расцарапал.

Не рассуждая, кинулась она к недопёску, клацнула зубами и выдрала клок платиновой шерсти. Наполеон вцепился ей в нос, и снова раздался неприятный визг.

Пальма соскочила с конуры, оттёрла Полтабуретку плечом и встала между нею и недопёском.

«Погодите, погодите, ребята, — как бы говорила она. — Давайте вначале разберёмся, в чём тут дело».

Но Полтабуретка вовсе не хотела ни в чём разбираться. Из носу у неё текла кровь, а пасть была забита шерстью. Она не просто лаяла, она орала во всё горло.

На голос Полтабуретки прибежала рыжая Дамка, маленькая собачонка Мошка и бродячий пёс Шакалок. Кольцом обложили они Пальму и Наполеона и грозно ворчали, а Полтабуретка шмыгала вокруг и разжигала.

Вся эта комедия Пальме не понравилась. Она загнала Наполеона в конуру и сама влезла в неё, выставив наружу только лишь свою добродушную морду. Пальма миролюбиво ворчала, объясняя, что нечего разжигать сыр-бор, что это её знакомый или даже родственник и что, в конце концов, это её личное дело, кто живёт у неё в конуре.

Но уговоры Пальмы не помогали. Свора вплотную приблизилась к конуре, а коварная Полтабуретка вскочила на крышу и стала скрести её когтями.

Собачонка Мошка, двоюродная сестра Полтабуретки, совсем обнаглела. Задними лапами она корябала землю — комья земли и снега полетели в морду добродушной хозяюшке.

Терпение Пальмы лопнуло. В ярости выскочила она из конуры и ужасно укусила двоюродную сестру. И тут же сцепились в одно лохматое колесо и Мошка, и Пальма, и Дамка, и Полтабуретка, и бродячий пёс Шакалок. А Наполеон взволнованно выглядывал из конуры и чем-то напоминал, в конце концов, своего знаменитого тёзку, который наблюдает из маршальского шатра за ходом сражения.

Псы свились в клубок, связались двойным морским узлом. Их морды были в средине узла, а хвосты трепетали снаружи. Узел прокатился по двору, перевернул ко́злы, но тут прилетела вдруг откуда-то консервная банка и врезалась в самую середину свары. И страшный послышался, грозный крик:

— Артиллерия! Огонь! Левое орудие разрывными снарядами — пли!

Градом посыпались на собак разрывные снаряды — осколки горшков и гремящие консервные банки. Первым рванул в сторону Шакалок, за ним — двоюродная сестра. Через четыре секунды

двор опустел.

Из-за забора заглядывал на мериновский двор какой-то человек в офицерской фуражке. Это был дошкольник Серпокрылов.

Часть вторая
Дошкольник Серпокрылов

После завтрака дошкольник Серпокрылов имел обыкновение прогуливаться по деревне. Проводив на работу своего папашу, уважаемого слесаря Серпокрылова, дошкольник надевал офицерскую фуражку, закидывал на плечо винтовку, сделанную из водопроводного железа, и выходил в дозор.

Все друзья дошкольника учились в школе, поэтому до часу дня Серпокрылов был свободен и одинок. Но одиночество не мучило его, потому что он был занят военным делом.

Взявши винтовку наперевес, солдат Серпокрылов крался вдоль забора, стараясь подстрелить какого-нибудь вражеского разведчика или адъютанта.

Около клуба ему попался почтальон дядя Илюша, который мгновенно был ранен в ногу.

— Смотри, Лёшка, — крикнул дядя Илюша, — сколько снегу навалило! Надо тебе надевать маскировочный халат!

Сержант Серпокрылов стрельнул ещё разок, но,

как видно, не попал. Прихрамывая, дядя Илюша двинулся по деревне. Он кидал газеты и письма в почтовые ящики, приколоченные к калиткам.

Из проулочка появился тем временем неприятельский батальон, обутый в красные сапоги.

— Солдаты! За мной! — шепнул своим разведчикам старшина Серпокрылов. — Возьмём их в клещи!

Будто лавина, обрушились разведчики на врага. Хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами, вытягивая в страхе белые маскировочные шеи и даже маскировочно гогоча, враги рассыпались по огородам и замаскировались.

Неожиданно послышалось ворчание танка. Лязгая гусеницами, из-за ближайшего блиндажа вываливался тяжёлый бронированный механизм.

— Погибать — так с музыкой! — крикнул лейтенант Серпокрылов, держа в руке противотракторную гранату.

Раздался чудовищный взрыв — механизм выпустил облако дыма и отправился умирать в сторону силосной ямы.

После боя установилась над землёй тишина. Такая тишина, какой не услышишь в мирное время. Но это была обманчивая тишина.

Со двора плотника Меринова вдруг послышался визг и лай.

— Вперёд! По-пластунски! — скомандовал капитан Серпокрылов, упал в снег и стремительно пополз к забору, за которым разгорелся невиданный бой.

Заглянувши в дырку между штакетин, майор Серпокрылов сразу оценил обстановку.

— В штыки! — послышалась команда. — Ребята, рубай их! Не подведите своего подполковника!

Град огня и снарядов обрушился на врага.

— Спасибо вам, товарищ Серпокрылов, — сказала Пальма. — Ваши активные боевые действия привели к полной победе.

— Я — солдат! — скромно ответил полковник Серпокрылов.

Дошкольник хотел продолжать путь боевых подвигов, как вдруг заметил пушистого, с огромным хвостом солдатика, привязанного за верёвку к конуре.

«Вон какую штуку завела себе Верка Меринова!» — изумлённо подумал он, раскрыл глаза пошире, и в голову его хлынули сугубо штатские мысли: кто это такой, чего он сидит у конуры и при чём здесь огромная перчатка, валяющаяся на снегу?

Дошкольник перелез через забор, поднял перчатку и примерил. Рука влезла аж до плеча, и дошкольник засмеялся от удовольствия.

— А ты кто такой? — спросил он Наполеона, присел на корточки и перчаточным пальцем провёл ему по носу.

Наполеон зажмурился.

Новые стремительные мысли пронеслись в голове дошкольника, и главная насчёт Верки Мериновой: мол, надо бы её немного подразнить, а то чего-то загордилась, давно недразнённая ходит.

— Ты мой трофей, — сказал он Наполеону и отвязал верёвку.

Потягивая за собой недопёска, дошкольник вышел через калитку на улицу.

Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова.

На полюс!

«Это, наверно, росомаха, — думал дошкольник, выходя из калитки на дорогу, вдрызг перепаханную тракторами. — А может, барсук? Как раз полосочка на носу. Нет, он похож на лису. Но не очень. Какой-то недолисок!»

Тут мысли дошкольника побежали по дороге, проторённой уже плотником Мериновым: «Может, это помесь собаки с лисой? Лисья собачка? Лисопёс… Лисица-псица!.. Лисец…»

— Песец! — закричал вдруг дошкольник, подпрыгнул на месте и выпалил из водопроводной винтовки. — Песец! Песец! Чтоб мне треснуть! Это песец!

Восхищённый своей догадливостью, он палил безостановочно в воздух. Бах-тарарах-бабах! Наполеон поник, пришибленный неслыханным салютом. Никогда в жизни не приходилось слышать ему ничего подобного.

Дошкольник быстро израсходовал все боеприпасы и дёрнул за верёвку. Ему хотелось немедленно куда-то бежать. Песец неожиданно заупрямился, упёрся лапами в землю и затряс головой.

— Пойдём, пойдём, — торопил дошкольник.

Наполеон завертел головой, упал на бок, перевернулся на спину, стараясь задними и передними лапами сорвать с шеи верёвку.

Дошкольник Серпокрылов, надо сказать, был человек сообразительный. Он подождал, пока Наполеон успокоится, а потом заманчиво помахал мотоциклетной перчаткой.

— Пойдём со мной, — сказал он. — Перчатку получишь. Хорошая перчаточка!

Однако перчатка не помогла. Песец вовсе её не заметил.

— Ну, ладно, — сказал дошкольник. — Ты не идёшь за мной, тогда я пойду за тобой. Беги куда хочешь.

Разных людей повидал за свою жизнь Наполеон Третий, но никогда не встречал он таких маленьких, чуть выше елового пня. Это Наполеону неожиданно понравилось, и ещё понравилось, что дошкольник перестал дёргать верёвку и палить.

Недопёсок обнюхал снег и валенки дошкольника Серпокрылова. От валенок пахло мышами.

Наполеон оглянулся на мериновский двор. Пальма стояла у калитки, печально помахивая тропическими ушами. Наполеон кивнул ей и установил нос точно на север.

— Валяй! — шепнул дошкольник, и на север, точно на север побежал недопёсок через деревню Ковылкино, а за ним — дошкольник Серпокрылов.

Ему хотелось свистнуть, как свистят кавалеристы, скачущие в степи, или взреветь мотоциклом «Ява», на котором ездит агроном, но он боялся

напугать зверя, бегущего перед ним.

«Куда же он бежит? — думал Серпокрылов. — Наверно, на север. Северный зверь должен бежать на север. На полюс!»

Серпокрылов смеялся, ему казалось, что он всё знает, всё понимает, и действительно, он всё больше понимал, что́ это за зверь бежит перед ним, куда бежит и зачем.

«Назову его Филькой», — думал он.

Кто из нас, людей деревенских или городских, поймёт сердце песца, душу недопёска? Даже и в собачьей душе мы только чуть научились читать, а о песцах и ведать не ведаем. Есть, конечно, десяток на земле знатоков, которые расскажут о песцах. Но что скажут они о душе песца, не того, что бродит по белым пустыням тундры, а вот этого — искусственного, платинового, выведенного в клетке! Что там бьётся у него в груди — сердце или моторчик, заведённый на время человеком?

Не видно в платиновом Наполеоне сходства с его свободными родственниками, и не слишком похож он на придуманного плотником английского шпица.

Более всего схож Наполеон с тюфячком на коротких ножках. И вся душа его ушла, наверно, в этот густой теплейший мех, в этот красивый во-

лос? А сердце бьётся лишь для того, чтобы волос становился всё длиннее и краше.

Наполеон спешил. Ему казалось, ещё немного, и он убежит от верёвки. А дошкольник старался так поспевать, чтоб верёвка не резала песцу шею.

«Мы бежим на полюс! — думал дошкольник Серпокрылов. — А куда же иначе нам бежать? Вперёд! Я там давно хотел побывать!»

Позвякивая боевыми наградами, бежал дошкольник Алексей Серпокрылов через деревню Ковылкино вслед за недопёском Наполеоном Третьим.

С каждым шагом увеличивалось на его груди количество орденов и всё ближе был Северный полюс.

Колёса, которые видит старик Карасёв

Настало наконец-таки время поговорить о старике Карасёве, о ковылкинском человеке с небритою бородой и носом кисельного цвета.

Старики такие есть во всех деревнях. Они сторожат колхозные сады, подшивают валенки. Этими делами занимался и старик Карасёв — и сад стерёг, и валенки подшивал. Короче, это был обычный старик, и только одна черта отличала

его ото всех других стариков.

Старик Карасёв был колдун.

Впрочем, разобраться в этом деле — умеет Карасёв колдовать или нет — никто толком не мог.

Печник Волопасов спросил как-то:

— Ну что, дедок, ты вправду, что ль, колдовать умеешь?

— Колдуем помаленьку, — ответил на это старик Карасёв.

— Да ладно врать-то, — сказал печник.

Карасёв равнодушно улыбнулся и вдруг глянул на печника через левое плечо. Волопасов вздрогнул и отошёл в сторону сельсовета. А на другой день на шее у него выросла болячка.

С каждым днём болячка разрасталась, и жена Волопасова уговаривала его пойти к старику повиниться.

— Против колдовства имеется наука! — возражал Волопасов.

Он купил йоду и стал смазывать им болячку. Научное лекарство вступило в борьбу с колдовской болячкой и в конце концов, конечно, победило.

Но не болячками удивлял старик Карасёв белый свет. Главная сила его заключалась в другом: старик Карасёв видел колёса!

Что это за колёса, Карасёв и сам толком объ-

яснить не мог. Но, по словам его, получалось, что возле каждого человека имеется в воздухе какое-то цветное колесо. Вроде радуги. Да только колесо это не всякому дано увидеть.

Например: плотник Меринов никаких колёс не видит, и слесарь Серпокрылов не видит, да и вообще никто не видит. А вот старик Карасёв видит.

В тот день, когда появился в Ковылкине Наполеон, Карасёв сидел на лавочке у калитки, а соседка Нефёдова шла из магазина и присела передохнуть.

— Куда ты столько хлеба набрала? — сказал Карасёв. — Десять кирпичей.

— Как это куда! — закричала в ответ Нефёдова и принялась считать, сколько у неё в доме народу, да куры, да корова, да поросята, да праздники впереди. Своими крикливыми подсчётами она оглушила старика на оба уха, потом перевела дух и решила поболтать о колёсах. — Неуж всё-таки вправду бывают колёса вокруг людей?

— А как же, — ответил Карасёв. — Обязательно бывают.

— И ты видишь это?

— А как же мне не видеть-то их, если они видны, — возразил старик.

— Ну, а вокруг меня есть такое колесо?

— Виднеется, — подтвердил Карасёв. — Да только не слишком уж большое.

— Что уж, совсем, что ли, маленькое? — спросила Нефёдова чуть огорчённо.

— Ну, как тебе сказать, — ответил Карасёв, закуривая цигарку, — сантиметра на четыре.

— И какого ж оно цвета?

Тут старик Карасёв поглядел на соседку внимательно, выпустил в воздух дыму и сказал:

— Коричневое.

Такой цвет Нефёдову почему-то обидел.

— Старый ты пёс, — сказала она. — Напустил дыму, вот и натемнил в колесе.

— Табачный дым колёсам не помеха, — ответил старик Карасёв, равнодушно ещё раз взглянувши на соседкино колесо.

— Тьфу! — плюнула Нефёдова. — У тебя небось и вовсе никакого колеса нету.

— Мне своё колесо видеть не дано.

Старик покуривал цигарку, а Нефёдова искоса взглядывала на него, прищуривалась, словно хотела разглядеть, не видно ли какого колеса. Но, кроме шапки солдатской, носа да цигарки, она не видела ничего. И на улице не видно было никаких колёс, только у дороги валялась, как

обычно, автомобильная покрышка.

На дорогу выскочила из-за угла собачка на верёвке, а за нею бежал дошкольник Серпокрылов.

— Смотри-ка, дед, вон мальчишка слесарев бежит. Неуж и вокруг него есть чего-то?

— А… это Лёшка Серпокрылов. Вокруг него радуга васильковая с розовым разводом.

— И вокруг собаки есть?

— Ну нет, — сказал Карасёв. — Вокруг собак не бывает… Они их видят, а сами не имеют. Постой, постой… Что за оказия? Вроде что-то намечается синеватое! Да это не собака!

Старик Карасёв разволновался, достал из кармана очки.

— Эй, Лёшка, подь-ка сюда!

— Некогда, дедушка Карасёв! — крикнул в ответ Серпокрылов. — На полюс бегу! — И скрылся за углом.

— Странное дело, — взволнованно рассуждал старик Карасёв. — Вокруг собак никогда не бывает, а тут что-то синеватое.

Пока старик рассуждал, на улице появился новый человек.

В шапке «пирожок», в овчинном полушубке романовской дубки, он быстро шагал, почти бежал по улице. В руках он держал толстую палку,

окованную полосовой сталью, а на спине его подпрыгивал зелёный, через плечо на ремне, сундучок.

— Это что за человек? — спросила Нефёдова. — Какое вокруг него будет колесо?

— Тьфу! — плюнул старик Карасёв. — Салатовое!

На севере диком…

Последним уроком во втором классе был урок рисования.

Кончилась переменка. Техничка Амбарова пробежала по коридорам.

— Звонок не работает! — кричала она. — Движок барахлит. Току нету! Расходись по классам!

— Без звонка не пойдём! — кричали Белов и Быкодоров из четвёртого класса.

— Дзззззззз… — зазвенела Вера Меринова.

— Дзынь-трынь! Трам-блям-блям! — подхватил весь второй класс, и скоро в школе раздался такой звон, какого никогда в жизни не устроить электрическому току.

— Кончай звонить! — закричал учитель рисования Павел Сергеевич. — Готовь карандаши да альбомы!

Во втором классе очень любили рисование, и рисовали здесь отлично.

«Таланты! — говорил о них Павел Сергеевич. — Петровы-Водкины!»

Уроки свои Павел Сергеевич начинал обычно с какого-нибудь фокуса. Вдруг доставал из кармана огромный гипсовый нос или приносил в рюкзаке лошадиный череп. Сегодня он пришёл с пустыми руками, и напрасно таланты глядели с надеждой на учительские карманы. Карманы не оттопыривались, гипсовый нос оттуда не высовывался.

Павел Сергеевич прошёлся по классу, остановился у окна.

— Сколько снегу навалило, — сказал он. — Скоро настоящая зима.

Ребята поглядели в окно на старые берёзы, присыпанные снегом. Чёрные грачиные гнёзда на берёзах накрылись белыми колпаками.

— Видите за фермой сосну? — спросил Павел Сергеевич.

— Видим, видим! — закричал хорошист Миша Чашин.

— Посмотрите на неё хорошенько, — попросил Павел Сергеевич.

Ребята с любопытством принялись рассматривать сосну, как будто ожидали, что Павел

Сергеевич сейчас устроит с нею какой-нибудь фокус.

Но Павел Сергеевич ничего не устраивал, а сосна стояла не шевелясь, подпирала мудрой головой серое ковылкинское небо.

Эта сосна была знаменита. Ни в деревнях, ни в окрестных лесах не было дерева выше ковылкинской сосны, а медовый её ствол был толще самой огромной бочки. Старики говорили, что сосна заколдована. В неё ни разу не попала молния. Другие, мелкие деревья июльские грозы крошили каждый год, а сосну обходили стороной.

— Это очень старая сосна, — сказал Павел Сергеевич. — И вот каждое утро, по дороге в школу, я думаю, что это про неё написал Лермонтов стихотворение… Послушайте.

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна.
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим,
Как ризой, одета она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем

Прекрасная пальма растёт.

Ребята помолчали, обдумывая стихотворение, а потом сразу стали спорить, про какую это сосну написано.

— Да не про нашу это!

— Про нашу! Про нашу!

— Погодите, — сказал Павел Сергеевич. — Давайте по порядку. Миша Чашин!

Второклассники замолчали. Хорошист Миша Чашин пользовался в классе авторитетом. Его уважали.

— Это не про нашу, — сказал Миша Чашин. — Нету горной вершины. Почему ничего не сказано про ферму, а ведь она под сосной?

Миша Чашин сел на место, и слово взял Коля Калинин.

— Горной вершины нет, зато есть бугорок, — сказал он. — Но дело не в этом. Стихотворение про сосну, которая стоит одиноко. Значит, и про нашу. Значит, это наша сосна спит и видит пальму.

— Пальму Меринову, — сказал Миша Чашин и засмеялся.

— Кокосовую! — закричал Коля Калинин. — Не тебя же во сне видеть!

— Спокойно! — сказал Павел Сергеевич. — Калинин, сядь. Говори, Вера.

— Это написано не про сосну, — сказала неожиданно Вера, — а про одинокого человека. Он стоит, и ему печально.

— Ну сказанула!

— Тогда б так и было написано: на голой вершине стоит человек!

— Ну ладно, — сказал Павел Сергеевич. — Хватит кричать. Я согласен с Верой. Поэт пишет стихотворение о сосне, а сам думает, конечно, о своей судьбе, о других людях. Мы читаем и тоже задумываемся о себе и о других. Вот так. Ну, начали рисовать.

— Чего рисовать?

— Как чего? Сосну, пальму, всё, о чём написал Лермонтов.

— Вот это задание!

— Давайте лучше гипсовый нос!

Ребята задумались, стали вспоминать, как выглядит пальма. Только лишь Коля Калинин немедленно кинулся в бой.

— Во — сосна! — шептал он. — А во — пальма! Во — песок! Во — скала!

— Не спеши, — сказал ему Павел Сергеевич. — Продумай композицию.

Коля остановился на минутку и тут же снова зашептал:

— Во — снег идёт! Прям на ветки! Прям на ветки! Во — гора! Во — ферма под горой, коровы, куры! Во — школа!

— Вера Меринова пойдёт к доске рисовать цветными мелками.

— Повезло, повезло Верке, — бормотал Коля. — Во — лошадка везёт сено. На возу мой папаня.

Тихо стало в классе. Слышался только приятный шорох карандашей да стук мела по грифельной доске.

Синяя северная гора, изрезанная скалами, изрытая пещерами, охватила полдоски, красным мелом наметила Вера сосновый ствол. Горел огненный ствол, оранжевые ветки уползали вверх и добирались чуть ли не до портрета знаменитого химика Менделеева, который висел над доскою. На верхушке, там, где у сосны голова, нарисовала Вера кружок, а в нём — песок, песок, горючий утёс, одинокую пальму. И так уж получилось, что листья её были похожи на уши Пальмы Мериновой.

— Хорошо, — похвалил Павел Сергеевич. — А это кто такой под сосною?

— Песец, — ответила Вера. — Северный зверь.

— Очень хорошо, — подтвердил Павел Сергеевич.

Вера почти закончила рисунок и решила ещё разок глянуть на ковылкинскую сосну. Она подошла к окну, и тут же всё смешалось у неё в глазах.

За школьным забором бежал по улице Лёшка Серпокрылов, а перед ним на верёвке — Тишка, песец, северный зверь. Заприметив в окошке Веру, дошкольник остановился, поднял водопроводную винтовку, прицелился и, конечно, попал в самое сердце. Песец дёрнул верёвку — дошкольник состроил нехорошую рожу и скрылся из глаз.

Из-за поворота тем временем появился новый человек — в овчинном полушубке, с зелёным сундучком на плече. Вера не видела его. Она так разволновалась, что еле дотянула рисунок до конца.

Павел Сергеевич поставил ей пятёрку, посадил на место.

Тысячи мыслей проносились в голове Веры Мериновой, и из всех мыслей она выбрала одну, самую верную.

Вера написала записку и перекинула её Коле Калинину:

«Готовься! Будет дело!»

К чему надо готовиться, Коля не понял и, какое

будет дело, не знал, но все последние пять минут сидел как на иголках и готовился к делу.

«Будь спокойна, Вера, — думал он. — Я готовлюсь!»

Приключения на Северном Полюсе

К этому моменту погоны на плечах дошкольника Серпокрылова выросли уже до каких-то ненормальных размеров. Куда больше на них сверкало звёзд, чем в созвездии Ориона, и установить армейский чин дошкольника было трудновато. Получалось что-то вроде супергенералиссимуса.

Вслед за песцом дошкольник пробежал через всю деревню. Верёвку он старался не натягивать, и Наполеону почудилось даже, что он вновь свободен, а маленький человечек просто бежит за ним на правах Сто шестнадцатого.

На бугре под ковылкинской сосной Наполеон остановился, оглянулся на дошкольника. Нет, не был похож дошкольник на Сто шестнадцатого, но хоть вперёд не забегал и верёвку не дёргал.

Запыхавшись немного, Лёша сопел и ласково глядел на недопёска.

С бугра от края до края видна была деревня Ко-

вылкино. Что ж, настало время прощаться с нею.

Много здесь прожито — шесть с половиной лет, — много пережито. Всё теперь позади, а впереди долгий путь на полюс, бураны, метели, вьюги.

Впереди морозы в сто градусов и отряд полярников, во главе которых начальник Серпокрылов. В меховых унтах, с пистолетом в руке.

А Верка Меринова — фельдшерица.

«Товарищ начальник, — скажет она, — разрешите залезть на айсберг».

«Ладно, лезь, да смотри не задерживайся на макушке, а то скоро задует пурга. Сама знаешь, что такое Север».

«Я мигом. Только слазию — и обратно».

И вот Верка полезла на айсберг, и тут же задула пурга.

«Сидите в красной палатке! — приказал Серпокрылов полярникам. — А я пойду спасу её».

И он быстро-быстро стал карабкаться на айсберг.

Пурга дула с нестерпимой силой, и не было ничего видно на земле, но всё же начальник заметил Верку. Полумёртвая от холода, она лежала в снегу. А над нею стоял белый медведь. Тут начальник хлоп из пистолета — медведь

шмякнулся…

Тогда Серпокрылов взвалил Верку на плечи и потащил её вниз.

«Оставь меня, Лёша, — слабым голосом просила Верка. — Дай мне умереть в снегу!»

«Ни за что, — отвечал Серпокрылов. — Я спасу тебя».

«Спасайся сам, ты ещё нужен людям, а я уже не нужна».

«Мы оба нужны», — отвечал начальник и брёл в пурге, шатаясь, брёл и брёл, брёл и брёл и нёс на плечах Верку Меринову.

— Эй, малый, погоди! — услыхал вдруг он.

Дошкольник оглянулся.

— Погоди, погоди, — говорил человек в овчинном полушубке, взбегая на бугор.

— Тебе чего, дядь?

— Хочешь крючочек?

— Какой? — не понял Лёша.

— Рыболовный, номер пять. На окунька, подлещика. Хочешь?

— А то, — ответил дошкольник.

— Вот и хорошо. Всё путём. Насодишь кашки, а подлещик — хлям! — и болтается на крючке. Грамм на двести!

Человек в полушубке скинул с плеча сундучок

и, бормоча: «Окуньки, подлещики», щёлкнул замком.

Лёша заглянул в сундучок, и сердце его восхищённо стукнуло. Золотом, серебром сияли-переливались в сундучке рыболовные драгоценности: блёсны-плотвички, перья-поплавки.

«Подлещик» же тем временем вытащил из сундучка коробку из-под монпансье, поддел крышку ногтем. Сотня самых разных крючков — стальных и латунных, гнутых и кованых — оказалась в коробке.

— Выбирай.

— А можно два?

— Бери, уж больно ты малый хороший.

Дошкольник Серпокрылов не считал себя таким уж бесконечно хорошим малым, но всё-таки выбрал крючки, снял с головы фуражку и зацепил крючки за подкладку.

— А на акулу есть? — спросил он.

— Чего на акулу?

— Крючок.

— Нету.

— Ну ладно, я побежал.

— Постой-постой! Я тебе крючки, а ты мне чего? Дай и ты мне чего-нибудь.

— Идёт, — согласился дошкольник и вынул из

кармана медный предмет неясного назначения. Это был носик от чайника.

— Зачем он мне? — удивился человек в полушубке.

— А вот так, — сказал дошкольник и вдруг приляпал этот носик на свой собственный нос.

Полушубок вздрогнул. Самый настоящий чайник в офицерской фуражке глядел на него и вращал глазами, как будто собираясь закипать.

— Нет-нет, малый. Это не годится. Ты лучше дай мне собачку.

— Не могу.

— Да ведь я же совсем одинок, а собачка мне будет вечным спутником. Отдай.

— Никак не могу, — сказал дошкольник.

— Крючочки взял, а собачку жалеешь. Не ожидал от тебя такого.

Человек в полушубке оглянулся и вдруг подпрыгнул на месте и схватил верёвку, за которую привязан был Наполеон.

— Отдай собачку, — неприятно зашептал он. — Это моя собачка, а не твоя!

Он рванул верёвку, изо всех сил толкнул дошкольника в грудь.

Дошкольник Серпокрылов упал в снег, теряя ордена и медали.

Бой у ковылкинской сосны

Техничка Амбарова всунулась в дверь, оглядела класс равнодушным взглядом и сказала:

— Свету нету. Павел Сергеевич… Дзынь… Конец уроков…

Как ни любили ребята рисование, конец уроков они любили ещё больше. Все вскочили из-за парт, зазвонили на сто ладов.

— Беги за мной! — крикнула Вера Коле Калинину и выскочила из класса.

Коля в таких случаях долго не рассуждал. Когда ему говорили «беги за мной», его всегда охватывало волнение, он срывался с места и летел сам не зная куда. Выбежав на улицу, он с ходу обошёл на повороте Веру Меринову и ударил по снежной дороге подшитыми валенками. Только через полсотни шагов Коля остановился.

— Куда мы, Вер?

— В погоню! Серпокрылов песца увёл!

— Песца! — закричал Коля. — Ура! В погоню! Какого песца?

— Настоящего.

От таких слов у Коли голова кругом пошла, он не стал разбираться, что это за песец и откуда, он

только подпрыгнул на месте, будто горячий конь ударил в землю копытом, и помчался прямиком к одинокой ковылкинской сосне, под которой маячила фигура в офицерской фуражке.

Подбежав к сосне, Коля удивился, что у дошкольника не видно никакого песца. Но, с другой стороны, он не так уж хорошо знал, на что похож настоящий песец. Да может, дошкольник его за пазухой прячет! Поэтому Коля не стал рассуждать, где у дошкольника песец — за пазухой или под шапкой.

— Ура! — закричал он. — Вот он, дошкольник Серпокрылов! Дави дошкольника!

С разгона налетел Коля на Серпокрылова, сбил в снег офицерскую фуражку. Но дошкольник был не из тех людей, которых можно было взять на ура. Он упёрся коленом в живот противника, сообразив, что наконец-то настал час, когда можно применить известный ему приём японской борьбы дзюдо.

— Стой! — закричала Вера, подбегая. — Песца замнёте!

Ей почему-то казалось, что недопёсок принимает живое участие в схватке.

Слово «замнёте» притормозило Колю Калинина. Он теперь совершенно убедился, что песец у

дошкольника за пазухой. Поэтому Коля ослабил мёртвую хватку. Но дошкольник Серпокрылов точно знал, что за пазухой у него ничего нет, кроме гордого, яростного сердца. Тут Коля и попал на приём. Одним махом дошкольник перекинул его через бедро, и Коля так грянулся о землю, что вздрогнула одинокая ковылкинская сосна и увидела наконец-таки пальму на юге далёком.

Лёша поднял с земли офицерскую фуражку и сказал:

— Семь раз отмерь и лучше не отрезай.

— Я те отмерю!.. — закричал обиженный Коля, горячо поднимаясь с земли. — Я те отрежу… Я те сейчас так отрежу, что и отмеривать нечего будет!..

— А ну постой! — сказала Вера, дёрнув Колю за рукав. — Где же песец?

Большая Вера Меринова посмотрела дошкольнику Серпокрылову прямо в глаза.

Взгляда Веры Мериновой дошкольник Серпокрылов вынести не мог. Он мог сражаться с лазутчиками, мог ловить на приём Колю Калинина, спокойно мог глядеть в глаза своего папаши слесаря, но перед Верой он бледнел и терялся. Поэтому дошкольник не стал глядеть ей в глаза. Поглядел под ноги, повёл глазами по растоптан-

ному снегу, добрался до подножия ковылкинской одинокой сосны, а там по стволу, по стволу, белочкой, белочкой, всё выше и как раз добрался до небес.

— Где песец, Серпокрылыч?

Это слово «Серпокрылыч», такое ласковое и тревожное, разбередило сердце дошкольника.

— Ты зачем отвязал песца?

И действительно, зачем? Ну зачем отвязал он песца?

— Подражнить хотел.

— Кого?

— Тебя.

О Орион! Да что же это на свете делается? Уж и подразнить нельзя симпатичного тебе человека!

— Где песец, Серпокрылыч?

— Дяденька отнял.

Сервелат

Впилась-впиявилась верёвка в шею, натянулась струной, придушила. Померк белый свет в глазах Наполеона.

— Шевелись, шевелись, собачка, — торопил человек в полушубке, тянул изо всех сил за верёвку к лесу, к оврагу, тому самому, из которого вылива-

ется на небо Млечный Путь — молочная дорога.

Наполеон пробовал упираться, но верёвка так схватила за горло, что ноги подкосились. Он еле поднялся и, спотыкаясь, поспешил к оврагу, куда тянула верёвка. То рысью, то галопом бежал человек, а то тормозил, как бы делая вид, что он просто с собачкой прогуливается. Страшная палка, окованная полосовой сталью, тяжело лежала на его плече, а на спине подскакивал зелёный сундучок, бренькали в нём блёсны, крючки и коробочки.

Ковылкинский овраг глубоко разрезал землю. Склоны его сплошь заросли глухой бузиной, одичавшей малиной, завалены были истлевшим хворостом, который вяло трещал под ногами.

У бузинных кустов верёвка ослабла. Наполеон ткнулся в бурелом, пытаясь спрятаться.

— Сейчас-сейчас, — сказал полушубок. — Сейчас всё будет в порядке. Я тебе колбаски дам.

Он резко дёрнул верёвку, поволок недопёска вниз по склону.

На дне оврага чернел в снегу старый колодец. Брёвна, из которых сложен был его сруб, давно сгнили, обросли грибами, похожими на оранжевые копыта.

— Уфуфу! — вздохнул наконец полушубок,

захлестнул Наполеонову верёвку за скобу, вколоченную в брёвна. — Ну вот и всё путём. Сейчас будем колбаску есть. Хорошая колбаска, ну прямо сервелат.

Он открыл сундучок и вынул из него газетный свёрток.

— На-ка, — сказал он и бросил Наполеону колесико колбасы с напухшим на нём маслом и крошками хлеба, а сам принялся жевать бутерброд. Белый его нос выглядывал из-под шапки и внимательно шевелился, как бы следя и за Наполеоном, и за поеданием бутерброда.

Недопёсок тяжело дышал. Очень болела шея, нарезанная верёвкой.

Он лёг в снег, закрыл глаза.

— Ешь колбаску. Будь культурным зверьком. Все, кто нас увидит, так и подумают: культурный человек кормит свою собачку. Никто не догадается, что и человек-то я не очень культурный, а собачка — не собачка вовсе, а Наполеон!

Тут засмеялся человек, и действительно некультурно как-то засмеялся. От смеха вылетели из-под носа хлебные крошки.

— То-то бабы в автобусе болтают: Наполеон, мол, сбежал. Редкий зверёк, мех золотой, государственного значения. А он, глядь, Наполеон, — вот

он, в овражке сидит. Ху-ху! Сейчас мы поиграем в игру. Ты будешь Наполеон, а я Кутузов. И зовут меня как раз дядя Миша.

Он дожевал бутерброд, поднял с земли палку, окованную полосовой сталью.

— А то жена говорит, — толковал он Наполеону. — «Ну чего ты зря на рыбалку ездишь, только деньги переводишь!» Вот я и привезу ей рыбку на воротник. Скажу: баба, ну что ты всё ругаешься? Вот тебе окунёк. Государственный окунёк. Наполеон Третий! Видишь эту палочку? — спросил дядя Миша. — Это, Наполеоша, рыбацкая пешня́, которой лёд колют.

Тут он подпрыгнул и взмахнул рыбацкой пешнёй, Наполеон отскочил в сторону, спрятался за сруб колодца. Дядя Миша опустил пешню.

— Уфуфу! — вздохнул он. — Не могу, Наполеоша. Какой я всё-таки не очень хороший человек. Зверька хочу погубить из-за глупой бабы. Ну зачем ей воротник с такою рожей? Лучше уж воротник продать, а на деньги сервелат покупать…

Дядя Миша поднял пешню над головой.

— Что наша жизнь? — сказал он, подходя к Наполеону. — Сервелат!

«Всё путём»

Исподлобья, из-под круглых бровей глядел недопёсок на скачущего и бормочущего дядю Мишу. Трудно сказать, понимал он или не понимал, что задумал дядя Миша, но только больше Наполеон не прятался, а просто стоял и снизу вверх глядел на человека. Почему-то Наполеон успокоился, в глазах его мелькнуло действительно что-то императорское.

Он глядел на дядю Мишу снизу вверх, но в то же время и сверху вниз. Да он уж и не видел человека — бескрайнее снежное поле лежало перед ним.

— Не могу, — сказал дядя Миша. — Какой я всё-таки слабовольный человек. Ничего не достигну в жизни.

Он подошёл к колодцу и заглянул в затхлую глубину.

— Всё путём! — крикнул он, успокаивая сам себя. Крик его ухнул вниз, провалился, завяз где-то, и эхо не вылетело обратно. — Всё путём, всё путём… В руках у меня ценный зверёк. И никто ничего не узнает. Уфуфу…

Дядя Миша потел, в душе его происходила тяжёлая борьба, и неизвестно, в какую сторону

склонилась бы чаша весов, если б стеклянно и неожиданно не прозвенел вдруг голос:

— Сюда!

— Куда? Куда? — заволновался дядя Миша. — Куда это сюда? Ну, не сюда же!

— Заходите с флангов! — закричал в бузине и другой голос. — Возьмём их в клещи!

Послышался треск валежника. На склон оврага, будто танкетка, выкатился человек в офицерской фуражке:

— Огонь!

Он выхватил из кармана не то пистолет, не то гранату, прицелился, и — свись! — свистнула над головой дяди Миши — что ж это, неужели пуля?

— Озоровать! — нехорошим голосом закричал дядя Миша. — Я те уши пообборву! Спрячь рогатульку!

Но в это время на другом склоне завыл миномёт, и коровья бомба повисла над дядей Мишей.

— Крой беглым!

И тут действительно беглым стали крыть дядю Мишу. Небо над его головой наполнилось комьями, палками, и особенно неприятен был изжёванный кем-то ботинок, который, квакая, ударил прямо в грудь.

— Прекратить огонь! — послышался голос.

Прямо к колодцу из кустов выбежала девочка и отвязала Наполеона.

— Нехорошо, гражданин, — сказала она. — Стыдно!

— Ты что это? Нет, постой. Кто тебе разрешил? Это мой зверёк!

— Артиллерия, огонь!

— Отставить!

Цепляясь за ветки бузины, в овраг спустился Павел Сергеевич. Глаза его по-учительски блистали, а на плече висело двуствольное ружьё — Зауэр «Три кольца».

— Не трогай мою собачку! — закричал дядя Миша. — Это моя собачка, я её дрессировать буду — на лапках ходить, в барабан стучать.

— Отпустите верёвку! — строго сказал Павел Сергеевич и сдёрнул с плеча ружьё.

— Это что же такое! — засуетился дядя Миша. — Вооружённым конфликтом пахнет.

— Пойдёмте в сельсовет, гражданин.

— Что вы! Что вы, молодой человек! Всё путём! Берите вашу проклятую собачку!

Дядя Миша подхватил сундучок и побежал, побежал по оврагу в сторону.

— Стреляйте, Пал Сергеич! Стреляйте, а то уйдёт!

Павел Сергеевич не стал долго рассуждать, он поднял ружьё вверх стволами и пальнул вдогонку. Грозно, назидательно прозвучал учительский выстрел. В душе дяди Миши что-то оборвалось раз и навсегда.

Бег на Северный Полюс

Странно подействовал выстрел на старый колодец. Дремавший последние двадцать лет колодец вдруг ожил, ворчливо буркнул: «Всё путём» — и после этого заглох навсегда.

Дошкольник Серпокрылов и Коля скатились тем временем к месту происшествия.

— Во чудо-то! — восхищался Коля, хлопая себя восторженно по бокам. — Вот это песец! Во бы кого нарисовать!

— Красив! — соглашался учитель. — Удивительный мех. Давайте отведём его в школу.

— Тиша, вставай! — сказала Вера и дёрнула верёвку.

И тут спасённый Наполеон должен был, конечно, встать, улыбнуться, но вместо этого он злобно оскалился, будто сроду не был знаком с Верой Мериновой.

— Тиш, Тиш, ты чего?

— «Тиша»! — презрительно фыркнул дошкольник. — Его звать Филька.

— Не Филька, а Тиша, — заспорила Вера. — Тоже мне придумал.

Серпокрылов уважал Веру Меринову и мог без конца снимать её с айсберга и носить на руках. Но когда его задевали за живое, он становился упрям как бык. Поэтому пару минут у колодца только и слышно было: «Тиша… Филька… Дурак… Сейчас по шее… А ну, попробуй… Сейчас попробую… Ну, пробуй, пробуй, что ж стоишь…»

И Лёша хотел попробовать, но в дело вмешался учитель.

— Ладно вам, — сказал он. — Неважно, как его зовут. Важно другое: что с ним делать?

— В деревню отведём, — ответила Вера.

— А дальше что?

— Будет жить у меня. Я его воспитаю.

— Ишь придумала, — сказал дошкольник, как будто и не уважал никогда Веру Меринову. Он терпеть всё-таки не мог, когда его задевали за живое. — Ну, ладно, бери Фильку себе. А мы посмотрим, как ты это сделаешь.

— И возьму.

Вера решительно дёрнула верёвку. Опять померк в глазах недопёска белый свет. Он упёрся в

землю короткими своими лапами, изловчился и злобно схватил верёвку зубами.

— Ну, ловко! Ай да Верка! Прямо животновод.

— Тиша, Тиша, — нежно говорила Вера, — успокойся.

Она достала из кармана конфету, осторожно протянула руку, чтобы погладить песца. Наполеон огрызнулся — конфета упала в снег.

— Фу, какой злой. Тиша, что с тобой?

— А ты думала, из-за конфетки он тебе валенки будет лизать? Дай сюда верёвку и отойди в сторону. Он пугается. Вылезай совсем из оврага. За дело берётся Серпокрылов!

— Отойдём, ребята, — рассудительно сказал Павел Сергеевич. — Посмотрим, как у Лёши получится.

Павел Сергеевич и ребята вылезли на гребень оврага и стали глядеть сверху, что будет делать дошкольник.

Он ничего не делал, только вытянул из кармана мотоциклетную перчатку и бросил её прямо под нос Наполеону. Потом не удержался, поднял конфету «Озеро Рица» и сунул в рот.

И больше не шевелился, руками не махал, за верёвку не дёргал. Правда, порой раздавались в овраге какие-то диковатые звуки, похожие на

чмоканье лошади, — это дошкольник Серпокрылов сосал «Озеро Рица». Наполеону эти звуки чем-то понравились, даже успокоили.

Легонечко носом толкнул он мотоциклетную перчатку, взял её в зубы. Перчатка слабо запищала.

Наполеон тряхнул головой, обнюхал знакомые валенки, установил нос свой на север и решительно стал выбираться из оврага. Дошкольник поспешил за ним, стараясь не натягивать верёвку. Неизвестно, что успокоило Наполеона: перчатка или валенки. Наверно, он просто понял, что дошкольник — порядочный человек: верёвку не дёргает, пешнёй не машет. Он только бежит следом, вроде Сто шестнадцатого.

— Ну даёт дошкольник! — изумлялся Коля Калинин.

Наполеон вылез из оврага шагах в тридцати от ребят и побежал прямо в открытое поле.

— Куда это вы?

— На Северный полюс!

— Поворачивай, поворачивай в деревню! — закричала Вера и побежала за ними вдогонку, а за нею тронулись Коля и Павел Сергеевич.

— Поворачивай! Поворачивай!

Но Наполеон не собирался поворачивать в

деревню. Он пробежал озимое поле, пересек клеверище, опустился в овраг, теперь уже в другой овраг, не ковылкинский, а кадошкинский, по гнилым мосткам перебежал речку Мшажку и снова выскочил на поле. На север, точно на север бежал Наполеон и странную вёл за собой компанию — дошкольника, двух второклассников и учителя с ружьём.

— Что ж, так и будем бегать? — кричал Павел Сергеевич.

— Ага, — оборачивался дошкольник. — Мы мчимся на Северный полюс! Мы — песцы!

Вера и Коля засмеялись от счастья и тут же стали легонько тявкать на бегу, как, очевидно, делают это песцы.

Павлу Сергеевичу скоро надоела бестолковая беготня.

— Теперь мы не песцы! — закричал он. — Теперь мы охотники! Вера, Коля, заходите справа, прижимайте его к деревне!

Наполеона подогнали к деревне. Павел Сергеевич сбросил куртку и накинул её на недопёска.

— Отнесём его в школу, — сказал он.

Сикимора

Уроки в школе давно кончились. Ребята разошлись по домам.

Техничка Амбарова мыла в классах полы, а Белов и Быкодоров из четвёртого класса, наказанные директором, таскали ей вёдра с водой и вообще мешали, как могли.

Перемывши полы в классах и в учительской, техничка вышла на крыльцо и тут столкнулась с Павлом Сергеевичем, который нёс на вытянутых руках что-то бьющееся, пушистое, закутанное куртками и шарфами.

Из-под курток и шарфов блистали гордые и угрюмые глаза Наполеона.

— Батюшка, Пал Сергеич! — закричала Амбарова. — Какую-то сики́мору принесли!

Так Наполеон Третий получил четвёртое в своей жизни, совершенно уж несуразное имя — Сикимора! Что это за слово, откуда оно взялось, этого не могла бы сказать и сама Амбарова. Оно внезапно созрело в груди да и выскочило на язык.

Как водится, самое глупое имя понравилось больше всего.

— Сикимора! Сикимора! — восторженно закричали Белов и Быкодоров. — Тащите её на пришкольный участок. Посадим её в клетку!

— Какая он вам Сикимора, — недовольно сказал дошкольник Серпокрылов. — Это — песец, он с Северного полюса.

— Молчал бы, соплячишко! — орали Белов и Быкодоров. — Ты вначале «А» да «Б» писать научись.

— Ты ошибаешься, — сказал дошкольнику и Павел Сергеевич. — Он, конечно, не с полюса. Видимо, он сбежал со зверофермы «Мшага» — от нас семь километров.

— Вовсе я не ошибаюсь. Вот и Вера подтвердит. Она его первая открыла.

И дошкольник Серпокрылов поглядел Вере прямо в глаза.

Конечно, Вере раньше и в голову не приходило, что Тишка мог прибежать с полюса. Сейчас ей такая идея понравилась, но как ты ни крути, правда жизни брала своё.

— Нет, — вздохнула Вера, отводя глаза. — Тиша не с полюса. Он со звериной фермы.

Камень сорвался с горы и рухнул в пропасть. Точно так, как этот камень, рухнула Вера Меринова в глазах дошкольника Серпокрылова.

Дошкольник не стал больше ни с кем объясняться. Отошёл в сторону.

Да и что было делать здесь, в школе, ему, дошкольнику. Школа для него была за горами. Здесь заправляли матёрые школьники Белов да Быкодоров.

Под их крики Наполеона отнесли на пришкольный участок, сунули в пустую кроличью клетку. Ничего более позорного не происходило до сих пор в жизни Наполеона Третьего! Его, песца с императорским именем, гордость директора Некрасова, платинового недопёска, рвущегося на Северный полюс, назвали Сикиморой и сунули в кроличью клетку. Это было падение! О Наполеон!..

— Пускай посидит здесь до завтра, — решил Павел Сергеевич. — С утра позвоним на ферму.

Павел Сергеевич ушёл в учительскую, а Белов и Быкодоров устроили вокруг Наполеона настоящую карусель: хохотали и свистели в кулак, лупцевали друг друга портфелями, подкидывали в воздух чужие учебники — в общем, веселились, как умели.

Наполеон забился в угол и закрыл глаза.

— Оставьте его в покое! — уговаривал дошкольник. — Он устал.

Но разве мог он остановить эту карусель? Карусель крутится и должна докрутиться до конца.

Дошкольник в ярости сжимал кулаки, чувствовал, что надо принять какое-то решение. Но оно никак не созревало в его голове. Впрочем, дошкольник Серпокрылов был человек с философским складом ума.

— Ладно, — решил он. — Пойду обедать.

В каждом приличном доме имеются мыши

После обеда дошкольник Серпокрылов дома обыкновенно не задерживался и, как правило, прогуливался по деревне. В этот день он решил привычке своей не изменять, а лепёшку с творогом, собственноручно испечённую слесарем Серпокрыловым, он есть не стал и попытался засунуть её в карман. Лепёшка, похожая на коричневый таз средних размеров, в карман не влезала.

— Ты куда это лепёшку потащил? — спросил уважаемый слесарь, который приходился дошкольнику папашей.

Кстати сказать, слесарь Серпокрылов действительно человек был в деревне многоуважаемый.

Его уважали за хорошую работу. Все трактористы в праздничные дни носили слесаря на руках. Уважал его и плотник Меринов, которому слесарь точил стамески, и председатель сельсовета дядя Федя, уважал его старик Карасёв, который говорил, что вокруг слесаря имеется колесо цвета увядшей незабудки.

Жил слесарь вдвоём со своим дошкольником, потому что мамаша уехала в город Гомель. Хоть и жили они без матери, обед в доме Серпокрыловых всегда проходил серьёзно. Перед обедом отец долго умывался, стонал под рукомойником, а Лёша нарезал хлеб и расстанавливал приборы. Слесарь переснимал рубаху, садился к столу, и в тот же миг Лёша ухватом выхватывал из печки чугун с кашей, ставил его посерёдке стола. Обедали они молча. Лёша только успевал подбрасывать отцу добавку.

— Так куда же ты лепёшку потащил? — спросил слесарь, отодвинув прибор.

— Куда надо, туда и потащил, — ответил дошкольник, ни секунды не теряясь под слесаревым взглядом.

— Лёшка, — сказал отец и постучал кулаком по столу, — ты знаешь, что я обычно делаю с такими сыновьями?

— Знаю, — спокойно ответил дошкольник. — Ты их убиваешь.

— То-то же! — сурово сказал отец. — Пол-лепёшки мои.

Дошкольник не стал спорить. Он вытащил лепёшку из-за пазухи и разломил её пополам.

— Бать, у нас мышей нету? — неожиданно спросил дошкольник.

— Как же нету! — удивился слесарь. — Куда ж они денутся? В каждом приличном доме имеются мыши. Если не станет мышей — пиши пропало. А много ль тебе надо?

— Десятка два. Фильку покормить.

— Возьми мышеловку на потолке да поставь за печкой, — только и ответил слесарь, ничуть не удивляясь, что какой-то Филька ест мышей. Слесарь понимал, что его сын зря ловить мышей не станет, а если ловит, значит, Филька мышей заслужил.

Дошкольник достал с потолка три мышеловки, наживил салом и поставил за печкой.

— Ты всех-то не отлавливай, — попросил слесарь. — Оставь пару на развод.

— Два десятка отловлю, а остальных не трону.

Дошкольник надел офицерскую фуражку и вышел из дома. После обеда он имел обыкновение

прогуливаться по деревне и этой привычке сроду не изменял.

Слесарь Серпокрылов долго ещё, задумавшись, сидел за столом, потом встал, помыл посуду и полил увядший на окне закавказский лимон.

Масло, подлитое в огонь

Вера сбегала домой и принесла Наполеону два бараньих мосла. Мослы были здоровенны. Они имели таинственное сходство с турецкими барабанными палками.

Хороши были мослы, мозговиты, но даже не глянул на них Наполеон.

Устал недопёсок Наполеон Третий. Слишком уж много пережил он за сегодняшний день. Болела шея, нарезанная верёвкой, поблёк, потускнел драгоценный мех, набилась в боярскую шубу мотоциклетная грязь, припорошила сенная труха и песок из барсучьей пещеры. Не имел уже Наполеон царственного вида, увял, как увял закавказский лимон на окошке слесаря Серпокрылова.

Что поделаешь? Ведь если б даже Жар-Птице пришлось ночевать в барсучьей норе, бежать от мотоциклистов, кусаться с дворняжками, небось

и она потускнела бы. А если б заперли её в кроличью клетку да сунули б под нос две бараньи барабанные палки, что сказала б тогда она?

«Ну вас всех к чёрту!» — вот что бы сказала Жар-Птица.

— Ешь, Тишенька, ешь, — уговаривала Вера, подсовывая недопёску кости.

Прибежал Коля Калинин, притащил из дому какой-то сушёной ерунды, вроде окуней, стал подкидывать в клетку.

— Оставьте его в покое! — послышалось из-за школьного забора. — Не видите, что ли, он устал!

— Да ладно! — закричал Коля, нехорошо подражая Белову и Быкодорову. — Тебя не спросили. Иди в свои ясли.

Вера искоса только глянула на офицерскую фуражку и промолчала. Она понимала, что камень давно уж сорвался с горы, рухнул в пропасть.

— Он у вас подохнет.

— Что ты всё ругаешься, Серпокрылыч, — мягко сказала Вера. — Помоги нам, покорми Тишу.

— Он устал. Сейчас есть не станет, а завтра я наловлю мышей.

— Разве песцы едят мышей?

— Что он, кошка, что ли? — неумно засмеялся Коля Калинин.

— Вот и видно — ни черта не смыслите. И лисы, и песцы едят мышей. Они мышкуют.

Погрубел дошкольник Серпокрылов. Без уважения глядел на Веру Меринову. И слово удивительное «Серпокрылыч» пролетело мимо его ушей, как ласточка мимо берёзы.

— Мышей-то я ему наловлю, — продолжал дошкольник. — А завтра — тю-тю! — увезут нашего Фильку на звериную ферму. Разве ж это честно? К вам на двор он сам прибежал. Значит, он ваш.

— Он государственный, — ответила Вера.

— Ничего подобного. Он к вам сам прибежал. Значит, он теперь ваш, мериновский.

Разбередил дошкольник душу, и ведь действительно, получалось что-то не то: они спасали песца, отнимали его у дядя Миши, а теперь отдавать? Задумалась Вера, а дошкольник усмехнулся и посыпал раны солью:

— Да что мы, сами, что ль, его не воспитаем? Наловим мышей, выкормим, вырастим. А живёт он пускай у Пальмы Мериновой или у меня.

— И у меня можно, — вставил Коля.

— Да пускай он живет по очереди, — обрадовался дошкольник, — сегодня у Пальмы с Веркой, завтра у меня, а там у Кольки.

— Ну нет, — сказала Вера. — У нас ему будет

спокойней.

— Да пускай живёт у кого угодно. Главное — на ферму его не отдавать!

Разгорался понемногу огонь в душе Веры Мериновой и в глазах Коли Калинина. Серьёзно поглядела Вера на дошкольника, прежде она никогда так на него не смотрела.

— Не отдадим, — твёрдо вдруг сказала она. — Ты молодец, Серпокрылыч.

На этот раз ласточка покрутилась над берёзой да и нырнула прямо туда, куда надо. Дошкольник поймал эту ласточку, улыбнулся и подлил ещё немного масла в огонь.

— А что на ферме, — сказал он, — там его в клетку посадят, а потом воротник сделают!

Третья ночь

Быстро и неожиданно потемнело небо над ковылкинской сосной. В полчаса обволокла темнота раскидистую большелобую крону. Пропала сосна, исчезла в ночной темноте. Гляди — не к пальме ли прекрасной удалилась она?

О ночь! Третья свободная ночь Наполеона Третьего!

Тёмной волной смыла ночь и сосну, и горбатые

ковылкинские дома, беззубые заборы и кирпичный далёкий грибок, отмечающий над чёрными лесами звероферму «Мшага». Заволокла ночь глаза, — кажется, ничего уже не осталось на земле, всё пропало, всё кануло в колодец, такой огромный, что не только деревня Ковылкино, а и вся земля в нём песчинка. В тот самый колодец, который вечно над головой — и на дне его играет серебряным поясом небесный охотник Орион.

Но нет, всё осталось на своих местах. Защищаясь от ночи, зажглись в домах слабые огоньки, задрожали: здесь деревня Ковылкино, прочно стоит на земле, и сосна здесь у силосной ямы, и нету ей дела до южных, пускай даже прекрасных пальм.

— Ну ладно, — сказал плотник Меринов. — Надо бы в магазин сходить, купить, что ли, махорки-крупки!

Мамаша Меринова ничего в ответ не сказала, но так грозно нахмурилась, что плотник закряхтел, потрогал для чего-то нос свой и пробормотал рассудительно:

— С другой стороны, махорка вроде бы и оставалась где-то в кисете, крупка.

«Жив он или нет? — думала в этот миг Прасковьюшка, укладываясь спать. — Вдруг да его

собаки загрызли?»

Прасковьюшка затуманилась, вспомнив о Наполеоне, стала жалеть его, потом стала жалеть себя. Только директора Некрасова жалеть ей никак не хотелось.

«Воротник! — волновалась Вера, засыпая. — Неужели сделают из него воротник? Сделают, сделают! Как же быть? Надо спасать Тишку. Тишенька. Тишенька…»

Вера хотела вскочить, бежать немедленно куда-то спасать песца, но сон уже охватил её, тёплый и пушистый, как хвост Наполеона.

Целый день ничком лежал Наполеон, а ночью поднялся, облизал бараньи мослы, сжевал окунька. Пусто было на школьном дворе. Чёрным льдом мерцали окна школы. Млечный Путь отражался в них.

Неизвестным чем-то и неприятным пахло в кроличьей клетке: перепревшей соломой, сгнившими мокрыми досками и зверем — может быть, страшным. Вдруг зверь этот затаился где-то рядом — вот распахнёт дверцу и вцепится в горло.

Наполеон сжался в клубок, ощетинился и кинулся на дверцу, затянутую сеткой, — железная сетка ржаво завизжала. Недопёсок метался по клетке, царапал стены, бился о железную сетку.

В эту ночь он вдруг потерял голову, и никогда раньше на звериной ферме с ним не случалось такого.

Ночь, глухая ночь охватила деревню Ковылкино. Погасли электрические окна, заснула деревня, заснули собаки. Стало очень тихо. И в тишине вдруг громко хлопнуло что-то: раз, другой, третий. Это сработали мышеловки дошкольника Серпокрылова.

Раннее утро в деревне Ковылкино

Часов в шесть утра проснулась техничка Амбарова, стукнувши дверью, вышла на школьное крыльцо.

Она долго зевала на крыльце, жаловалась, что ноют коленки, что все ученики просто-напросто головорезы, бранила солнце, которое никак не встаёт, и рассвет, который долго не наступает. Отзевавши все свои сны, она пошла набрать из поленницы дров и по дороге заглянула в кроличью клетку.

— Не спишь, Сикимора? Спи, спи, а то скоро придут Белов и Быкодоров. Они тебе весь тулуп общиплют.

Техничка наносила дров, затопила школьные

печи, и, когда повалил из труб к небу сизый дым, стало ясно, что дым темнее неба, — значит, уже светало.

Вместе с Амбаровой проснулись в деревне все хозяйки — и мамаша Меринова и соседка Нефёдова — словом, все те, кто должен топить с утра печку, ставить в неё чугуны с картошкой, с борщом, с кашей. Проснулся и слесарь Серпокрылов.

Запылали печки во всех домах, затрещали в печках дрова. От треска этого теплей становилось под одеялом, глаза слипались сильней и так не хотелось вставать. Славно спалось под этот утренний согревающий треск дошкольнику Серпокрылову.

Прошёл час, печки разгорелись сильней и отогрели серое ковылкинское небо. Наметились в нём розовые разводы, похожие на цветы клевера. Поспела утренняя каша, заныли приятно самовары, и хозяйки стали будить своих хозяев, мамаши — детей.

Только слесарь пожалел сына, уселся пить чай один.

— Бать, — сказал в полусне дошкольник, — мыши попали?

— Попали.

— Сколько?

— Много, много… спи пока.

Слесарь попил чаю, ушёл в мастерские, а дошкольнику снились мыши. Вначале приснилась одна мышь, потом другая, третья. Странное дело, во сне в них не было ничего противного. Это были тёплые, домашние мыши, от которых пахло валенками.

Скоро мыши доверху заполнили сон дошкольника, и наконец, когда число их перевалило за миллион, он проснулся.

Раннее было ещё утро, но взрослые пошли уже на работу, а школьники дожёвывали дома последние ватрушки, кидали в портфели учебники.

«Проспал!» — в ужасе подумал дошкольник, вскочил с кровати и не стал даже умываться. Он вытащил из мышеловок пойманных мышей, схватил офицерскую фуражку и дунул к школе. Надо было покормить песца, пока не начались уроки, пока в школе было ещё пусто.

Дошкольник мчался по деревенским улицам, перепрыгивая приморожённые лужи. Над головой его на розовом зимнем небе тяжело двигались синие осенние облака.

Скоро дошкольник был уже у кроличьей клетки и кормил Наполеона. И в тот момент, когда Наполеон прикончил третью мышь, проснулся

директор школы товарищ Губернаторов.

Утренние взгляды директора Губернаторова

Проснувшись, директор первым делом решил побриться. В потный гранёный стакан нацедил он из самовара кипятку, взмахнул помазком барсучьего волоса и мигом покрыл лицо своё мыльной пеной.

От тёплых снов огнём пылали щёки директора Губернаторова — белоснежная пена таяла на щеках, как мороженое.

Директор взял в руки очень и очень опасную бритву, придвинул к себе зеркало и так сурово поглядел в него, что, если б это было не зеркало, а, к примеру, Белов и Быкодоров из четвёртого класса, вздрогнули бы они и торжественно поклялись никогда больше с криками не бегать по коридору.

Тремя взмахами расправился директор с пеною на щеках, набрал в ладонь одеколону «Кармен» и, хорошенько искупавши лицо в одеколоне, сказал:

— Где яичница?

Через полсекунды на столе перед ним стояла

уже сковородка, кривая, как Ладожское озеро. На сковородке щебетала пятиглазая яичница с салом, шептала о чём-то и глядела на директора своими застенчивыми оранжевыми глазами.

Директор Губернаторов поднял вилку и так глянул на яичницу, что если б это была не яичница, а всё те же Белов и Быкодоров, то крепко б призадумались они и, возможно, стали бы учиться на одни пятёрки.

Скоро яичница закрыла свои незатейливые глаза, директор же нахмурил брови, взял в руки портфель о двух золотых замках и направился в школу.

Бритьё и яичница славно освежили директора, а на улице взбодрил утренний морозец. Хороший впереди намечался денёк — особый, последний в этой четверти. Сегодня в школе подведут итоги, сегодня станет ясно, сколько в школе отличников и двоечников, сегодня кто-то будет смеяться, а кто-то плакать, а завтра всем будет весело, завтра праздник.

Директор был в отличном настроении. Он решил сегодня же крепко прибрать к рукам Белова и Быкодорова.

У сельсовета директор прибавил шагу, услыхав отдалённый шум, который удивил его и насто-

рожил.

Шум усиливался, и теперь директор явно разобрал объединённый голос Белова и Быкодорова:

— Сикимора! Сикимора!

На школьном дворе развернулась настоящая ярмарка, здесь собралось человек сто народу, и все они кричали, гомонили, спорили. В воздухе летали синие, жёлтые портфели, шапки, кепки, книжки, варежки, то там, то сям вспыхивали красные галстуки, горели щёки и глаза.

Директора никто вначале не заметил, но это его ни секунды не огорчило. Он вошёл в самую сердцевину ярмарки, кашлянул, поглядел вправо-влево и сказал:

— Так-так!

И сразу вдруг поблёк праздничный базар, побледнели лица, шапки перестали летать, а портфели сами собой все до одного позастегнулись. Стройными ручьями втекли ученики в двери школы. Белов и Быкодоров замешкались было на крыльце, но, попавши под бинокль директорского взгляда, жестоко пожалели, что забыли дома тетради по математике.

Опустел школьный двор. Только у кроличьей клетки остались три человека. Это были Вера, Коля Калинин и дошкольник, на которого директор

вовсе не обратил внимания.

— А вам что, особое приглашение надо?

Вера и Коля скромно опустили глаза и расступились перед директором, давая ему дорогу к кроличьей клетке.

Директор заглянул в клетку так строго, что, если б случайно оказались в ней Белов и Быкодоров, они бы просто-напросто превратились в пепел. Но тут получилось иначе. Заглянувши в клетку, вздрогнул сам директор Губернаторов. Из-за решётки злобно и пристально смотрел на него Наполеон Третий.

Характер Веры Мериновой

— Это что такое? — спросил директор, и брови его изумлённо поползли по направлению к причёске. — Что это такое, я вас спрашиваю?

Вера и Коля испуганно молчали. В дело вмешался дошкольник Серпокрылов.

— Это песец, — просто ответил он.

Директор перекинул взгляд свой на дошкольника, как бы спрашивая: «А сам-то ты кто такой?» Дошкольник не шелохнулся, а Колю Калинина пробила неприятная дрожь. Он вспомнил, что дневник его до сих пор не подписан родителями.

Коля пошевелил плечами и вдруг исчез, легко и неожиданно, как бабочка.

Директор поднял к небу брови и сказал:

— Песец? А откуда он взялся?

Вера попыталась открыть рот, но в разговор снова влез дошкольник:

— Сам прибежал.

— А откуда он прибежал? — спросил директор у Серпокрылова, предполагая, что Вера замолчала надолго.

Но теперь умолк неожиданно дошкольник. Насчёт того, откуда прибежал песец, у него было своё мнение, и он решил больше не навязывать его другим.

Дошкольник молчал, а брови директорские летали над ним, как чернокрылая ворона над ковылкинским оврагом.

Когда камень срывается с горы, он на эту гору уже никогда не заберётся, если только не найдётся человек, который втащит его обратно. И вот неожиданно такой человек нашёлся. Взвалил камень на плечи и потащил на вершину.

— Как откуда взялся? — сказала Вера. — Прибежал с Северного полюса.

Услыхав такие слова, «ворона» изумлённо сложила крылья и уселась директору точно на

переносицу.

Директор задумался, ушёл в себя, прикидывая, очевидно, расстояние от полюса до деревни Ковылкино. На лбу его нарисовались параллели и меридианы.

— С добрым утром! — закричал Павел Сергеевич, вбегая на школьный двор. — Видели, кого мы поймали? Это ведь голубой песец!

— Голубой песец?! — повторил директор и сомнительно покачал головой.

Нет, никак не увязывался в его голове песец с пришкольным участком. Взять, например, песца и взять пришкольный участок — нет, это никак не вязалось. Но с другой стороны, вот школа, вот пришкольный участок, а вот в клетке какая-то (верно сказано) «сикимора».

— Откуда ж он взялся?

— Со звероферм сбежал, — ответил Павел Сергеевич. — Тут недалеко звероферма — семь километров.

— Ах, вот оно что!

— Ничего подобного, — сказала Вера. — Вовсе не с фермы. Он прибежал с Северного полюса.

— Вера! — изумился Павел Сергеевич. — Что с тобой!

— Он прибежал с полюса, — ясно повторила

Вера. — Серпокрылыч прав.

— Меринова, в класс! — коротко скомандовал директор, увязавши наконец песца с пришкольным участком.

На крыльцо высунулась техничка Амбарова.

— Движок барахлит! — крикнула она и выхватила откуда-то из-под полы поддужный колокольчик работы валдайских мастеров.

Хорош был колокольчик, а на ободе его отлиты были такие слова: «Купи — не скупись, ездий — веселись!»

Техничка щедро взмахнула рукой — весёлым серебром залился валдайский колокольчик, и, как лихие кони, вскачь, под звон его понеслись школьные уроки.

Три телефонограммы

Горячий выдался в школе денёк — последний день четверти. Вспыхивали в журналах четвертные отметки, а за ними кумачом горел завтрашний праздник.

Хлопотливый был сегодня денёк, сегодня двойку можно было исправить на тройку, четвёрку на пятёрку. Сегодня можно было стать отличником, а можно и хорошистом.

Директор Губернаторов сидел в учительской и, как говорится, подбивал итоги. К сожалению, итоги не слишком радовали его, уж очень много высыпало в этот день троек, никак не меньше, чем веснушек на носу дошкольника Серпокрылова. Тройки огорчали директора, ему хотелось, чтоб побольше было в школе отличников.

«А тут ещё этот песец, — раздражённо думал директор. — Оставлять его в школе никак нельзя. За праздники сдохнет. Надо звонить на звероферму».

Но телефона в школе не было, а оторваться от школьных дел директор Губернаторов не мог, как не может мудрый извозчик бросить на произвол судьбы своих коней.

— Пошлю телефонограмму, — решил директор.

На первой же переменке красным карандашом набросал он на листочке несколько слов, и техничка Амбарова помчалась в сельсовет.

Председатель сельсовета дядя Федя как раз в этот момент разговаривал по телефону с райцентром.

— Тысячу штук яиц уже собрали! — кричал он. — Алё! Собрали тысячу!

Из телефонной трубки слышалось грозное шипение и выстрелы, будто где-то на линии топили

печь очень сырыми дровами, а то и баловались пистолетом.

— По яйцу? — кричал дядя Федя. — По яйцу больше не могу! Могу по маслу.

Но в райцентре долго его не понимали, и Амбарова сидела скромно на лавке, поджидая своей очереди. От нечего делать она разглядывала плакат, на котором акварельными красками была нарисована большая муха с изумрудными глазами. Под мухой написаны были стихи:

Муха на лапках разносит заразу.
Увидишь муху – прибей её сразу!

По стихам лениво ползала настоящая живая муха.

— Ну давай, чего там у тебя, — сказал наконец дядя Федя и потёр упревший лоб, как бы стараясь выкинуть яйца из головы.

Техничка протянула листок, дядя Федя развернул его и бодро начал читать:

— «Пойман зверь неизвестной породы…» Что? Что такое?

— Пёс его знает, что это такое, — бойко ответила техничка. — Право слово, какая-то Сикимора!

— И где ж она?

— Да в ящике сидит.

— Маленькая, что ли?

— Здоровенная. Хвост эвон какой! — И техничка развела руками так широко, что охватила ими и председательский стол и самого председателя. — Давай звони, мне бежать надо.

Дядя Федя снял трубку, снова телефонный треск наполнил комнату, и в треск этот председатель смело вклинил слова телефонограммы:

> Пойман зверь неизвестной породы похож песца содержится ковылкинской неполной средней школе точка
>
> ***Директор Губернаторов***

Добиться зверофермы дядя Федя долго не мог: то попадал на молокозавод, то в ремонтные мастерские, но наконец телефонограмму кто-то принял, кому-то передал, и скоро загремел в ковылкинском эфире ответ зверофермы:

> Пропал песец чрезвычайной важности нашедшему премия двадцать рублей берегите песца немедленно выезжаю точка
>
> ***Директор Некрасов***

Подхватив телефонограмму, техничка поспешила в школу и как раз успела грянуть валдай-

ским колокольчиком.

— Премия! — ахнул директор Губернаторов. — Чрезвычайной важности!

Он схватил красный карандаш, и снова техничка Амбарова мчалась в сельсовет, и новая гремела под сводами сельсовета телефонограмма:

Песец надёжных руках точка

Директор Губернаторов

Что делать?

Уже на первом уроке диковинные слухи поползли по Ковылкинской неполной средней школе. Будто Верке Мериновой с полюса прислали песца и песец этот дрессированный: если привязать его на верёвочку, он, как собака-поводырь, приведёт на Северный полюс. В четвёртом классе стала собираться группа полярников, которые хотели бежать за песцом и добраться хотя бы до полуострова Канин Нос, пока про это дело не пронюхали родители. Белов и Быкодоров составили на промокашке список походных продуктов.

«Тушонки раз», — написал Белов. «Згущёнки два», — добавил Быкодоров.

Всешкольная громкая слава навалилась на Веру Меринову и Колю Калинина. Неприметные второклассники стали героями, за ручку, за ручку здоровались с ними лбы из пятого класса.

Голова Коли Калинина отяжелела от славы, он ничего не видел вокруг себя — ни доски, ни учителя, огненная слава пылала у него на ушах.

На первой же переменке вся школа валом повалила глядеть песца, но тут на крыльцо вышел директор и взглядом разогнал народ по классам. На второй переменке приступил народ к Вере Мериновой, требуя ответа на свои вопросы. Вера и Коля сбивчиво и наперебой рассказывали, как было дело; но слишком уж большая собралась у печки толпа, все кричали, гомонили, и никто ничего не понял. Поняли только, что был овраг, была стрельба, был человек с зелёным сундучком и что в деле этом странным образом замешан дошкольник Серпокрылов.

Куцые сведения ещё больше разожгли фантазию, и слухи сделались ещё чудесней и странней.

Жил будто на свете полярник с зелёным сундучком, и был у него песец. Погиб полярник, а песца подобрала Верка Меринова. Вопрос: где теперь сундучок, в котором хранились царские червон-

цы и почтовые марки Оранжевых островов?

На третьем уроке начала сколачиваться группа изыскателей зелёного сундучка, но тут в дело решительным образом вмешались учителя, вызвали к доске с десяток кладоискателей, и постепенно, под стук мела, под лепет книжных страниц, стали забываться песец и полярник, стрельба и зелёный сундучок. Последний день четверти сделал своё дело.

И только во втором классе о песце не забывали ни на секунду, хотя и здесь был ответственный день, и здесь тройки сыпались, как семечки. Коля, к примеру, Калинин нахватал столько троек, сколько не съесть ему за все праздники пирожков с капустой.

Второклассники волновались, и на втором уроке волнение достигло наивысшей точки. Кто-то видел, как техничка Амбарова бегала в сельсовет, кто-то слышал, что ей наказывал директор, и все поняли, что песца немедленно вернут на ферму.

В конце второго урока Вера разослала по классу секретнейшие записки, и все тридцать три второклассные головы слились в одну большую думающую голову, частично обритую наголо.

«Что делать? — думала эта гигантская голова. — Отдавать песца на ферму? Так ведь там из

него воротник сделают!»

«Как чего делать! — решила наконец Вера Меринова. — Надо его так спрятать, чтоб не нашли».

Каша, заваренная на большой переменке

Отзвенел валдайский колокольчик, кончился урок. Вынимай бутерброды, баранки, яблоки — началась большая переменка. А большая переменка — это десять минут. За десять минут можно столько каши наварить, что потом и за двадцать не расхлебаешь.

— Как чего делать! — крикнула Вера, как только учитель вышел из класса. — Надо так его спрятать, чтоб не нашли!

Второклассники окаменели. Но ненадолго. Всего лишь на секунду. И за эту секунду сразу поняли, что другого выхода нет.

— Куда?

— Я знаю такое место, — сказал хорошист Миша Чашин. — Только закройте дверь, чтоб никто не слыхал.

Дверь заперли учительским стулом, и весь класс столпился вокруг хориста.

— Я знаю такое место, — шептал Миша так, чтоб всем было слышно. — Там его никто не найдёт. А нас всё-таки тридцать три человека — вырастим, воспитаем. Важно только, чтоб среди нас не было предателя.

— Верно, верно! — подхватили второклассники. — Важно, чтоб не было предателя.

Тут все переглянулись и поняли, что предателя среди них нет.

— Ну, давай, давай, не тяни! Что за место? — нетерпеливо спросил Коля Калинин, немного огорчённый тем, что его отодвинули на второй план.

Миша приложил палец к губам, огляделся тревожно — не слышит ли его посторонний. Но посторонних в классе не было, разве только знаменитый химик Менделеев, который выглядывал из рамы над классной доской.

И всё-таки Миша не решался так просто брякнуть, куда надо спрятать песца. Он выдрал листок из тетради по математике и быстро начиркал:

В баню колдуна Карасёва.

— Место хорошее, — шёпотом решили все. — Там его никто не найдёт!

— Надо поскорей увести песца из школы, — ска-

зала Вера. — А то будет поздно.

— Давайте я сбегу с уроков, — предложил Сашка Самолётов, вылезая неожиданно на первый план.

— Ладно тебе, — сказала Вера, возвращая Самолётова на его место. — Ты лучше двойку по русскому исправь.

— Может, я сбегу? — неуверенно сказал Коля Калинин.

— Не надо никому бегать, — ответила Вера и подошла к окну. — Есть один человек. Он сделает.

Вера стукнула пальцем в стекло, и за окном сразу же появилась круглая голова в офицерской фуражке. Лязгнули шпингалеты, окно распахнулось, и дошкольника Серпокрылова за руки втянули в класс.

Отряхнувши снег с валенок, он прислонился к печке.

— Серпокрылыч, — прошептала Вера, — ты был прав. Тишку надо спрятать. Бери верёвку и, как только начнётся урок, отведи его…

— Стоп! — многозначительно оборвал её Миша Чашин и, таинственно подмигнув, подал дошкольнику записку.

— «Бэ», — напряжённо прочёл Серпокрылов, повертел записку, причитался как следует и до-

бавил: — «А-а… Ба…»

— Да он читать не умеет! — восхищённо загомонили второклассники, а Вера наклонилась к дошкольникову уху и что-то щекотно и горячо зашептала.

— Сделаю, — согласно кивнул дошкольник.

— А записку уничтожь, — добавил Миша.

Дошкольник хотел разорвать записку, но тут зазвенел поддужный колокольчик, загремела дверь, зашатался стул, просунутый в дверную ручку.

Дошкольник прощально помахал запиской и вдруг засунул её в рот. Под огнём шестидесяти шести глаз с тревожным хрустом он сжевал творчество Миши Чашина.

— Дайте чего-нибудь зажевать, — сказал дошкольник, направляясь к окну.

Кто-то кинул ему кособокое яблоко, и со звоном откусил Серпокрылов половину косого бока, вылезая в окно.

Уже будучи ногами на улице, он обернулся, поглядел Вере в глаза и повторил:

— Сделаю.

И ведь сделал, всё сделал дошкольник Серпокрылов, и как раз вовремя.

Интересные задумки директора Губернаторова

Ни минуты покоя не было сегодня у директора Губернаторова. То набегали в кабинет совещаться учителя, то приставал с какими-то лопатами завхоз, то сам директор торопился навести в пятом классе необходимый порядок.

Особо много хлопот доставили директору двоечники. На третьей переменке директор устроил в своём кабинете настоящее собрание двоечников.

Двоечники выстроились по росту у книжного шкафа, и первую минуту директор просто прохаживался перед ними.

Испачканные мелом двоечники бестолково переминались с ноги на ногу, сильно чем-то напоминая маляров или штукатуров.

Всю эту бригаду возглавляли отпетые Белов и Быкодоров, которых, впрочем, даже нельзя было назвать двоечниками. Не было в школьном словаре такого слова, чтоб обозначить Белова и Быкодорова. И директор нашёл такое слово — «коловики».

С них-то и начал директор и сразу взял Белова и Быкодорова за рога.

— А вы, голуби, — сказал он и ткнул правой рукой в грубую грудь Белова, а левой — в бодрую Быкодорова, — а вы, голуби, доколе позорить будете вашу школу? Вы, наверно, думаете, что я собираюсь хиханьки-хаханьки разводить? Ошибаетесь! Я сделаю из вас настоящих людей! Прямо здесь, в этом кабинете, вы дадите обещание учиться только на «хорошо» и «удовлетворительно».

Припёртые к стенке коловики вяло грянули:

— Прямо здесь, в этом кабинете, даём обещание учиться только на «хорошо» и «удовлетворительно»!

После коловиков директор занялся рядовыми двоечниками. Он буквально перепахал их души и засеял перепаханное разумными семенами. Двоечники, как гуси, вытягивали шеи, уши их загорались от слов директора, а причёски вскулдычивались. Особенно сильное впечатление произвёл на двоечников рассказ о том, как поступали с такими, как они, в старое время. Некоторые двоечники плакали навзрыд.

Отделав двоечников по первое число, директор отутюжил каждого в отдельности и только после

этого распустил их по классам.

Мысли директора побежали по новой дороге и натолкнулись на премию, которая полагалась за чрезвычайного зверя.

«Кто же её получит? — размышлял директор. — Неужели Меринова? Да зачем же второкласснице деньги! К тому же здесь замешан Калинин, потом Павел Сергеич да ещё какой-то дошкольник. А если премию поделить на четверых, что получается? По пятёрке на брата. Ну, это чепуха. Пускай Меринова и Калинин пятёрки на уроках получают!»

В этом месте своих размышлений директор остановился, прервал размышления на минутку и улыбнулся. Ему понравилась собственная шутка, и он повторил её вслух, щёлкнув ногтем по глобусу:

— Да-да, пускай лучше пятёрки на уроках получают.

Повизгивая, крутился глобус, мелькали океаны и материки. Крутящийся глобус навёл директора на мысли глобального масштаба. Он взглядом остановил глобус и продолжил размышления:

«А что, если получить премию и послать её в какой-нибудь город, пострадавший от землетрясения? Вот это интересная задумка!»

Директор Губернаторов заволновался, снова щелканул по глобусу и внимательно теперь разглядывал мелькающие части света, как бы выискивая город, пострадавший от землетрясения.

Директор Губернаторов вообще любил интересные задумки и частенько сам задумывал их.

«Ладно, — решил директор. — Получим премию сами и купим на неё десяток глобусов, а Мериновой и Калинину объявим благодарность. Вот это задумка так задумка! Остаётся дошкольник Серпокрылов. Но тут дело проще пареной репы. На будущий год, когда он поступит в школу, посадим на первую парту — это будет хорошая награда. Да, да! Сегодня же после уроков надо собрать во втором классе собрание и объявить благодарность. Вот настоящая праздничная задумка!!»

Директор Губернаторов посмотрел на часы. Через три минуты должен был кончиться последний урок, и, наверно, подъезжал уже к школе «газик» со зверофермы.

Директор Губернаторов решил глянуть ещё раз на чрезвычайного зверя и вышел на крыльцо, повторяя про себя:

«Хорошая, интересная задумка!»

Он пересек пришкольный участок, заглянул в кроличью клетку, и, как вспугнутые с дороги

грачи, поднялись на крыло директорские брови и вовсе улетели со лба — дверца клетки была распахнута, пропал зверь чрезвычайной важности, исчез, растаял.

И тут залился-заклокотал за спиной директора валдайский колокольчик: кончился, кончился последний урок первой четверти, а завтра каникулы — свобода и веселье. Завтра зазвенят и сбудутся слова, отлитые на колокольчике: «Купи — не скупись, ездий — веселись!»

Второй класс глядит на Менделеева

Барабанной россыпью, пулемётной дробью простучали крышки парт, ученики подхватили портфели, кое-как покидали туда учебники и, как пехотинцы с криком в атаку, бросились из школы на улицу.

Кончился последний урок первой четверти!

Гуляй, двоечники и троечники, отличники и хорошисты, веселись, неслыханные коловики!

Только во втором классе не слышно было криков и веселья. Здесь стояла та самая тишина, которую называют мёртвой. Выпрямив спины, сидели второклассники на своих местах, и сидели так ровно, так чисто и хорошо, что даже самый

придирчивый человек не мог бы сказать, что вот, дескать, они «плохо сидят».

От окна смотрел на них Павел Сергеевич, покачивал печально головой, а у доски, прямо перед ребятами, как великан перед карликами, возвышался директор Губернаторов.

Во второй класс директор заходил редко, и всем было ясно, что явился он неспроста, что сейчас начнётся нехороший разговор.

Огромный, как гора, стоял директор под портретом Менделеева и на плечах своих, казалось, держал грозовую тучу.

Тишина становилась всё тише, она нагнеталась, нагнеталась и наконец сгустилась до такого состояния, что её можно было уж разливать в банки, как сгущённое молоко. Тишину пора было разрядить, и директор сделал это.

— Так, — сказал директор.

Это простейшее слово он произнёс настолько сильно, что оно врезалось в головы второклассников, как гвоздь в липовую доску. Во втором ряду кто-то тихо, но явственно задрожал.

— Значит, вы не знаете, куда девался песец. А кто ж тогда знает?

Директор Губернаторов прекрасно понимал, что знает об этом весь класс. Ни секунды не ду-

мал он, что песца увёл посторонний. Как только увидел пустую клетку, сразу вспомнил разговор с Верой Мериновой и понял, что без неё тут не обошлось. Знал директор, что Веру ребята уважали и, скорей всего, поддались на её агитацию и спрятали песца. Директор Губернаторов был мудрый человек и всех своих учеников видел насквозь. Одного только не мог он понять, как им удалось спрятать песца, не выходя из школы. Но этот вопрос он надеялся прояснить в самое короткое время.

— Меринова! И ты не знаешь, где песец?

Вера вскочила из-за парты и молча уставилась в портрет Менделеева.

— Что ж ты молчишь?

Вера не отвечала. В тишине слышно было, как колотится её сердце.

— Меринова, как видно, онемела, — сказал директор.

Он пригляделся, посмотрел на Веру повнимательней, как дровосек, который хочет расколоть полено и выбирает, с какого бока ударить, но решил пока её оставить и выбрать чурбанчик помягче.

— Калинин!

Коля с громом вскочил из-за парты. С таким

громом в лесной тишине вдруг в кустах подымается тетерев.

— А ты что скажешь?

Коля открыл рот, глянул в окно и осекся.

— И этот онемел, — заключил директор. — Ты куда смотришь? Воробья увидал?

— А чего он рожи строит?! — неожиданно и плаксиво сказал Коля.

Директор Губернаторов кинул взгляд в окно и увидел за стеклом дошкольника Серпокрылова, который действительно строил рожи в глубину класса. Тут директор так посмотрел на дошкольника, что состроенная рожа мигом превратилась в симпатичное и милое лицо и скромно скрылась куда-то вниз.

— Ну, Калинин, так куда же пропал песец?

Коля молчал, его заинтересовал портрет Менделеева. Пышная борода знаменитого химика буквально приковывала взор.

— Так, — сказал директор. — Ну что ж, продолжим! Чашин!

Миша Чашин неторопливо встал из-за парты, хотел поглядеть в глаза директору, но не тут-то было. Менделеев притягивал, как магнит.

Минуты через три весь класс стоял уже на ногах и рассматривал портрет великого учёного. Даже

дошкольник Серпокрылов, вновь появившийся в окне, тоже глядел на Менделеева.

Опять установилась в классе неприятная тишина. С минуту была она мёртвой, но скоро стала превращаться в гробовую. В тишине грозовою тучей темнело лицо директора Губернаторова, задумчивы были ребята, и печально глядел на них Павел Сергеевич.

Только лишь знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев ласково улыбался, распустив свою великую бороду над головой директора.

— Павел Сергеевич, — сказал неожиданно директор, — приведите дошкольника Серпокрылова.

Лёгкий шелест прошёл по классу, и директор Губернаторов понял, что он попал в точку. Директор Губернаторов был мудрый человек, он умел связывать концы с концами.

О мудрый директор Губернаторов!

Как опытный капитан, обходя подводные рифы, ведёте вы школьный корабль и без подзорной трубы видите, что творится в душах и сердцах двоечников, троечников и коловиков. Как плотник Меринов видит насквозь стакан с лимонадом, как мамаша Меринова видит насквозь самого плотника, так точно и вы видите насквозь

их дочку, а с нею вместе всех своих учеников и даже дошкольника Серпокрылова, вводимого в эту минуту в класс. Страшно человеку, случайно разбившему стекло, подходить к двери вашего кабинета, страшно лентяю, нарочно забывшему дома тетрадку по математике, встретиться с вами в коридоре, плохо придётся ему, одним взглядом пронизанному насквозь. Лишь человек с чистой душой, с чистыми ногтями и тетрадями, отличник и хорошист может спокойно пройти мимо вас, да и то, наверно, вздрогнет и подумает про себя: а так ли уж я чист, а не я ли на прошлой неделе обманул самым бессовестным образом классного руководителя?

— Ну вот, — сказал директор. — Явился главный свидетель. Ну-с, гражданин дошкольник, как вы поживаете?

Дошкольник Серпокрылов почтительно отряхнул на пороге валенки и прислонился к печке. Он стоял так скромно, тихо и неподвижно, что можно было усомниться, да Лёша ли это, дошкольник ли, не еловый ли это пенёк?

И директор понял, что наконец-то попалось ему полешко послабже. Директор уж взмахнул топором, чтоб расколоть его, как вдруг зафырчал у ворот школы «газик», взревел белугой и заглох.

Открылась дверца, и высунулась из машины знаменитая пыжиковая шапка.

Два директора

Очень и очень постным да пресным сделалось лицо директора Губернаторова. В глупое, в неприятное положение попал директор. Посылал телефонограммы про надёжные руки, а получилась чепуха. Неодобрительно осмотрев свои руки, оказавшиеся не такими уж надёжными, он убрал их в пиджачные карманы.

— Садитесь, — сказал директор ученикам, а Павлу Сергеевичу шепнул два слова, и тот побежал на крыльцо встречать представителя зверофермы.

В окно видно было, как пыжиковая шапка пересекла школьный двор, поднялась на крыльцо, а тут перехватил её Павел Сергеевич и стал что-то объяснять, горячо размахивая руками. Что говорил Павел Сергеевич, слышно не было, но пыжиковая шапка недовольно шевелилась в ответ.

Наконец объяснения кончились, простучали по коридору неслыханные ещё в школе полуботинки, приоткрылась дверь, и директор Некрасов вошёл в класс, длинный, сухопарый, в пыжико-

вой шапке.

Второклассники с громом вскочили из-за парт, приветствуя директора зверофермы.

— Во жердина-то! — восхищённо шепнул Коля Калинин. — Во журавель, во сушёный лещок!

— Сядьте, дети, — мягко сказал Губернаторов. — А ты, Калинин, встань столбом и постой пока!

— За что? — заныл Коля. — Я больше не буду.

Но директор Губернаторов знал за что. Он имел чуткое ухо, которое сразу ухватило и «журавля» и «лещка сушёного». Только лишь «жердину» проморгало оно. Директор Некрасов прошёл между парт к доске и протянул руку директору Губернаторову. Встретились два директора и поглядели друг другу в глаза.

Властным был взгляд директора Некрасова, волевым — директора Губернаторова.

Встретились два директора — и тесно стало во втором классе, захотелось чуть-чуть раздвинуть стены, распахнуть окна.

Директора крепко пожали друг другу руки. Некрасов после рукопожатия руку положил в карман и уселся, а директор Губернаторов свою руку, на которой написано было «Таня», поднял в воздух и грозно покачал пальцем.

— Так, значит, вы не знаете, куда девался

песец? — сказал он, не глядя на директора Некрасова. — Весь день сидел в клетке, а теперь, когда приехал ответственный товарищ, он вдруг пропал… Так-так, но мне известно, что песца вы спрятали. Его надо вернуть на ферму — и никаких разговоров.

Директор закончил короткую речь и в конце её поставил яростную точку.

После точки тишина в классе сделалась ещё более тягостной и опасной. Никто не шевелился. Попробовал шевельнуться неопытный дошкольник, но тут же устремились на него директорские взгляды, и дошкольник замер.

Наконец у окна зашевелился Павел Сергеевич. Он решил, как видно, спасти положение.

— Ребята, — начал он, — песца надо вернуть. Это не наш песец. Он стоит больших денег и принадлежит государству. А если вам хочется выращивать зверей — пожалуйста. У нас есть кролики, можно завести чёрно-бурых лисиц.

Павел Сергеевич перевёл дыхание и, заметив, что второй класс не подаёт признаков разговора, продолжал:

— Я просто не понимаю, почему вы не хотите его отдавать? Ну, объясните мне.

Павел Сергеевич остановился и попытался

заглянуть ребятам в глаза. Но взгляды второклассников блуждали по классу и по проторённой дорожке устремлялись понемногу к Менделееву.

— Вера, — ласково сказал Павел Сергеевич, — я не спрашиваю, где песец. Скажи, почему вы не хотите его отдавать?

Вера любила рисование и очень уважала Павла Сергеевича. К тому же он был замешан в этом деле, и, если б не он, неизвестно, чем бы кончилось приключение в ковылкинском овраге. Павел Сергеевич имел право на ответ.

Вера собралась с духом и выпалила несколько фраз. Однако она так разволновалась, что разобраться в её словах никто не смог.

— Что такое! Что?

— Что ты сказала? Повтори! — сказал и директор Губернаторов.

И долго ещё упрашивали Веру повторить, прежде чем она снова собралась с силами и ясно высказалась.

— Мы Тишку на ферму не отдадим, — сказала она. — Из него там воротник сделают.

— Воротник? — изумился Павел Сергеевич и руками развёл от неожиданности. Он хотел было сказать что-то в ответ, но никак не мог подобрать подходящие слова.

Павел Сергеевич замялся, а ребята оторвались от Менделеева и глядели на учителя.

Вот теперь Павел Сергеевич имел возможность посмотреть ребятам в глаза, но взгляд его побрёл по классу, упёрся на миг в пыжиковую шапку и нашёл наконец-таки интересное местечко. Павел Сергеевич смотрел на Менделеева.

Затейливым был всё-таки портрет знаменитого химика: багетовая рамка, пышная борода и подпись печатными буквами — «Дмитрий Иванович Менделеев». «А вот вы, Дмитрий Иванович, как бы вы поступили в таком случае? Что бы вы сказали насчёт воротника? Сделают ведь, а?»

Но не успел ответить Дмитрий Иванович — вдруг раздался в классе неожиданный грохот. Это ударился об стол кулак директора Некрасова, и второклассники все, как один, вскочили из-за парт и встали по стойке «смирно».

Директор Некрасов вытянулся во весь рост и снял с головы пыжиковую шапку.

Второклассники, конечно, не знали, что директор Некрасов делает это очень редко. Только в самых ответственных случаях.

Речь директора Некрасова

Собралась наконец-таки над вторым классом туча. Нависла, нависла над партами грозная пыжиковая шапка, зарницами засверкали сухие некрасовские глаза, и взгляд директора Губернаторова потускнел в сравнении с этим стихийным огнём.

Один только лишь вид директора Некрасова вызывал чувство огромной ответственности, и слова, которые он готовился произнести, должны были прозвучать вулканически. И вот послышался отдалённый гром, который всё нарастал, нарастал и взорвался наконец над головами. Это был просто кашель, но схожий с землетрясением, он вызвал уважение и трепет.

У Веры Мериновой сам собою развязался на косе бант, сполз на плечо голубой змейкой.

— Садись! — медвежьим голосом рявкнул Некрасов и махнул своей шапкой справа налево.

И пока шапка была ещё справа — второй класс стоял, а когда уехала она влево — все уже сидели на своих местах. И даже дошкольник Серпокрылов присел на корточки у печки.

— Скажите-ка, ребята, — сказал Некрасов, —

разве похож я на негодяя?

Пауза, только пауза могла появиться на свете после такого вопроса, пауза и полная тишина. Всё, что угодно, ожидали ребята, они ожидали крика: «Где песец!», ожидали чего-нибудь вроде: «Ну, берегитесь!», но такого вопроса они никак не могли ожидать. Общее и пугливое недоумение охватило второклассников. Ошеломлённо глядели они на директора Некрасова. Ни Павел Сергеевич, ни директор Губернаторов тоже не ожидали такой постановки вопроса.

Однако вопрос был поставлен и требовал ответа.

— Я вас спрашиваю: похож я на негодяя или нет?

Ребята слегка зашевелились, стали переглядываться, но никто не решался, конечно, открыть рот и ответить — слишком уж необычным и опасным казалось такое дело.

— Вот ты, девочка, — сказал Некрасов и ткнул пальцем в Веру. — Ответь, пожалуйста.

В который уж раз вскочила Вера из-за парты и молча уставилась на директора Некрасова, как будто изучала, что в самом деле — похож или не похож?

— Что ты молчишь, будто в рот воды набрала? —

подал голос директор Губернаторов. — Отвечай.

Вера окостенела, и неизвестно, чем бы всё кончилось, если б в дело не вмешался дошкольник Серпокрылов.

— Ну, не похож, не похож, — сказал он, спасая Веру.

— Вот и хорошо, — обрадовался директор Некрасов. — На негодяя я не похож и на живодёра тоже. Так вот, я вам говорю, а моё слово — закон. Я говорю вам, а вы слушайте: этого песца на ферме никто пальцем не тронет! Понятно? Ах, непонятно? Ну, так я объясню. Этого песца звать Наполеон Третий! Понятно?

Вздох удивлённого облегчения прошёл по классу, обстановка немного разрядилась, ребята стали даже перешёптываться и подталкивать друг друга под бока.

— Наполеон! Вот здорово!

— Да, да, Наполеон Третий! — подтвердил директор Некрасов, чувствуя, что ледок начал таять. — Его дед был Наполеон Первый, а отец — Наполеон Второй. Так вот, слушайте дальше. Наполеон Третий ещё недопёсок, щенок, но он очень драгоценный зверь. Вы ведь заметили, какой у него прекрасный мех. Таких песцов, как он, на свете больше нет. Поэтому никто не станет

делать из него воротник. Этого песца мы будем беречь как зеницу ока, потому что собираемся вывести от него новую породу. Ясно вам? Это говорю вам я, директор Некрасов, а моё слово — закон.

Директор выждал некоторую паузу, давая второклассникам переварить сказанное, а когда решил, что всё переварено, продолжал:

— Я не мастер много говорить. Я мастер много делать. Поэтому я добавлю вот что: все ребята, которых интересует звероводство, могут приходить на ферму. Мы организуем кружок звероводов, а вот эту девочку, которая здесь, кажется, главная, мы изберём старостой. Вы сами будете ухаживать за Наполеоном и другими песцами, а также норками. Больше я говорить ничего не буду. Решайте. Всё.

Директор Некрасов махнул своей шапкой, с размаху нахлобучил её на голову и сел. Внутри у него щёлкнул какой-то выключатель, и глаза потухли.

Наполеон Пятнадцатый

Мудр был директор Губернаторов, но и директор Некрасов ни в чём ему не уступал. Два метких выстрела — и второй класс, как подбитый рябчик,

лежал в охотничьей сумке директора и только лишь взволнованно трепыхался.

Слова Некрасова разворошили мысли второклассников, как ветер ворошит плохо смётанный стог. Разлетелись мысли во все стороны и только минуты через две снова собрались в стаю и потекли по новому руслу. А русло это оказалось весьма широким: Тишка-то был не Тишка, а Наполеон! Вот это новость! И никто не собирался делать из него воротник. Но самое главное — это ворота, которые распахнулись перед ребятами, ворота в новый мир — на звериную ферму! Это действительно здорово!

— Забирайте Наполеона! — крикнул Миша Чашин.

— Он в бане сидит!

— Парится!

— Да здравствует Наполеон Третий!

Хорошо сразу и светло стало в классе, прояснились лица, раздвинулись стены и свободно уже умещали двух директоров.

— Кто хочет записаться в кружок? — крикнул Коля Калинин, и сразу поднялся над партами лес рук, будто кавалерийский эскадрон выхватил сабли наголо.

Коля достал клочок бумаги и с видом учёного

секретаря стал записывать желающих записаться.

— Меня, меня запиши! — теребил Колю Миша Чашин. — Я буду ухаживать за песцами.

— И меня за песцами! За Наполеоном!

— Меня за Наполеоном!

— Да нельзя же всем за Наполеоном, — возражал Коля. — Надо бросить силы и на чернобурок.

Но всем хотелось ухаживать за Наполеоном, кормить Наполеона, выращивать Наполеона и будущих его наполеончиков. В глазах второклассников горела мечта о новой породе, о Наполеоне Четвёртом, Наполеоне Пятом и даже, если дело пойдёт хорошо, о Наполеоне Пятнадцатом.

Гвалт и вороний грай раздались в классе, засиял у окна Павел Сергеевич, с гордостью поглядывая на любимый им второй класс, улыбнулся директор Некрасов, и даже в бровях у директора Губернаторова потеплело. И вот в этот самый момент раздался хрипловатый голос:

— Чепуха!

— Что чепуха? — переспросил Павел Сергеевич.

— Всё это чепуха, — повторил дошкольник.

— Почему чепуха? Какая чепуха? — зашумел народ, а дошкольник Серпокрылов снял с головы

офицерскую фуражку. Надо сказать, что он делал это в исключительно редких случаях. Когда ложился спать.

Зуб дошкольника Серпокрылова

Всё-таки сегодня выдался удивительный денёк. Скучать не приходилось.

Дошкольник помахивал рукой, успокаивая народ. Он явно собирался произнести речь, но не знал, как её начать. Слова типа «ребя» или «пацаны» для такого случая не годились.

Когда класс немного затих, дошкольник простёр ладонь свою к Менделееву и сказал:

— Товарищи!

Второклассники опешили.

Директор Губернаторов нахмурился. Дошкольник понял, что попал в глупое положение. Ему захотелось тут же провалиться на месте, но крепок был школьный пол, который перестилал плотник Меринов.

— Филька бежит на Северный полюс, — упавшим голосом продолжал дошкольник. — Чего ж ему в клетке сидеть?

Он снова растерянно замолчал, как будто ожидая аплодисментов, но не дождался их. Стало

страшно. Но деваться было некуда, и дошкольник ринулся в бой.

— Он сбежал с фермы и теперь бежит на полюс, потому что он сам северный. На полюсе ему будет хорошо, хоть и холодно. У него там и дети народятся. Пускай он бежит на север, кому ж охота в клетке сидеть? А потом все песцы изберут его атаманом.

Дошкольник остановился. Хотелось чего-то добавить, но что именно добавить, он не знал. Второклассники почему-то не смеялись — то ли они задумались, то ли, стыдно сказать, немного оробели и решили не связываться с человеком, который городит про Северный полюс. Второклассники оглядывались на директоров.

— Это что ещё такое? — изумлённо сказал директор Губернаторов и взмахнул бровями.

Но тут директор Некрасов положил руку на плечо директору Губернаторову, успокаивая его. Директору Губернаторову такое потрёпывание никак не понравилось. Не родился ещё на земле человек, которому позволил бы директор Губернаторов трепать себя по плечу. Но директор Некрасов тоже был директор, и поэтому директор Губернаторов не стал скидывать с плеча его руку, но просто-напросто взял да и положил свою руку

на плечо директору Некрасову. Потрепавши друг друга по плечам, директора успокоились, а потом директор Некрасов улыбнулся и пошёл через весь класс прямо к дошкольнику Серпокрылову.

Директор Некрасов приближался и с каждым шагом улыбался всё шире и веселей. Когда Серпокрылову улыбались, он тоже обычно не оставался в долгу. Лицо его, похожее всё-таки на заварной чайничек, засияло, заискрилось ответной улыбкой.

— А ты откуда взялся, такой маленький? — ласково спросил директор Некрасов.

— Я, дяденька, тутошний, — ответил дошкольник, сияя.

Он улыбался так широко, что директор Некрасов сумел сосчитать все зубы, которые имелись у дошкольника в резерве.

— Семь штук, — сказал директор Некрасов. — Что ж это ты, парень, так обеззубел? Страшно небось к врачу-то ходить, зубы выдирать?

— А я, дяденька, к врачу не хожу, — ответил дошкольник, не оробевши ни на секунду. — Я свои зубы сам вынимаю.

— Хе-хе, — снисходительно сказал директор Некрасов и подмигнул вдруг всему классу. — А ну-ка вынь для меня зубок. На память.

В классе кое-кто слегка засмеялся.

— Ну что ж, — солидно ответил дошкольник, — это можно.

Тут он вдруг поглядел тоскливо на Менделеева, а потом щёлкнул пальцами да и выхватил изо рта у себя зуб.

Класс ахнул, а директор Некрасов побледнел.

— Берите, берите, — успокаивал его дошкольник, — у меня новые отрастут.

Директор Некрасов засуетился, снял для чего-то пыжиковую шапку, снова нахлобучил её и осторожно принял зуб из рук дошкольника.

— Грррыхм, — кашлянул он и сунул зуб в нагрудный карман, из которого торчала золочёная китайская авторучка.

— Нет, нет, — сказал дошкольник, — его надо бросить за печку и сказать:

Мышка, мышка!
На тебе зуб репяной,
А дай мне костяной.

— Ладно, ладно, — сказал директор Некрасов, приходя немного в себя. — Не учи учёного. Знаю, что делаю. Ты скажи, парень, как тебя зовут?

— Лёша.

— Так вот, Лёша, откуда же это у тебя такие

сведения? С чего ты взял, что Наполеон бежит на север?

— А куда же? — не растерялся дошкольник.

— Не знаю, не знаю, — сказал директор и недоверчиво покачал головой. — Но если он рвётся на полюс, чего он тогда делает в деревне Ковылкино? Не знаешь? Не можешь ответить. А я знаю. Потому он и крутится возле деревни, что ему кушать хочется. А сам он себе пропитание добыть не может. Он родился в клетке и вырос в ней, и он просто не добежит до полюса, пропадёт. Его разорвут собаки, или подстрелят охотники, или задавит машина, или просто он сам помрёт от голода. Так что у Наполеона единственный выход — жить на ферме. А что зуб подарил — так за это спасибо.

Последнее убежище Наполеона

Вот так всё и кончилось, всё разрешилось. Директор Некрасов поставил дошкольника на место, да ещё и зуб его унёс в нагрудном кармане.

Откуда вообще-то взялся этот дошкольник? И что это он берётся рассуждать за Наполеона? С чего взял он, что Наполеон рвётся на Северный полюс? А зачем он тогда болтался в деревне Ко-

вылкино? Ночь провёл у Пальмы, топтался у магазина. Нет, не прав дошкольник, ни капли не прав.

— Долой дошкольника! — крикнул Коля Калинин, и все охотно засмеялись. Устали второклассники, и пора было кончать затянувшееся собрание.

Кончился последний день четверти. Гуляй, ребята, кончай рассуждать! А после праздников все пойдём на ферму, будем кормить песцов, воспитывать норок и серебристых лис!

— Пойдёмте, товарищ директор! Пойдёмте в баню! Пойдёмте, мы вам покажем! — кричали второклассники, собирая портфели.

Развеселились ребята. Целый день держались они молодцами и теперь заслужили веселье. И Вера Меринова заслужила. Уж она-то сделала всё по справедливости, честно тащила камень на вершину горы.

— Лёш, — сказала она, подходя к дошкольнику, — а ты пойдёшь на ферму?

— На ферму? — переспросил дошкольник, не слишком слушая Веру, а только лишь наблюдая за тем, как директора жмут друг другу руки. — Не знаю… Если меня возьмут…

— Вот и хорошо! — обрадовалась Вера. — Ты

не сердись.

Вслед за директорами весь народ повалил на улицу. Все знали, где находится баня старика Карасёва, и все хотели показать к ней дорогу.

Впереди, рядом с директорами, шагал Коля Калинин и шофёр со звероферм, который нёс на вытянутых руках походную клетку. В самом конце отряда шагали Павел Сергеевич, Вера Меринова и дошкольник Серпокрылов.

— Эх, брат, — говорил дошкольнику Павел Сергеевич, — не всегда так получается, как хочется.

— Это верно, — солидно соглашался дошкольник.

— Взять, к примеру, меня, — продолжал Павел Сергеевич. — Всю жизнь мечтал быть художником, а не получилось.

— Ну уж нет, — возразил дошкольник. — Вы здорово рисуете. И корову можете, и быка.

— Ха-ха, рисую я и правда неплохо, а Репин из меня не получился. Не я написал картину «Иван Грозный убивает своего сына». Мне только баню карасёвскую рисовать.

Карасёвская баня, между тем, действительно заслуживала рисования. Она так скособочилась, что никакой художник из головы придумать такого не мог.

За всю свою долгую жаркую жизнь не видала баня старика Карасёва такого скопления народу. Шум, смех, громкие голоса перепугали её, баня ещё сильней скособочилась, а заприметив двух директоров, от страха осела в землю. Нет, баня сегодня была именинница — и одного-то директора сроду не видала она, а тут сразу двое, да ещё какие директора — отборные, матёрые, крепкие, как белые грибы.

— Так вот в какую тюрьму спрятали вы Наполеона! — засмеялся директор Некрасов. — Ну, у нас на ферме ему получше. В такой квартире его крысы загрызут.

Смеясь, директор Некрасов распахнул со скрипом щелястую дверь и влез в предбанник, из которого пахло дёгтем и берёзовыми вениками. Директор Губернаторов решил не отставать от своего сотоварища и тоже влез для чего-то в предбанник, проломивши головою низенький потолок.

Перевёртывая ушата и громыхая листовым ржавым железом, неведомо для чего наваленным в бане, директора потолкались внутри и вылезли наружу.

— Чёрт знает что такое, — растерянно сказал Некрасов и развёл руками. — Пусто.

— Это что за шутки! — грозно сказал Губернаторов, одним взглядом охватив всех второклассников. — Это что за шутки! Где песец?!

— Там, там! — зашумели ребята. — Он там, в бане! Он должен быть там!

Заволновались второклассники, замахали портфелями, и тридцать три руки схватили за шиворот дошкольника Серпокрылова.

— Где песец?

— Где Наполеон? — ревели возмущённые второклассники.

— Какой ещё Наполеон? — отбивался дошкольник. — Не знаю никакого Наполеона!

— Говори, где песец? Где Наполеон?!

— Сейчас сколько время? — спросил дошкольник, стряхивая с себя чужие руки.

— Половина третьего, — сказал Павел Сергеевич.

— Ну что ж, — сказал дошкольник, — я думаю, он уже на полюсе.

Окружение и погоня

Верно сказано, что человеческое терпение имеет границы. Оно похоже на яичную скорлупу, внутри которой зреет усталость, отчаяние, гнев.

И вот лопнула скорлупа терпения, и страшный цыплёнок гнева выскочил на свет и кинулся клевать дошкольника.

— Где Наполеон? Куда ты его дел?

— Да чего вы пристали? — отвечал дошкольник. — Нет Наполеона! Я его отпустил! На полюс!

— Он его отпустил! — кричали второклассники, обманутые нагло и бесповоротно.

От грозных криков ещё больше съёжилась карасёвская баня, переползла от греха подальше на новое место.

— Товарищи директора! Мы ему доверили! А он отпустил!

— Прекратить базар! — рявкнул директор Некрасов, и даже пыжиковая его шапка побледнела от злости. Он выхватил из кармана зуб дошкольника Серпокрылова и растоптал его.

Дошкольник отошёл немного в сторону, независимо, впрочем, выглядывая из-под офицерской фуражки. Он был готов ко всему. А Вера растерялась — никак не могла понять, что же случилось?

Да неужели и вправду Лёша отпустил песца? Неужели серьёзно толковал он о полюсе и можно ли верить в такую ерунду?

Вера поглядела на дошкольника и поняла раз

и навсегда, что сомневаться не приходится. По глазам его было видно, что он верил в ерунду и сделал чёрное дело — отпустил Наполеона.

— Это Верка виновата, — сказал Коля Калинин. — Она за него ручалась.

— Мы доверились.

— А ты, Меринова, — сказал директор Губернаторов, — придёшь в школу с родителями.

Локтями, портфелями вытолкали второклассники Веру из своих рядов по направлению к дошкольнику, а сами сплотились вокруг директоров.

Недолго продержалась Вера на вершине славы. Всё делала по справедливости, а всё-таки пал на её голову гнев второго класса, и бывший помощник Коля Калинин вышел на первое место, да ещё и обвинял её во всём. Как быстро, как неожиданно меняется всё в жизни!

— Окружить деревню! — зычно скомандовал Некрасов.

— Закрыть все входы и выходы! — поддержал его директор Губернаторов.

Размахивая портфелями, бросились второклассники, как воробьи, врассыпную, помчались выполнять приказ директоров. В мгновение ока деревня Ковылкино была окружена. Из-за

каждого кустика, баньки, стожка выглядывали второклассники, и не то что Наполеон Третий — мельчайшая курица не вышла бы из деревни незамеченной.

Взявши друг друга под руки, директора посовещались и решили сами взять деревню в кольцо, оглядеть все входы и выходы дозорным взглядом.

Директор Некрасов пошёл на север, директор Губернаторов на юг, и минут через десять они уже встретились на востоке. Следов Наполеона они не нашли. Наверно, ушёл Наполеон по дороге, которая так была перепахана, что на ней и сам слон не оставил бы следов.

— Надо расспросить местных жителей, — предложил Некрасов.

— Интересная задумка, — поддержал директор Губернаторов.

Около магазина директора сразу наткнулись на местного жителя. Это была соседка Нефёдова, которая тащила очередной десяток хлебных кирпичей.

— Здравствуйте, тётушка, — почтительно сказа Некрасов. — Вы не видали маленькую такую собачонку?

— А на кой же мне пёс маленькая собачонка?

— Погоди, не ругайся, — остановил её Губернаторов. — Это не простая собачонка, а вроде лисы. Хвост пушистый.

— С хвостом видала.

— Где?

— Да эвон на дороге.

— Ну так и есть! — воскликнул директор Некрасов. — Ушёл по дороге! Скорей к машине.

Директора добежали до школы, повскакивали в «газик», который мгновенно же взревел и помчался вслед за Наполеоном.

Ковылкинская дорога бессовестно подкидывала «газик», хватала за колёса, стараясь их оторвать, швыряла в чудовищные бездны — колдобины, вытряхивала из «газика» душу. Гайки с автомобиля сыпались на дорогу, как чешуя с плотвы.

Минут через десять они увидели на дороге какое-то низкорослое пятно. Это был зверёк неясного цвета, кажется, и вовсе без хвоста.

— Наполеон! — закричал директор Некрасов, и в голове его мелькнула ужасная мысль, что хвост чрезвычайному зверю отгрызли дворняжки.

Заслышав рёв «газика», бесхвостое существо соскочило в кювет и злобно затявкало.

Это была незабываемая Полтабуретка, которая

рассорилась со всей деревней и решила покинуть её навсегда.

Два дерева в чистом поле

Разбежались второклассники ловить Наполеона, ушли директора. Только Вера и дошкольник Серпокрылов остались у бани.

Они стояли поодаль друг от друга, и каждый глядел себе под ноги.

На два дерева были сейчас похожи дошкольник и Вера, на два дерева, которые оторвались от родного леса и стоят посреди поля. Вроде бы вместе растут, недалеко друг от друга, а всё-таки поодиночке, и каждое само справляется с ветрами и непогодой.

Павел Сергеевич хотел вначале бежать вместе с директорами, но, увидев такие деревья, задержался.

— Лёш, — сказал Павел Сергеевич, подходя к дошкольнику, — объясни всё-таки, что случилось? Зачем ты отпустил Наполеона?

Дошкольник молчал.

— Упорный парень, — вздохнул Павел Сергеевич, — но нам-то с Верой ты можешь сказать. Ведь мы тебе друзья.

При слове «друзья» Вера передёрнула плечами, а дошкольник, увидев такое презрение, совсем одеревенел. Потом вдруг вспомнил что-то, достал из кармана верёвку, на которой водили Наполеона, и отдал Вере. Она равнодушно сунула верёвку в портфель.

И снова два дерева стояли посреди поля, чуть ближе друг к другу, а всё-таки совсем чужие и, наверное, разных пород.

Павел Сергеевич хотел было сказать им какие-то правильные слова, но слов таких не нашёл.

— А я, пожалуй, схожу за красками, — задумчиво сказал он, — да баню нарисую. Вы подождите меня, вместе рисовать будем.

Павел Сергеевич похлопал дошкольника по плечу, махнул рукой и скрылся за сараями.

— А тебе нравится баня? — тихо сказал дошкольник.

Вера молчала. Ей даже глядеть не хотелось на человека, который так бессовестно её подвёл, обманул, бросил тень на честное до сих пор имя. Она ушла бы сейчас домой, но почему-то не уходила.

Прошло минуты две. Дошкольник вздохнул и тронул Веру за рукав.

— Вер, — сказал он.

Как противную гусеницу, сбросила Вера до-

школьникову руку со своего рукава.

— Ну ладно тебе.

Вера молчала из последних сил. Наконец она не выдержала, окинула дошкольника ледяным голубым взглядом:

— Зачем ты это сделал, Серпокрылов?

— Сама знаешь — ему надо на полюс.

— Какой полюс?! Ты мне-то зубы не заговаривай.

— Я точно знаю.

— Что он, сам тебе рассказал?

— Я проверил. По компасу.

— Ну что ты врёшь? Откуда у тебя компас?

— Откуда надо, — ответил дошкольник и достал из кармана плоский и круглый предмет, сильно смахивающий на ручные часы. — Отцовский.

А ведь это и верно был компас, настоящий компас с красной стрелкой, на кончике которой виднелись остатки фосфора.

Дошкольник дёрнул рычажок, и стрелка подскочила на месте, закрутилась, выискивая север.

— Он бежал на север, — сказал дошкольник, — от магазина — до вашего дома — точно на север. От вашего дома к сосне — тоже.

— Ну и что?

— Значит, Наполеон бежал на север. Тогда я

взял да и отпустил его.

Вера недоверчиво покачала головой, взяла компас и положила на ладонь — стрелка указала на ковылкинскую одинокую сосну. Там, где-то далеко за сосною, лежал Северный полюс — макушка земли — и над ним полыхало полярное сияние.

Вера осторожно шагнула на север. Дошкольник потянулся за ней.

Когда Павел Сергеевич вернулся к бане, он не застал здесь ни Веры, ни дошкольника.

Учитель раскрыл альбом, хотел начать набросок — и раздумал. И баня показалась ему неприглядной, серым, скучным — небо над нею, и обидно вдруг стало, что ребята его не дождались.

Гора с плеч

Дорога на полюс шла, оказывается, точно через деревню Ковылкино, мимо магазина, школы, силосной ямы, мимо дома старика Карасёва. И Вера шла по ней, глядя на стрелку компаса, и удивлялась, что никто не видит этой дороги и не ходит по ней.

Старик Карасёв, который сидел на лавочке у калитки, заприметил ребят, хотел достать из кармана очки, но раздумал.

Слишком ярко, наверно, сияли колёса вокруг ребят, и старик улыбнулся, залюбовался ими, как будто букетом полевых цветов.

— Как думаешь, поймают они Наполеона? — спросила Вера.

— Наполеон уже тю-тю, — свистнул дошкольник, — мчится на север!

Дошкольник подпрыгнул и бешено задвигал локтями, показывая, с какой именно скоростью мчится Наполеон. Тут он и сам не выдержал, схватил компас, сорвался с места и помчался прямо на полюс.

— Постой! — крикнула Вера, но дошкольник уже скрылся за углом.

Вера поглядела ему вслед и пошла домой.

Разные мысли крутились у неё в голове, и главное — решала она сейчас, что сделала в жизни правильно, а что неправильно.

Как только увидела Наполеона — сразу его покормила. Это, конечно, правильно. Потом привязала на верёвку. Тоже правильно. Чтоб не убежал. Но если он спешил на полюс, тогда это неправильно. Но ведь она ничего про полюс не знала. Ладно, пускай верёвка неправильно. Сажать на верёвку всегда неправильно. Но зато в овраге всё было правильно, и Вера хорошо

сделала, что позвала Павла Сергеевича. Потом Наполеона посадили в клетку. И вот тут уже не поймёшь, правильно это или нет. Как государственную собственность его надо было посадить в клетку, но, если он рвался на полюс, его надо было отпустить. И тут Вера сплоховала. Но зато исправилась — решила спрятать Наполеона. В общем, кое-что сделала она правильно, кое-что неправильно.

Были в жизни ошибки, были удачи.

«Но зато теперь, — думала Вера, — теперь я за него не отвечаю».

И Вера вдруг почувствовала, что с плеч её свалилась гора. Всё! Больше она за песца не отвечает.

Оказывается, целый день Вера таскала гору на плечах, а даже и не заметила. Нелёгкий выпал для неё денёк: не только камень тащила она в гору, а ещё и другую гору держала на плечах.

Вера распахнула калитку и тут почувствовала, что здорово проголодалась. Долго тянулось классное собрание, наверное, обед уж в печке остыл. Ну ладно, главное — гора свалилась с плеч.

Больше Вера ни за что не отвечает. Только за себя. Как это всё-таки хорошо и легко — ни за что, ни за кого не отвечать. А обед можно разогреть на плитке.

Услыхав стук калитки, из конуры вылезла Пальма, ласково заворчала. Вера наклонилась погладить её и вздрогнула.

Утомлённо потягиваясь, из конуры вышел недопёсок Наполеон Третий с мотоциклетной перчаткой в зубах.

Гора залезает обратно

Когда камень срывается с горы, а потом его тащат обратно — это ещё куда ни шло. Но когда гора валится с плеч и вдруг опять залезает на плечи — это уже никуда не годится. Это может человека подкосить.

Царственное появление Наполеона буквально сшибло Веру с ног. Она уронила портфель, пала на крыльцо. Ужасную усталость почувствовала Вера, и гора, хихикая, залезла на плечи второклассницы, навалилась так, что заболели лопатки.

Гордый, независимый стоял Наполеон у входа в конуру. Как мантия, стелился по земле его императорский хвост, и, как символ власти, держал он в зубах мотоциклетную перчатку.

Редкая выпала доля этой мотоциклетной перчатке. Пропахшая бензином, раньше она только

и знала, что хвататься за рогульки мотоцикла, накачивать шины, и каждую минуту чувствовала, что зависит от руки, на которую надета.

Удивительная судьба свела её с Наполеоном — закружилась перчатка в вихре событий, попала в переплёты, какие не снились варежкам и рукавицам.

Но наверно, страсть к приключениям заложена была в перчатке с детства, и хоть потрепали её, покусали — она прожила яркую жизнь и, если б пришлось начать сначала, снова пошла бы тем же путём.

Редко, очень редко рождаются на земле перчатки, у которых есть в жизни своя собственная, верная, постоянная линия. О мотоциклетная!

Наполеон на Веру внимания не обратил, снова направился в конуру, лёгким кивком головы пригласив туда и Пальму.

Нет, жизненные передряги никак не повлияли на его характер — всё те же благородные манеры, та же глубокая внутренняя культура чувствовались в нём. А шуба Наполеона выглядела теперь чистой, ухоженной. Видно, Пальма постаралась, выбила из неё пыль да грязь, помыла недопёска, причесала. Белей сахарина блестела полоска на его носу чёрного бархата.

«Опять он здесь, — растерянно думала Вера. — Опять!»

Гора наваливалась на плечи, давила, тянула на дно, погружала в болото размышлений.

Как только вылез Наполеон из конуры, Вера сразу поняла, что теперь ей некуда деться, что судьба Наполеона только лишь в её руках и нужно немедленно, сию минуту, решать, что с ним делать.

«Серпокрылыч», — подумала Вера и хотела уж бежать за дошкольником, но остановилась.

Она ясно представила себе, что скажет дошкольник.

У него была своя верная линия, которая вела прямо на Северный полюс!

Надо было самой решать, что делать: хватать Наполеона или отпустить на полюс.

«Надо отпустить, — думала Вера. — Пусть живёт на полюсе. У него будут детки. А как блестит полоска на носу! Отпущу. Пусть бежит на полюс».

На минутку стало легче.

«От него разведутся самые красивые песцы. Только не в клетке, а на воле».

Вера улыбнулась, успокоилась, только какая-то маленькая трещинка мешала успокоиться окон-

чательно.

«Постой, — подумала Вера. — А ведь я его не держу. Если он бежит на полюс — зачем в конуру забился?»

У Веры закружилась голова, от волнения так заколотилось сердце, что Наполеон даже выглянул из конуры: что это, дескать, колотится?

Он пристально глядел на Веру, будто соображал, что ж она за человек — хороший или плохой, почему так странно смотрит и что собирается сделать.

А ты что делаешь здесь, свободный зверь? Зачем забрался в собачью конуру? Беги, если хочешь бежать, живи в клетке, если устал. Видно, не нужен тебе Северный полюс, тебя манит тёплая конура, вчерашние щи. Если так, то Вера Меринова ничем не может помочь. Наполеон Третий — государственная собственность и пусть тогда возвращается на ферму. В конуре, быть может, лучше, чем в клетке, но такой уж большой разницы в этом нет.

— Ладно, — сказала Вера. — Подожду ещё пять минут. Если уйдёт — пусть уходит.

Она подождала пять минут, а потом расстегнула портфель и вынула из него верёвку.

Друзья звероводства

«Надо мне тоже завести пыжиковую шапку, — думал директор Губернаторов. — Это настоящий директорский головной убор. И солидно, и красиво».

«Газик» возвращался в деревню, безрассудно подпрыгивая на ковылкинской дороге. Директора рядышком сидели на заднем сиденье и туго толкались плечами над самыми заковыристыми колдобинами.

Директору Губернаторову очень хотелось примерить шапку, но он не решался попросить.

— А то бывают ещё шапки из ондатры, — сказал директор Некрасов, будто угадавши мысли своего спутника, — но самые лучшие — из песца.

— Лично мне нравится пыжик, — мягко подчеркнул директор Губернаторов.

— Нет, серьёзно? — воскликнул Некрасов. — Мне тоже!

Директора улыбнулись друг другу, радуясь такому чудесному совпадению.

Кстати сказать, директор Некрасов давно уже замечал, что директору Губернаторову чего-то не хватает, и только сейчас понял чего. У директора

Губернаторова не было пыжиковой шапки. А что такое директор без пыжиковой шапки? Это всё равно что генерал без погон и лампасов. Директору Некрасову стало на миг неловко, что у него есть такая шапка, а у спутника нету. Но в то же время он чувствовал и некоторую гордость, понимая, что такие шапки бывают только у важных директоров.

У ковылкинского оврага «газик» остановился. В кустах бузины директора заметили фигуру с удивительной сосновою головой. Это был Коля Калинин, несущий дозорную службу. Для пущей маскировки он натыкал себе за шиворот сосновых веток и, как белочка, выглядывал теперь из них.

— Разрешите доложить! — по-солдатски рявкнул Коля Калинин.

— Докладывай.

— Наполеон нигде не замечен!

— Снимай посты!

Через десять минут все второклассники собрались у школы. Наполеона они не видали и ужасно хотели есть.

— Ребята! — сказал директор Некрасов, взойдя на школьное крыльцо. — Наполеона мы не поймали. Но кто ищет, тот всегда найдёт. И мы

найдём Наполеона. Он далеко уйти не может. Он будет крутиться около деревни, и мы должны быть начеку. Он придёт в деревню за пропитанием. А пока — до свидания!

— Приезжайте к нам ещё, — ответили второклассники, собираясь махать руками, но тут слово взял директор Губернаторов.

— Товарищи школьники! — сказал он. — Пионеры и октябрята! Вы все теперь юные друзья звероводства. И мы должны обещать директору Некрасову, что не будем смыкать глаз, пока не отловим этого Наполеона.

— Обещаем, обещаем! — подхватили друзья звероводства.

— Потому что Наполеон, — продолжал директор Губернаторов, — ценная зверушка и приносит пользу государству. Такие звери, как этот Наполеон, являются настоящим золотом, потому что их шкурка дорого стоит. Она дорогая потому, что у него красивый мех.

Директор Губернаторов считал себя неплохим оратором и, пожалуй, в этом деле мог заткнуть за пояс директора Некрасова.

Некрасов сразу почувствовал, что его затыкают за пояс, и пожалел, что сам не сказал про друзей звероводства и государственную пользу.

— Правильно сказал товарищ директор Губернаторов, — подхватил Некрасов. — Очень большую пользу государству приносит наша звероферма. Только лишь за этот год мы сдали мехов на миллион рублей.

Услыхавши такие замечательные слова, директор Губернаторов хлопнул в ладоши, и юные друзья звероводства дружно зааплодировали. Портфели они зажимали под мышкой.

Директор Некрасов поднял руку, чтоб добавить ещё что-то посильней миллиона, да так вдруг и застыл.

С вытянутой к небу рукою директор Некрасов напряжённо глядел вдаль, в глубину деревни Ковылкино.

Оттуда, из глубины деревни, по дороге, перепаханной тракторами, медленно приближался к школе недопёсок Наполеон Третий. Его вела на верёвке второклассница Вера Меринова.

Директорское спасибо

Теперь-то Вера была уверена, что всё сделала правильно. Но странное дело — гора с плеч никак не сваливалась, давила, давила.

Понурившись, приближалась Вера к школе,

глядела на пышный Наполеонов хвост и ничего прекрасного не видела в нём — хвост и хвост, чепуха, меховой огурец.

Наполеон был ей неприятен, слишком уж легко, слишком беззаботно бежал он навстречу судьбе — прямо в клетку.

«Эх ты, недопёсок, — думала Вера. — Если б ты бежал на север…»

А Наполеон и сам уже не понимал, куда бежит. Когда дошкольник отпустил его, недопёсок побежал было на север, но почему-то оказался у Пальмы. А почему — он и сам не знал.

Он видел сейчас много людей перед собой, очень много. Они напряжённо молчали, ожидая его, а ведь должны были кричать и размахивать руками.

Но вот он подбежит — и на голову обрушится человеческий рёв.

Наполеон остановился.

Вокруг были люди и заборы.

Наполеон лёг на землю и закрыл глаза. Точно так лежал Сто шестнадцатый перед шофёром Шамовым.

Люди молчали. Чуть заскрипело школьное крыльцо, послышались вкрадчивые шаги. Наполеон почувствовал запах кормовой смеси.

Кто-то подошёл к нему, вдруг крепко взял за шиворот и поднял в воздух. Закружилась голова, послышался далёкий алюминиевый звон.

— Постойте, — сказала Вера. — Возьмите вот это.

— Что такое?

— Это его перчатка.

— Ну и ну! — засмеялся директор Некрасов. — Зачем же ему перчатка? Кажется, к тому же — мотоциклетная…

Второклассники тоже засмеялись.

Шофёр со звероферм уносил в машину Наполеона.

Наполеон проплывал по воздуху над головами второклассников.

— Умница, — сказал директор Некрасов, обнимая Веру за плечи. — Как тебя звать? Вера? А как ты учишься?

— Хорошистка, — вставил с крыльца директор Губернаторов.

— Ребята! С этой девочки надо брать пример. Она помогла звероферме. Я хочу сказать ей наше звероводческое спасибо.

Второклассники затаили дыхание, ожидая, как директор будет говорить спасибо. Они понимали, что такое важное спасибо, к тому же звероводче-

ское, сказать не просто.

И директор, как видно, чувствовал, что надо это сделать помощнее. Он набрал в грудь воздуху и сказал изо всех сил:

— Спасибо!

Потряс Верину руку и так крепко хлопнул её по спине, будто хотел сшибить гору, навалившуюся на плечи.

— Пожалуйста, — тихо ответила Вера.

И тут директор Некрасов снял вдруг свою пыжиковую шапку да и нахлобучил её прямо на голову директору Губернаторову.

— На память! — сказал директор Некрасов.

Директор Губернаторов побелел. Не родилось ещё на земле человека, которому позволил бы директор Губернаторов нахлобучивать себе шапку на голову. Но директор Некрасов тоже был директор, а шапка была всё-таки пыжиковой, поэтому директор Губернаторов пожал некрасовскую руку и сказал:

— Что вы? Что вы! Зачем это? А как же вы?!

— Не беспокойтесь, — улыбаясь сказал директор Некрасов и подмигнул своему шофёру.

Шофёр мигом понял начальника, подмигнул в ответ и залез в машину. Там он пошарил под сиденьем, торжественно нажал на гудок и вы-

скочил на улицу с новою пыжиковой шапкой в руках. Некрасов принял её из рук шофёра и сам себе возложил на голову.

Две золотом сияющие пыжиковые шапки зажглись на школьном крыльце. Большие и пушистые, как стога сена, они ослепляли второклассников, и только лишь хвост Наполеона мог сравняться с ними в пышности и величавой красоте.

А у Веры на душе было очень плохо.

Гора наваливалась, давила, давила, выдавила из глаз две слезинки. Вере было очень жалко себя и Наполеона. Мир помутнел, пропали лица второклассников, растаял директор Некрасов.

Чтоб не расплакаться, Вера сжала зубы и стала глядеть на одинокую ковылкинскую сосну, подпирающую небо. Но вот сосна покосилась набок, стала понемногу расплываться и слилась наконец с ковылкинским серым небом.

Поздний вечер в деревне Ковылкино

Очень уж рано темнеет осенью в деревне Ковылкино.

Чёрные дома, крылатые сараи вбирают дневной свет и прячут его на чердак до завтра. Из

погребов выползают сумерки, но так они коротки, что не успеешь посумерничать — приходит вечер.

С темнотою тихо становится в деревне. В иных окнах горит свет, а в остальных темно, там уж легли спать, там уже ночь. Сегодня ночь задержалась. Во всей деревне горел свет, хлопали двери, скрипел колодец. Мамаши и хозяйки месили тесто, рубили лук и капусту для пирожков.

Фрол Ноздрачёв затеял резать свинью, вынес на двор лампочку в сто свечей, и огромная его тень легла на соседние дома, шевелилась на крышах и стенах ковылкинских сараев.

Мамаша Меринова хлопотала весь вечер, гоняла плотника то в погреб, то на колодец, а Вера крутила мясорубку, готовила начинку для кулебяки. Начинки получался полный таз.

— Дома хозяева? — послышалось с порога.

— Дома, дома! — закричал плотник.

— Здравствуйте, добрый вечер, — говорил Павел Сергеевич, входя в избу. — Не помешал?

— А вот мы с Павлом Сергеичем грибочки попробуем, — обрадовался плотник.

Мамаша отложила пока месить тесто, вытащила кой-какие грибочки, скорей всего волвяночки.

— Вера-то наша прямо герой, — улыбаясь, рассказывал Павел Сергеевич. — О ней только и разговору: Наполеона поймала. Ей премию дадут.

— А мы на ту премию тёсу купим, — радовался плотник. — Крышу перекрывать.

— Да что ты сегодня какая варёная! — недовольно сказала Клавдия Ефимовна. — Что молчишь?

Вера улыбнулась Павлу Сергеевичу, но никак не знала, что сказать.

— Где ж ты его поймала?

— Он у Пальмы был.

— Вишь ты, — засмеялся плотник. — К Пальме присуседился.

Взрослые о чём-то смеялись, хвалили грибы, а Вера крутила мясорубку. Плохие мысли лезли ей в голову. Вера гнала их от себя, так гнала, что все выгнала и ни одной мысли в голове не осталось — ни хорошей, ни плохой.

— Надо нам пельмени лепить, — говорил в этот момент слесарь Серпокрылов. — Ты слепишь сто штук, и я сто штук, а тогда и спать ляжем.

— Давай кто быстрей, — сказал дошкольник.

— Давай, — согласился слесарь, стаканом нарезая кружочки из теста.

Дошкольник схватил тестяной кружочек, чай-

ной ложкой положил начинки и мигом скрутил залихватский пельмень.

— Один — ноль!

— Один — один! — возразил слесарь.

Пельмени посыпались как из мешка. Они ложились в ряд на доске, присыпанной мукою. Иные получались кривы, другие великоваты, но все были живые, весёлые пельмени, серпокрыловские.

— Отстаёшь, отстаёшь, — разжигал слесарь. — Э, да у тебя начинка вываливается!

— Ну где же, где? — волновался дошкольник. — Вовсе не вываливается.

В окошко кто-то постучал. Слесарь отодвинул закавказский лимон, выглянул на улицу.

— Вера! — обрадовался он. — Заходи, Вера.

Вера вошла в дом, остановилась у двери.

— Помоги ему пельмени лепить, — сказал слесарь. — А то он отстаёт.

— Ему помоги, — обиженно сказал дошкольник.

Но слесарь лепил пельмени великолепно. Быстро он прикончил свою сотню, понёс в погреб на мороз.

— Возьми, — тихо сказала Вера, протягивая дошкольнику мотоциклетную перчатку. — Это

тебе.

— Положь на сундук. Руки в тесте.

Вера вздохнула, положила перчатку на сундук.

— Вот и всё, — сказала она. — Ничего не осталось от Наполеона. Только перчатка.

Дошкольник хмыкнул, старательно вылепливая особенно какой-то большой и фигурный пельмень. Это хмыканье Вере не понравилось. Кажется, дошкольник её не понимал. Конечно, он только и думал о полюсе.

— Ты что ж считаешь — я виновата?

Дошкольник искоса глянул на Веру, а после — на перчатку.

— Вовсе он не бежал на полюс, — сказала Вера. — Он у Пальмы был.

— Ну и что?

— Значит, полюс ему не нужен.

— Чепуха. Он забежал попрощаться.

— Это люди прощаются, — сказала Вера и печально покачала головой, — а звери нет. Он же не человек.

— Не человек, а тоже понимает.

— Звери не прощаются.

— Ещё как прощаются.

— Что это у тебя пельмень такой кривой получился?

— Да это не пельмень, — ответил дошкольник Серпокрылов, придвигая к Вере странную фигурку из теста.

— Наполеон! — ахнула Вера.

— Видишь, он кланяется тебе, прощается…

— Не знаю прямо, что и делать, — говорил в этот же момент директор Некрасов, — то ли пельмени лепить, то ли кулебяку закручивать. Давай, Катюша, заделаем и то и другое.

Сильными белыми директорскими руками он схватил колобок теста и принялся его разминать. В этот вечер директор Некрасов вылепил полторы сотни пельменей, но и в голову ему не пришло, что директор Губернаторов слепил двести.

…Наконец и дошкольник разделался с пельменями, отряхнул руки, примерил мотоциклетную перчатку.

— Значит, я виновата, — сказала Вера.

— Он снова сбежит, — успокаивал её дошкольник. — Не волнуйся. Теперь его не удержишь.

— За ним знаешь как будут смотреть!

— Сбежит, сбежит…

Долго тянулся вечер, задерживал, отодвигал ночь, но вот наконец она нахлынула на землю, погасила все окна, а в небе над одинокой сосною, по дороге, сотканной из мельчайших звёздочек,

медленно помчался Орион. Тускло горела красная звезда на его плече, сверкал кинжал, звёздным остриём указывал на водокачку, отмечающую над чёрными лесами звероферму «Мшага».

Песцы давно уж заснули. Только Маркиз и Сто шестнадцатый метались по клеткам, корябали решётки и глядели не отрываясь на свернувшегося в клубок Наполеона.

Долго в эту ночь не спал Наполеон. Он глядел на водокачку и слушал, как что-то бурлит, переливается в её кирпичном брюхе.

Издалека, из деревни Ковылкино, доносился слабый собачий лай.

Далеко за деревней, за горбатыми домами и заборами, лежал Северный полюс — макушка земли, но только Орион видел, как полыхает над ним полярное сияние.

На этом заканчивается повесть о недопёске Наполеоне Третьем. Добавить больше нечего, кроме того, что ровно через месяц недопёсок снова сбежал. На этот раз он нигде не задерживался и наверняка добрался до Северного полюса.

Алый
Рассказы

Алый

Приехал на границу молодой боец по фамилии Кошкин. Был он парень румяный и весёлый. Командир спросил:

— Как фамилия?

— Ёлки-палки, фамилия-то моя Кошкин, — сказал Кошкин.

— А при чём здесь ёлки-палки? — спросил командир и потом добавил: — Отвечай ясно и толково, и никаких ёлок-палок. Вот что, Кошкин, — продолжал командир, — собак любишь?

— Товарищ капитан! — отвечал Кошкин. — Скажу ясно и толково: я собак люблю не очень. Они меня кусают.

— Любишь не любишь, а поедешь ты, Кошкин, учиться в школу собачьих инструкторов.

Приехал Кошкин в школу собачьих инструкторов. По-настоящему она называется так: школа инструкторов службы собак.

Старший инструктор сказал Кошкину:

— Вот тебе щенок. Из этого щенка нужно сделать настоящую собаку.

— Чтоб кусалась? — спросил Кошкин.

Старший инструктор строго посмотрел на Кош-

кина и сказал:

— Да.

Кошкин осмотрел щенка. Щенок был небольшой, уши его пока ещё не торчали. Они висели, переломившись пополам. Видно, щенок только ещё начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете.

— Придумай ему имя, — сказал старший инструктор. — В этом году мы всех собак называем на букву «А» — Абрек, Акбар, Артур, Аршин и так далее. Понял?

— Понял, — ответил Кошкин.

Но по правде говоря, он ничего не понял. Тогда ему объяснили, что пограничники каждый год называют собак с какой-то одной буквы. Поэтому стоит сказать, как зовут собаку, и ты узнаешь, сколько ей лет и в каком году она родилась.

«Ну и ну! — подумал Кошкин. — Здóрово придумано!»

Кошкин взял щенка под мышку и понёс его в казарму. Там он опустил его на пол, и первым делом щенок устроил большую лужу.

— Ну и щенок на букву «А»! — сказал Кошкин. — С тобой не соскучишься.

Щенок, понятное дело, ничего на это не ответил. Но после того как Кошкин потыкал его носом

в лужу, кое-что намотал на ус.

Вытерев нос щенку специальной тряпкой, Кошкин стал думать: «Как же назвать этого лоботряса? На букву „А“, значит… Арбуз?.. Не годится. Агурец? Нет, постой, огурец — на букву „О“…»

— Ну и задал ты мне задачу! — сказал Кошкин щенку.

Кошкин долго перебирал в уме все слова, какие знал на букву «А».

Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия. Имя получилось такое — Алый.

— Почему Алый? — удивлялись пограничники. — Он серый весь, даже чёрный.

— Погодите, погодите, — отвечал Кошкин. — Вот он высунет язык — сразу поймёте, почему он Алый.

Стал Кошкин учить Алого. А старший инструктор учил Кошкина, как учить Алого. Только ничего у них не выходило.

Бросит Кошкин палку и кричит:

— Апорт!

Это значит: принеси.

А Алый лежит и не думает бегать за палкой. Алый так рассуждает: «Стану я бегать за какой-то палкой! Если б ты мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы — понятно, я бы побежал. А так,

ёлки-палки, я лучше полежу».

Словом, Алый был лентяй.

Старший инструктор говорил Кошкину:

— Будьте упорней в достижении своих целей.

И Кошкин был упорен.

— Что ж ты лежишь, голубчик? — говорил он Алому. — Принеси палочку.

Алый ничего не отвечал, а про себя хитро думал: «Что я, балбес, что ли? За палочкой бегать! Ты мне кость брось».

Но кости у Кошкина не было. Он снова кидал палку и уговаривал Алого:

— Цветочек ты мой аленький, лоботрясик ты мой! Принесёшь, ёлки-палки, палку или нет?!

Но Алый тогда поднимался и бежал в другую сторону, а Кошкин бежал за ним.

— Смотри, Алый, — грозился Кошкин, — хвост отвинчу!

Но Алый бежал всё быстрее и быстрее, а Кошкин никак не мог его догнать. Он бежал сзади и грозил Алому кулаком. Но ни разу он не ударил Алого. Кошкин знал, что собак бить — дело последнее.

Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать. Он понимал, например, что Кошкин — это Кошкин, мужик хороший,

который кулаком только грозится. Теперь уж, когда Кошкин бросал палку, Алый так рассуждал: «Хоть это и не кость, а просто палка, ладно уж — принесу».

Он бежал за палкой и приносил её Кошкину. И Кошкин радовался.

— Алый, — говорил он, — ты молодец. Вот получу из дому посылку — дам тебе кусок колбаски: пожуёшь.

А Алый ничего не говорил, но так думал: «Что-то твои посылки, товарищ Кошкин, долго идут. Пока они дойдут, можно с голодухи ноги протянуть».

Но всё же протягивать ноги Алый не собирался. Всех собак кормили хорошо, а Кошкин даже ходил на кухню клянчить кости. И будьте спокойны, Алый эти кости обгладывал моментально.

Вскоре Алый вырос и стал совсем хорошо слушаться Кошкина, потому что он полюбил Кошкина. И Кошкин Алого очень полюбил.

Когда Кошкин получал из дому посылку, он, конечно, делился, давал чего-нибудь и Алому пожевать.

Алый посылок ниоткуда не получал, но думал так: «Если б я получил посылку, я бы тебе, Кошкин, тоже отвалил бы чего-нибудь повкуснее».

В общем, жили они душа в душу и любили друг

друга всё сильнее и сильнее. А это, что ни говорите, редко бывает.

Старший инструктор частенько говорил Кошкину:

«Кошкин! Ты должен воспитать такую собаку, чтоб и под воду и под воеводу!»

Кошкин плохо представлял себе, как Алый будет подлезать под воеводу, но у старшего инструктора была такая пословица, и с ней приходилось считаться.

Целыми днями, с утра и до вечера, Кошкин учил Алого. Конечно, Алый быстро понял, что значит «сидеть», «лежать», «к ноге» и «вперёд».

Как-то Кошкин дал ему понюхать драную тряпку. Тряпка как тряпка. Ничего особенного.

Но Кошкин настойчиво совал её Алому под нос. Делать было вроде особенно нечего, поэтому Алый нюхал тряпку и нанюхался до одурения. Потом Кошкин тряпку убрал, а сам куда-то ушёл и вернулся только часа через два.

— Пошли, — сказал он Алому, и они вышли во двор.

Там, во дворе, стояли какие-то люди, закутанные в толстые балахоны. Они стояли спокойно, руками не махали и только смотрели на Алого во все глаза. И вдруг волной хлестнул запах от

одного из них — Алый зарычал и бросился к этому человеку, потому что так точно пахла тряпка, какую давал ему Кошкин.

— Ну что ж, — сказал старший инструктор, который стоял неподалёку, — с чутьём у Алого всё в порядке, но это ещё не самое главное.

Однажды Кошкин посадил Алого в пограничную машину «ГАЗ-69». В машине их уже ожидал старший инструктор. Алый сразу же хотел укусить старшего инструктора, но Кошкин сказал ему:

— Сидеть!

«Я, конечно, могу укусить и сидя, — подумал Алый, — но вижу, ёлки-палки, что этого делать не следует».

Машина немного потряслась на просёлочной дороге и остановилась у леса.

Кошкин и Алый выпрыгнули из кабины, а следом — старший инструктор. Он сказал:

— Товарищ Кошкин! Нарушена государственная граница СССР. Ваша задача: задержать нарушителя!

— Есть задержать нарушителя! — ответил Кошкин как полагается. Потом он погладил Алого и сказал: — Ищи!

Кого искать, Алый сразу не понял. Он просто

побежал по опушке леса, а Кошкин — за ним, а старший инструктор — за Кошкиным. Одной рукой Кошкин держал Алого на поводке, другой — придерживал автомат.

Алый пробежал немного вправо, потом немного влево и тут почувствовал запах — чужой и неприятный. Ого! Здесь прошёл человек! Трава, примятая его ногами, успела распрямиться. Но запах-то остался, и Алый рванулся вперёд. Он взял след.

Теперь они бежали по лесу, и ветки сильно хлестали Кошкина по лицу. Так всегда бывает, когда бежишь по лесу, не разбирая дороги.

Тот, кто прошёл здесь несколько часов назад, хитрил, запутывал след, посыпал его табаком, чтобы отбить у собаки охоту бежать за ним. Но Алый след не бросал.

Наконец они прибежали к небольшому ручью, и здесь Алый забеспокоился. Тот человек прошёл давно, и вода, которая имела его запах, утекла куда-то далеко вниз.

Теперь она пахла водорослями, камешками, проплывающим пескарём. И Алому захотелось поймать этого пескаря. Но пескарь спрятался под камень. Алый тронул камень, но оттуда выскочили сразу три пескаря.

Тут Кошкин увидел, что Алый ловит пескаря, и сказал:

— Фу!

Они перебрались на другой берег, и снова Алый почувствовал чужой запах.

Скоро они выскочили на открытую поляну и увидели того, за кем гнались.

Тот бежал, и оглядывался, и махал от страха руками, и рукава его одежды были ужасно длинными.

Кошкин бросил поводок, и Алый огромными прыжками стал нагонять нарушителя. Потом он прыгнул последний раз, пролетел по воздуху, ударил бегущего в спину и сшиб его с ног. Тот упал ничком и даже пошевелиться не мог, потому что Алый придавил его к земле.

Кошкин еле оттащил Алого за ошейник.

Тогда лежащий приподнялся и сказал:

— Ну и собачка у вас, товарищ Кошкин! Обалдеть можно!

Человек, за которым они гнались, был не кто иной, как Володька Есаулов, приятель Кошкина и тоже пограничник. И всё это была пока учёба.

Старший инструктор сказал:

— Собака работала хорошо. За такую работу ставлю ей отметку четыре.

— За что же четыре? — спросил Кошкин. — Надо бы пять.

— За пескаря, — ответил старший инструктор.

«Проклятый пескарь!» — подумал Кошкин. Он хорошо знал, что пограничная собака не должна отвлекаться, когда идёт по следу.

Все сели в машину, чтобы ехать назад, а Кошкин достал из кармана отличный сухарик и сунул его Алому в пасть.

И Алый, хрустя сухарём, подумал про старшего инструктора и про Володьку Есаулова: «Вам небось после такой беготни тоже хочется погрызть сухарика, да товарищ Кошкин не даёт».

Наконец настал день, когда Кошкин и собака Алый попрощались со школой собачьих инструкторов. Они поехали служить на границу.

Начальник заставы сказал:

— А, ёлки-палки, Кошкин!

— Так точно! — гаркнул Кошкин, да так громко, что у начальника заставы чуть револьвер не выстрелил.

— Вижу, вижу, — сказал начальник, — вижу, что ты научился отвечать как следует. Только попрошу так сильно не орать, а то у меня чуть револьвер не выстрелил.

Потом командир спросил:

— Как же зовут собаку?

— Алый, товарищ капитан.

— Алый? — удивился начальник заставы. — Почему Алый?

— А вы погодите, товарищ капитан, — ответил Кошкин, — вот он высунет язык, и вы сразу поймёте, почему он Алый.

А застава, куда приехали Кошкин и Алый, была в горах. Кругом-кругом, куда ни погляди, всё горы, горы… Все они лесом заросли: ёлками, дикими яблонями. Взбираются деревья вверх, налезают на скалы. А из-под корней вываливаются круглые камни да острые камешки.

— Видишь, Алый, — говорил Кошкин, — вот они, горы. Это тебе не школа собачьих инструкторов.

Алый глядел на горы и думал: «Просто странно, отчего это земля так вздыбилась, к небу колесом пошла?.. Быть бы ей ровной…»

Трудное дело — охранять границу. Днём и ночью ходили Кошкин и Алый по инструкторской тропе. Тропа эта — особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха.

Рядом с инструкторской тропой идёт широкая вспаханная полоса. Кто бы ни пошёл через гра-

ницу, обязательно оставит след на вспаханной полосе.

Вот Кошкин и Алый ходили по инструкторской тропе и смотрели на вспаханную полосу — нет ли каких следов?

Дни шли за днями, и ничего особенного не происходило. А на вспаханной полосе были только шакальи да заячьи следы.

— Дни идут за днями, — говорил Кошкин, — а ничего особенного не происходит.

«Беда невелика, — думал Алый, — не происходит, не происходит, да вдруг и произойдёт».

И действительно.

Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать — тревога!

Тревога!

Кто-то перешёл границу!

Тревога!

В ружьё!

Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо…

Кошкин и Алый очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели — тёмные рыбы с коричневыми звёздами на боках.

На берегу Кошкин увидел знакомого старика,

который вообще-то жил неподалёку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам.

— Здравствуй, Александр, — сказал Кошкин.

Старик кивнул.

— Никого не видел? — спросил Кошкин.

— Видел.

— Кого?

— Босого мужика.

— Тю! — сказал Кошкин. — Какого босого мужика?

— Тю, — сказал теперь старик Александр. — Косолапого.

Кошкин плюнул с досады: он вспомнил, что босым называют медведя.

— А больше никого не видел?

— Видел.

— Кого?

— Обутого мужика.

— Ох, — рассердился Кошкин, — дело говори!

Но старик Александр дело говорить не стал. Он любил говорить странно и шутливо, поэтому сейчас он просто ткнул пальцем в сторону лысой горы. Но Кошкину и этого было достаточно. Он сделал Алому знак, и они побежали в ту сторону.

Было тихо, тихо, тихо. Но вдруг откуда-то со-

рвался ветер, закрутился колесом и донёс до Алого запах, странный, недобрый. Тронул ветер верхушки ёлок и тревожно затих и так притаился, как будто ветра и не было на свете…

Алый взял след. И теперь Кошкин продирался за ним через густые терновники, скатывался в овраги, поросшие ежевикой. Алый шёл по следу возбуждённо — острый, чужой запах бил прямо в нос.

Алый зло залаял, и сразу Кошкин увидел человека — на дереве.

Он сидел на дереве, на дикой яблоне: словно пантера, прижался к чёрному корявому суку.

— Вниз!

И человек спрыгнул с ветки и, отряхиваясь, заговорил:

— Да я так просто, яблочков хотел пожевать, яблочков.

— Оружие — на землю!

— Да нет у меня никакого оружия, — сказал человек. — А я так просто, яблочков хотел было пожевать, кисленьких.

И вдруг он прыгнул на Кошкина и в ту же секунду оказался на земле, потому что Алый сшиб его с ног и прокусил руку, сжимавшую нож.

— О-о-о! — закричал человек, а потом замолчал

— так страшно было увидеть над собой раскрытую собачью пасть…

Когда Кошкин вёл его на заставу, он всё бубнил:

— А я-то яблочков хотел было пожевать… — А потом оглядывался на Алого и говорил: — У-у-у! Дьявол проклятый!

Алый бежал сбоку, и что он думал в этот момент, сказать трудно.

Так и служили Кошкин и Алый на границе.

Командир заставы часто посылал их в секрет. Они прятались в кустах и следили, чтоб никто не перешёл границу.

Они так прятались, что их нельзя было увидеть, а они видели всё. Словом, секрет.

Пробегал мимо заяц — они даже и не шевелились. Если пробегал шакал, тогда Алый думал: «Беги, шакал, беги. Жаль, что я пограничная собака, а то бы я тебе уши-то пооборвал».

Кошкин, конечно, не знал, о чём думает Алый, но сам глядел на шакала и думал: «Жалко, что Алый — пограничная собака, а то бы он от этого шакала камня на камне не оставил».

Вот так и служили Кошкин и Алый на границе. Время шло и медленно и быстро.

«Медленно-то как идёт время», — думал Кош-

кин иной раз.

«Быстро-то как время бежит», — думал он в другой раз.

Уже наступила весна. С гор текли ручьи из растаявшего снега и льда. На некоторых тёплых местах даже пошевеливались змеи и ящерицы. Было полно подснежников и горных фиалок.

Кошкин и Алый шли по инструкторской тропе.

От ручьёв и тающего снега, мокрых камней и свежей земли, от цветов и от ящериц стоял такой могучий и нежный запах, что у Кошкина кружилась голова и он был ужасно чему-то рад.

Алый фыркал, водил по сторонам мокрым носом и тоже был странно возбуждён.

«Ёлкины палки, — думал Алый. — Что это со мной творится?» Он как-то не понимал, что просто его охватило весеннее собачье веселье.

Чоп-чоп-чоп-чоп! — Алый бежал по оттаявшей вязкой земле.

Фру-фру-фру-фру! — теперь он ломал ледяную корку.

Они спустились в ущелье, и Алый зло ощетинился. И Кошкин сразу увидел следы.

Огромные, чёрные, они ясно отпечатались на вспаханной полосе. Это были совсем свежие следы медведя.

«Может быть, человек?» — подумал Кошкин. Он знал, что есть люди, которые надевают на ноги подобия медвежьих лап, чтобы перейти границу.

Кошкин внимательно оглядел след. Сомнений не было — медведь. Но надо было проверить.

Алый чуть дрожал, скалил зубы, чувствовал зверя. Ясно было — медведь. Только надо было проверить.

— Вперёд! — шепнул Кошкин.

Алый туго потянул поводок и пошёл по следу.

Солнце поднялось выше, и ручьи заурчали погромче. Послышались новые, самые разнообразные звуки: какие-то потрескиванья, позвякиванья, потряхиванья.

«Оррк! Оррк!» — орал в небе огромный ворон, утомлённый солнечной весной.

След привёл к большим камням, которые громоздились в устье ущелья. Камни были покрыты ледяной коркой, а на ней мелкой россыпью бродили ручейки, разрезали узорными желобками лёд. От камней поднимался пар.

Они вбежали в облако пара, и тотчас закружились белые струйки, как будто все бесчисленные весенние ручейки вдруг рванулись вверх, к небу.

«Ах! Ах! — залаял Алый, и залаял он не так, как

обычно, а странно: — Ах! Ах!»

Огромный зверь встал перед ними. И так близко, что видны были весенние капли в блестящей шерсти.

Медведь!

Кошкин изо всей силы рванул поводок и отбросил Алого назад.

Но медведь был по-весеннему зол. Он вздыбил шерсть и замигал глазками, красными и разъярёнными. Прыгнул вперёд, подцепил Алого лапой.

Алый увернулся бы, да камень помешал — камень, окутанный паром. От страшного удара Алый взлетел в воздух, разбрызгивая капли крови.

«Алый!» — хотел крикнуть Кошкин, но крикнул только:

— А-а-а… — и поднял автомат, и выстрелил несколько раз.

Мёртвый медведь лежал, вцепившись зубами в камень. Он крепко обнял его мохнатыми лапами, и светлый ручей из расселины хлестал через его голову.

Кошкин перевязал Алого и понёс его на заставу. Все мысли Кошкина запутались, сбились в клубок. Он прижимался ухом к спине Алого и

слышал, как невероятно быстро, не по-человечески колотится его сердце.

На заставе фельдшер промыл рану Алого и долго-долго зашивал её. Было ужасно больно. Алому всё время хотелось зря укусить фельдшера, но Кошкин стоял рядом, гладил Алого и нарочно грубо говорил:

— Подумаешь, медведь! Барахло какое!

«Зашивайте, зашивайте поскорее, — думал Алый. — Больно же…»

Когда фельдшер зашил рану, Алый сразу хотел вскочить, но сил-то не было. И Кошкин понёс его в сарайчик, где жили собаки. На руках у Кошкина Алый уснул…

Потом побежали день за днём. Солнце перекатывалось над горами, облака сталкивались в небе с тучами, падал на землю дождь, и навстречу ему выползали из земли толстые стебли, налитые зелёным соком.

Алый всё время чувствовал, как заживает, затягивается его рана, и торопился её лизать. Ему казалось, что он может слизнуть языком тупую, тягучую боль.

Когда рана поджила, Кошкин стал выводить его во двор заставы. Кошкин садился на лавочку и играл на гитаре, а Алый лежал у его ног, мигая

на солнце.

Алому было странно слушать, как тянутся звуки со струн, плывут над его головой и закруживают её. Он поднимал голову — и утомительный вой вылетал из его горла. И Алый закрывал глаза и хватал зубами воздух, будто хотел укусить собственную песню.

Подходили пограничники, слушали Алого и смеялись, расспрашивали про медведя.

— Вообще-то я медведей побаиваюсь, — говорил Кошкин, отставив гитару. — Кусаются.

Алый, конечно, ничего не говорил, но думал:

«С медведями держи ухо востро».

Весна прошла, а потом прошло и лето, а потом и осень кончилась. Выпал снег. От него выровнялись кривые горы, и даже в ущельях, под нависшими камнями, сделалось ясно.

Хоть и неглубок был первый снег, на нём хорошо был виден след нарушителя. Снег был пробит, продавлен подкованным сапогом до самой земли, до осеннего листа.

— Тяжёлый человек прошёл, — сказал рядовой Снегирёв про того, кто натоптал след.

— Да, — отозвался Кошкин, — тяжеловат.

Алый нервничал, тянул Кошкина по следу, но Кошкин сдерживал его, раздумывал.

— Ну? — спросил Снегирёв.

— Будем преследовать, — отозвался Кошкин и кивнул Алому.

Быстро пошёл Алый по следу. Бежит за ним Кошкин, старается так поспевать, чтобы ошейником не резало ему шею. Снегирёв бежит чуть сзади.

След — в крутую гору. Видно, что «тяжёлому» трудновато подниматься. Вот он споткнулся… Стоп!

Разглядел Кошкин след, и стало ему понятно, что впереди двое, что «тяжёлый» тащит на себе «лёгкого».

…Поднялись в гору — след под гору пошёл. Трудно бежать под гору — пороша все камни покрыла. Оступишься — и выскользнет камешек из-под ноги, да так выскользнет, что тебя перекувырнёт в воздухе да об этот камешек затылком трахнет.

След привёл к дороге, и там Кошкин понял вот какую штуку: «тяжёлый» отпустил «лёгкого». Тот вперёд побежал, а «тяжёлый» его следы затаптывал.

Ух, горные дороги! Справа — скала, слева — обрыв, а на дне его — бешеный зелёный ручей. Крутит, вертит дорога вокруг горы — за скалу, за корявую кручу.

Выбежали Кошкин и Алый за поворот — выстрел навстречу. Пуля взвизгнула об камень, ударилась о другой, забилась яростно между камнями, пока не утонула в мягком стволе дерева.

Кошкин и Алый за валуном схоронились, за другим — Снегирёв. Выстрел — заныли каменные осколки, пуля дугой улетела в небо.

Кошкин выглянул осторожно и увидел, как темнеет за камнем рука с пистолетом, покачивается в воздухе… Ударил Кошкин из автомата и разбил её.

Прыжок — Алый взмахнул на спину «тяжёлого», режет когтями его одежду, страшными зубами шею сдавил.

Подбежали Кошкин и Снегирёв, обезоружили нарушителя, связали. Скорчившись, сидел нарушитель на земле, дрожал, и вокруг него таял снег. Он плевал себе под ноги, и Кошкин Алого в сторону отвёл, будто боялся, что плевки злого человека ядовитые.

Кошкин и Алый побежали дальше по следу, а Снегирёв остался пойманного сторожить.

Дорога здесь была уже нахожена-наезжена, и следы «лёгкого» поэтому часто терялись, затаивались среди следов других людей.

Впереди у дороги стоял дом. Тут жил старик

Александр. Кошкин оглядел дом, укрывшись за скалой. В узких окошках ничего не было видно, а на диких яблонях, растущих вокруг, сидели куры.

Алый тянул по следу мимо дома, но Кошкин решил зайти, расспросить Александра.

Старик сидел в комнате, завешанной вязками красного перца и косицами, наплетёнными из лука. Он курил трубку.

— Здравствуй, Александр, — сказал Кошкин, придерживая Алого.

Александр выпустил колесо дыма.

— Здравствуй, Кошкин.

— Никого не видел?

— Видел, — сказал Александр и, косясь на Алого, снова выпустил колесо дыма. Оно неторопливо догнало первое, ещё висящее в воздухе.

— Скорее! — сказал Кошкин. — Скорее говори: где он?

Александр подмигнул Кошкину и выпустил третье колесо.

— Не спеши, не спеши, Кошкин, — сказал Александр и, выпустив четвёртое колесо дыма, встал.

Он подошёл к окну и поглядел в него, а потом поманил Кошкина пальцем.

Кошкин выглянул в окно и увидел врага. С кру-

того откоса тот спускался вниз, к ручью.

Вода раскалывается о камни, грохочет, разлетается пеной, брызгами.

Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами и с внезапным рёвом поворачиваются лениво и грозно набок.

Осторожно спускается Кошкин, прячется за кустами с красными ягодами, за валунами, припорошёнными снегом.

За звоном воды, за каменным гулом не слышно шага, треска колючего сучка под ногой. И не слышно, как орёт в небе ворон, а только разевает рот, пролетая за гору.

Алый медленно ведёт, извивается напряжённо, как живая пружина. Он весь наполнен запахом врага, он видит его.

Тот уже у самого ручья. Остановился, думает, где ручей перейти.

Алый сжался в комок.

Вот Кошкин отпустит его.

Вот отпустил…

Алый расстелился по земле — и прыгнул, будто взмахнул всем телом. Остановился, застыл в воздухе на секунду — и рухнул на врага. Ударил его

в спину. Рванул.

Тот упал, но вывернул назад руку и выстрелил в Алого — раз, другой, третий.

Алый вырвал пистолет, и металл будто треснул в его зубах, как чёрная кость.

Кошкин ударил врага, скрутил ему руки…

Зелёные дуги сшибаются в ручье, захлёстывают друг друга, звон выбивают и пену.

Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движения лежал Алый на снегу.

Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем.

Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. Руки его стали алыми.

Алый был жив, когда Кошкин принёс его на заставу. Пули не задержались в его теле — вылетели вон.

Алый тяжело дышал, и глаза его то просветлялись, то становились мутными. Кошкин глядел в них и не знал, видит ли его Алый.

Но Алый видел Кошкина и понимал, что это Кошкин — мужик хороший.

— Умрёт он, — сказал фельдшер.

Но Кошкин не поверил. Он сидел рядом с Алым и гладил его по голове. Он рассказывал Алому,

что скоро получит из дому посылку. А там, в этой посылке, чего только не будет: и колбаса, и сало, и коржики.

— То-то пожуём, — говорил Кошкин.

Алому было приятно слушать голос Кошкина. Но только над головой его поплыли длинные мягкие птицы, закружили её, заворожили. Голова его стала такая тяжёлая, что он не смог её больше держать и уронил на передние лапы.

«Жалко мне тебя, Кошкин…» — подумал было Алый, но не сумел додумать, почему он жалеет Кошкина. Алый вздрогнул два раза и умер.

А Кошкин никак не мог понять, что Алый умер. Он гладил его и говорил:

— И колбаса там будет, и сало, и коржики…

Елец

На одной заставе жил пёс, которого звали Елец. Это был уже старый пёс. Настоящую службу он нести не мог.

— Что поделать, — говорил сержант Кошкин, — собаки быстро стареют, не то что человек.

Но конечно, дело было не только в этом. Чуть не десять лет охранял Елец границу. И за это время побывал в разных переделках. В таких, из которых человек-то не всегда целым выходил.

Но Елец всё-таки вышел из этих переделок и теперь жил как бы на пенсии. Горшок борща с хорошей костью — вот это и была его пенсия.

А застава, где жил Елец, находилась на вершине горы, и дороги туда не было. Вместо дороги в гранитной скале были выбиты ступеньки — ровно четыре тысячи. По этим ступенькам каждое утро вниз, в долину, спускался Кошкин и ещё два бойца. Они шли вниз, на базу, а с ними бежал Елец.

Холодно было на вершине.

С заставы бойцы выходили в полушубках, но, пройдя три тысячи ступенек, полушубки снимали и прятали в расселину — с каждым шагом становилось теплей.

Пока они хлопотали на продовольственной базе, Елец лежал на тёплых камнях и сонно хлебал борщ из алюминиевой миски. К полудню Кошкин оканчивал свои дела.

— Ну, — говорил он, подмигивая Ельцу, — теперь бы окрошечки погонять.

Как-то они возвращались на заставу и тащили на себе большие мешки, а Кошкин нёс ещё и бидон с молоком.

Бидон сверкал, и издалека казалось — три горбуна ползут по лестнице в облака и несут с собою зеркало.

Издали на пограничников смотрел человек.

А они обливались пóтом и старались не считать про себя ступеньки. Но ступеньки считались сами собой: сто одна, сто две, сто три, сто четыре…

У тысячной ступеньки Кошкин поставил бидон, достал из расселины полушубок и вытряхнул ящериц, которые грелись в рукавах.

— Катитесь! — сказал он ящерицам.

С вершины дунул ветер, поднял со ступенек горсть гранитной пыли. Елец зарычал.

К запаху ветра, пришедшего с вершины, подмешался запах человека.

— Чужой, — сказал Кошкин.

— Да нет, это Елец так волнуется, от старости.

«Неужто заметили?» — подумал человек, укрывшийся в камнях, и поднял пистолет.

— Чужой! — повторил Кошкин.

И тут же белый сноп ударил его в лицо. Пуля пробила бидон — молочная струя хлестнула по ступенькам.

Нарушителю показалось, что выстрел сшиб всех трёх пограничников. Только пёс крутился на ступенях. А они отползли со ступенек и повисли над обрывом. Мешки заслонили их.

Нарушитель ещё раз выстрелил в Ельца, и пуля — надо же! — снова ударила в бидон. Он прыгнул от удара и со звоном покатился вниз, разбрызгивая остатки молока.

Бидон сорвался в пропасть, и ветер подхватил его, засвистел в дырках от пуль. Бидон падал в пропасть, словно огромный сверкающий свисток.

Кошкин увидел человека, прижавшегося к камню, и выстрелил. Пуля попала в камень — осколки резанули нарушителя по щеке. Он побежал.

Кошкин ещё раз выстрелил — нарушитель оступился и сорвался в пропасть, где прыгал ещё и бился на дне измятый простреленный бидон.

Как-то сержант Кошкин увидел во дворе продо-

вольственной базы ушастого ишака.

— Это ещё что? — спросил он.

— Ишак, — ответили солдаты с продовольственной базы, — мы на нём продукты возим.

— Дела! — сказал Кошкин. — А как его зовут?

— А никак. Ишак, и всё.

— Вот что, ребята, отдайте его мне.

— Ну нет, — сказали солдаты, — это наш ишак, а не твой.

— Ладно вам, — уговаривал их Кошкин и объяснял, как трудно таскать на гору продукты.

Пока сержант разговаривал с солдатами, Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом в бок. Ишак качнул головой.

— Да не пойдёт он по ступенькам, — говорили солдаты с продовольственной базы, — этот ишак привык ходить по ровному месту.

— Моя будет забота, — ответил Кошкин.

Он привязал на спину ишаку мешки с продуктами и бидон. Потом хлопнул его ладонью и сказал: «Валяй!»

Ишак потихоньку пошёл, покачивая головой. У скалы, где начинались ступеньки, ишак остановился.

— Так и есть, — говорили солдаты с продовольственной базы (они глядели снизу в бинокль), —

этот ишак привык ходить по ровному месту.

— Давай, давай! — подталкивал ишака Кошкин, — валяй!

Ишак не хотел идти наверх. Не то чтобы он упирался или брыкался, а просто стоял, и всё.

— Ишак-то наш, — сказал Кошкин, — видно, глуповат.

Тогда Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом.

То ли нос был у Ельца холодный, то ли, наоборот, тёплый — только ишак качнул головой и пошёл по ступенькам.

«Да что он? Укусил его, что ли?» — думали солдаты с продовольственной базы.

Ишак медленно поднимался в гору, ступенька за ступенькой. Елец бежал рядом и поглядывал, как бы ишак не свалился в пропасть. Так они и добрались до заставы: впереди ишак, за ним Елец, а следом, налегке, Кошкин.

Прошла неделя, другая, и Кошкин перестал спускаться вниз.

Он навьючивал на ишака порожние мешки, хлопал его ладонью и говорил: «Валяй!» Ишак спускался по ступенькам, а следом бежал Елец. На базе солдаты нагружали ишака, тоже хлопали его по спине и тоже говорили: «Валяй!» Ишак

отправлялся обратно.

Издали странно было видеть, как поднимается по ступеням в облака маленький ушастый ишак, тащит на себе мешки и бидон, сверкающий, как зеркало, а следом бежит старый пёс Елец.

Козырёк

Высоко в горах — пограничная застава.

Там совсем не растут деревья. Даже ни одного кустика нигде не видно — всё серые скалы и красные камни.

Круглый год над заставой дует ветер.

Летом он несёт мелкие камешки и пыль, весной и осенью — пыль, смешанную с дождём и снегом, а зимой — снег, снег, снег…

В тот год зима пришла рано. Горный тугой ветер наметал огромные сугробы, разрушал их и взамен выдувал новые, ещё более огромные и причудливые. Начальником заставы был лейтенант по фамилии Генералов.

— С такой фамилией быть тебе генералом, — говорили ему друзья.

А лейтенант Генералов отвечал:

— Мне и так неплохо.

Рано утром 31 декабря, то есть под самый Новый год, лейтенант вышел на крыльцо и удивился: тихо вокруг и даже солнце светит. Он уже хотел закурить, как вдруг увидел на склоне горы какую-то штуку.

«Это ещё что? — подумал лейтенант. — Неужто

козырёк?»

На склоне горы, над обрывом, висел большой тяжёлый сугроб, нахлобученный ветром на камни.

В горах ветер выделывает со снегом всякие чудеса. Вот он смёл его на край обрыва — и получился сугроб-козырёк. Висит он в воздухе и на чём держится непонятно. А сорваться может в любую минуту.

Было очень солнечно, и козырёк светился оранжевым и красным. Под ним лежала ясная изумрудная тень, и в тени этой медленно двигались кривые солнечные зайчики.

Самый край козырька был зазубренный, будто хребет какого-то древнего зверя. Он припал к скале, прижался к камню холодным радужным телом — вот прыгнет вниз и накроет человека широким крылом.

— Да, — сказал старшина Кошкин, подходя к лейтенанту, — противная штуковина.

Они ещё поглядели на козырёк и решили его разрушить.

— А то ведь что может быть, — сказал старшина, — снегу поднавалит, рухнет козырёк и, того гляди, кого-нибудь из наших ребят зацепит.

Лейтенант и старшина надели лыжи и пошли

в гору.

Такие козырьки часто обваливаются от громкого звука, поэтому, когда они подошли совсем близко, лейтенант хотел стрельнуть.

— Погодите, — сказал старшина, — чего зря патрон тратить.

Он набрал полную грудь воздуха и вдруг крикнул:

— Полундра-а!

Никакого толку — козырёк не дрогнул.

— П-р-ропади ты пропадом! — крикнул старшина.

Козырёк опять не дрогнул. Тогда лейтенант достал пистолет и выстрелил. От выстрела зазвенело в ушах и что-то где-то ухнуло в ущелье, но козырёк так и не шелохнулся.

— Не созрел, — сказал старшина, когда они шли обратно на заставу.

Солнце быстро пробежало по небу, и день кончился.

А вечером поднялся буран.

Ветер выл, разбрасывал снежинки, крепкие, как пули.

На заставе устроили новогодний ужин. Солдаты пили компот из кружек, потому что вина им нельзя — граница за горами. А горы — вот они.

Поиграв на баяне и поглядев новогоднюю ёлку, солдаты легли спать. А лейтенант Генералов подозвал старшину и сказал:

— Тревожит меня этот проклятый козырёк. Как бы не рухнул.

— Буранище крепкий, — ответил старшина, — но будем надеяться, всё обойдётся.

Ветер ещё усилился, всё больше наметал снегу.

Козырёк вырос, распух и уже еле держался над обрывом. Вот он медленно наклонился — кррр! — что-то скрипнуло у него внутри. Он прополз немного и вдруг рухнул с горы.

Страшная снежная волна помчалась вниз, сметая и расшибая сугробы.

Лейтенант Генералов хотел лечь спать, когда услышал какой-то шум. Вот стена дрогнула перед его глазами. Дёрнулся пол. Он кинулся к двери, но дверь сама вылетела ему навстречу. В грудь ударило чёрной волной. И эта чёрная волна — был снег.

Лавина рухнула на заставу. Снег вышиб окна, ворвался в комнату, где спали солдаты, и забил её до потолка. Новая волна сшибла дом с места, опрокинула набок и совсем завалила его.

Лейтенант Генералов пробовал шевельнуться и не мог. Его сдавило так плотно, будто не снегом,

а студёной жёсткой землёй. Он забился в снегу, расталкивая его локтями, но холодная тяжесть давила на плечи, и не было сил с ней справиться.

«Ну, всё, — подумал лейтенант, — не выберусь…»

Он задыхался. Широко раскрыв рот, он пытался вздохнуть и втягивал в себя снежную труху. Она таяла на губах, на щеках. Он ударил в снег кулаком, и рука его встретила пустоту — окно, выбитое снежной волной.

Лейтенанту Генералову повезло. Он протиснулся через окно, попал в полосу рыхлого снега и выбрался на гребень сугроба.

В предутреннем свете глянул вокруг и не увидел заставы. Ни крыши, ни стен, ни дверей — снег…

Он крикнул, но никто не услышал его.

Он один выбрался из-под обвала.

Ветер выл, затягивал сугроб узлами, нёс льдинки, которые со звоном впивались в лицо.

Лейтенант пробрался обратно через то же окно, и уткнулся в снежную стену, и стал её разгребать. Руки сразу застыли, сделались вроде деревянные, выструганные из еловой доски, и он разгребал снег, словно двумя лопатками.

Он полз и что-то кричал в темноте, но что это были за слова и какой в них заключался смысл,

разобрать было невозможно.

Прошёл, наверно, час. Лейтенант пробил в снегу узкую щель и добрался до койки, на которой всегда спал солдат Игорь Соколов. Койка была пуста.

Стало страшно. Показалось, что нету уже никого под снегом, что все люди умерли, рассыпались и превратились в снег.

Вдруг он почувствовал: шерсть какого-то зверя трогает руками! Будто бы зверь этот спит здесь, в снегу. Это была ветка новогодней ёлки.

— У-у-у-у-у-у-у-у! — послышалось, и он не мог понять: ветер ли воет, человек ли зовёт. И понял, что рядом живой, что это он кричит, а слов не разберёшь и слышен только глухой жуткий звук:
— У-У-У-У-У-У-У-У…

Старшина Кошкин пробирался навстречу лейтенанту, и они столкнулись лицом к лицу в темноте.

Теперь они копали вдвоём и помогли выбраться ещё двум солдатам.

Они нашли фонарь и нашли автоматы и вчетвером уже крушили снег.

Через два часа они откопали всех. Только солдата Соколова нигде не было. Они копали ещё час и нашли Соколова.

А к утру буран поутих. Выбравшись наружу, пограничники увидели, что все постройки на заставе занесены снегом, только радиоантенна торчит, будто метёлочка.

Увязая в снегу, они стали спускаться с горы на соседнюю заставу и поочерёдно несли на руках Игоря Соколова.

Когда наступила весна и снег начал таять, старшина отправился на заставу. С ним пошёл Игорь Соколов. Они долго бродили, разбрасывали снег, разыскивая вещи, заваленные лавиной. Вдруг старшина услыхал какой-то странный звук.

— Слышишь что-нибудь, Соколов?

— Слышу, кто-то слабо хрюкает!

— Слабо хрюкает?

— Слабовато!

— А ну давай лопату!

Они копнули два раза и выкопали… живую свинью!

Три месяца прожила она под снегом — и хоть бы что. Тощая была — смотреть жалко. Всю землю под заставой разрыла, корешки искала, этим и жива была.

Когда об этом узнали на соседних заставах, стали в гости ходить, на свинью глядеть. А пограничники её вы́ходили, давали ей по картошине

и прозвали Снежной королевой.

Особое задание

Особое задание?

Да что же это за особое задание такое?

Наверно, задание как задание, а особым называется только для красоты. Чего в нём такого особого, в задании-то в этом? Уж, наверное, ничего.

Так или иначе, а только однажды вечером…

Глава первая, в которой появляется Галоша

А только однажды вечером я очутился высоко в горах, на пограничной заставе. Конечно, я приехал сюда не просто так. У меня было задание написать рассказ про пограничников. Но только в этом задании ничего особого нет. Вот я пишу рассказ — что ж тут особого?

И вот я приехал на пограничную заставу. Голые горные вершины окружали меня, а на склоне горы, среди корявых красных камней, стояло несколько домиков.

Это и была застава.

Меня встретил начальник заставы капитан Воронцов и отвёл в один из домиков, чтоб я мог отдохнуть и побриться с дороги.

— Отдыхайте и брейтесь, — сказал капитан. — Я скоро приду.

Я стал отдыхать и бриться, и, наверное, прошёл целый час, а капитан не возвращался.

Вдруг в дверь кто-то постучал.

— Кто там? — спросил я.

— Мне неудобно, — послышалось за дверью.

— Как — неудобно? — удивился я.

— Мне неудобно из-за двери фамилию называть, — сказали из-за двери.

Я глянул в зеркало и увидел свою совершенно обалдевшую от таких ответов физиономию.

Дверь между тем скрипнула, и как-то особенно скрипнула, даже вроде фыркнула — фрррр! — и в комнату вошёл солдат. На голове у него был поварской колпак.

— Здравствуйте, — сказал он. — Моя фамилия Галоша.

Он вдруг снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Гмм… — сказал я. — Как же пишется ваша фамилия: Галоша или Калоша?

— Галоша, — сказал Галоша.

— Очень приятно.

— Я слышал, что вы пишете рассказ о пограничниках?

— Пишу.

— Так я расскажу вам одну историю, а вы пишите рассказ.

Эти слова меня здорово удивили.

Я повнимательней поглядел на Галошу и увидел, что лицо у него самое обычное: нос, брови, глаза. Да, но при чём же здесь рассказ?

— При чём здесь рассказ? — спросил я. — О чём рассказ?

— Дело в том, что я повар, — быстро сказал Галоша. — Понимаете?

Он снял колпак и покрутил его в руках. Я заглянул внутрь колпака.

Там, понятно, ничего не было. Я собрался с мыслями и сказал:

— Закуривайте, товарищ Галоша.

— Что вы! Что вы! — крикнул Галоша. — Потап унюхает!!!

— Какой Потап? — удивился я. — Какой такой Потап? Что вы ваньку валяете?

— При чём здесь Ванька? — удивился теперь Галоша. — Ванька домой уехал!

Я уже ничего не понимал и глядел на Галошу, как сыч на сову. Тогда Галоша подбросил вверх свой колпак, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Итак… — сказал Галоша.

Глава вторая, в которой Галоша исчезает

— Итак, — сказал Галоша, — всю жизнь я мечтал быть поваром. Мне хотелось готовить супы, салаты, фрикадельки и морковные соусы. Не подумайте, что я обжора. Это — моё искусство. Вы сочиняете рассказы, а я сочиняю морковные соусы.

— Понятно, — сказал я. — Понятно. А кто такой Потап?

Галоша не ответил.

— Да… — вздохнул он. — Всю жизнь я мечтал быть поваром, и моя мечта сбылась. Когда я приехал на заставу, всех пограничников построили, и капитан спросил:

«Есть ли среди вас настоящий повар?»

«Есть!» — крикнул я и шагнул вперёд.

Ответ понравился командиру. Он сказал мне:

«Молодец!»

Так я стал поваром на заставе.

Живём мы, сами видите, в горах. Служить здесь трудно и есть хочется ужасно. Но я варил такие супы! Строил такие котлеты! И все были мной довольны, и я тоже был доволен, потому что сбылась моя мечта.

Был я доволен месяц, был я доволен другой, а потом я перестал быть доволен.

Как-то раз готовлю я суп-пюре из тыквы, а сам думаю: «Что же это такое? Все пограничники как пограничники, а я повар. Они медали то и дело получают, а я поварёшкой размахиваю. Повар и повар, да ещё по фамилии Галоша. Обидно».

Вот как-то я дождался, пока капитан пообедает, и подошёл к нему:

«Товарищ капитан! Разрешите обратиться!»

И обратился. Так, мол, и так, поваром быть отказываюсь. Желаю принести пользу Родине, охраняя государственную границу.

«Голубчик Галоша, — сказал мне капитан, — повар — важная фигура в пограничном деле».

Вот как мне ответил капитан. Что называется, отбрил.

Галоша замолчал и грустно покачал головой. А я посмотрел ему в глаза и увидел в них большую печаль.

— Товарищ Галоша, — спросил я, — а всё-таки, кто такой Потап?

Но не успел я задать этот вопрос, как где-то за окном грохнул выстрел. И Галоша тут же ударил себя по лбу.

— Ах я растяпа! — крикнул он. — У меня же соус подгорел!!!

Он вылетел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул напоследок:

— Прощай морковный соус!

Глава третья, в которой Потап никого не признаёт

«Прощай морковный соус? — удивился я. — Какой морковный соус? Это он меня, что ли, морковным соусом назвал? Ну нет, с Галошей с этим каши не сваришь. Во-первых, неясно, кто такой Потап, а во-вторых, что это за выстрел, который раздался за окном?»

Я вышел на крыльцо, чтобы узнать, откуда донёсся выстрел.

На улице был уже вечер. Горы потемнели. В небе гуляли тёмные полосы. Во дворе заставы не видно было ни одного пограничника. Только стоял пустой зелёный автомобиль.

«Эк ведь куда меня занесло! — думал я. — Вон там, за этой горой, — чужая земля. Здесь — наша, там — чужая. Удивительно!»

Я присел на ступеньку и задумался, разглядывая вечерние горы. Густые тени лежали уже в ущельях, а скалы, кажется, чуть шевелились в сумерках. Постой-ка, что это на скале? Человек? Или это померещилось?

— Эхе-хе, — услышал вдруг я. — Соус-то мой подгорел.

— Галоша! Это вы?

— Так точно.

Галоша присел рядом на ступеньку, а я всё разглядывал скалы, но не видел там никакого человека. Померещилось, значит.

— Закуривайте, — сказал я Галоше.

— Не могу, не могу, — сказал Галоша. — Потап унюхает!

— Тьфу ты! Совсем забыл про вашего Потапа.

Галоша помолчал немного, а потом снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Ну вот, — сказал Галоша. — На границу командир меня не пустил, и я оставался по-прежнему поваром. И вдруг мне подвезло! Да! Мне подвезло, потому что уехал домой Ваня Фролов.

Он уехал домой, а Потап остался беспризорным. Фролов-то был инструктор службы собак, а Потап — это наш лучший пёс!

— Ну, наконец-то! — сказал я. — А я-то думаю: кто такой Потап?

— Лучший пёс! И какой пёс! Грудь — колесом. Уши — столбом. Голова — булыжник, а на зубы смотреть страшно. А лапы! Мне бы такие лапы, я бы двухпудовые гири выжимал. Такому псу палец в рот не клади — мигом оттяпает!

И вот Потап остался беспризорным, и подойти к нему никто не может — всех перекусал! Подавай ему Фролова, а больше никого не признаёт.

Вот я слышу, командир говорит:

«Что делать с Потапом? Не ест, не пьёт и кусается. Пропадает пёс!»

Тут мне что-то в голову ударило.

«Как, — думаю, — пропадает? А я, Галоша, на что?»

— Ага! — прервал я рассказ повара. — Вот что, товарищ Галоша, давайте-ка пойдём в комнату. Что это мы на крыльце застряли? Слушать так слушать.

Глава четвёртая, в которой имеются сосиски

— Слушать так слушать, — сказал я, когда мы с Галошей вошли в комнату и сели у стола.

Галоша вздохнул, поглядел на часы и продолжал:

— Решил я с Потапом с этим подружиться. Человек я особый, пахну вкусно, и собакам это нравится.

Вот я положил в нагрудный карман две сосиски и пошёл к Потапу. Он жил в отдельном закутке в собачьем сарае. Прихожу и вижу: Потап лежит на полу скучный, только хвостом по полу похлопывает.

«Привет!» — говорю.

Но Потап даже глаз не открывает. А хвостом хлопать перестал.

Тогда я достаю из кармана одну сосиску — Потап открывает один глаз. Достаю другую — открывает другой. Спрятал я сосиски — Потап глаза закрыл. Достал — снова открыл.

«Ну, — думаю, — всё, голубчик! Попался!»

Вот я говорю Потапу:

«Ты да я — нас двое. И сосиски две. Поделим по-братски».

С этими словами я стал свою сосиску есть, а другую в руке держу. Только один раз я откусил, и Потап облизнулся. А я нарочно медленно ем и так кусаю сосиску, что из неё сок брызжет.

«Ну и сосисочка! Какая сочная!» — говорю.

Пока я свою сосиску жевал, Потап совсем очумел, до того ему захотелось попробовать. Доел я сосиску, а вторую ему всучил — он её и проглоти!

«Ты да я, — говорю, — Потап, — нас двое. И две сосиски было. И съели мы их по-братски. Ты это, — говорю, — пойми!»

Тут я ушёл, а через час снова две сосиски принёс и ещё гитару.

Потап очень удивился, когда увидел гитару. Смотрит на меня и как бы хочет сказать: «Зачем ты гитару-то притащил? Мне и сосисок хватит».

А я сыграл ему на гитаре, угостил сосиской, и, конечно, Потап сделался моим приятелем.

Через несколько дней он ко мне совсем привык, и я вышел с ним погулять.

Вот мы гуляем во дворе заставы, а навстречу нам идёт рядовой Юра Молоканов. Увидел нас и рот открыл от изумления. А я говорю:

«Закройте поскорее рот, товарищ Юра Молоканов, а то ворона влетит!»

Глава пятая, в которой Галоша идёт в секрет

— «Закройте поскорее рот, товарищ Юра, — толкую я. — А то, мол, ворона влетит!»

А Юра Молоканов стоит и только глаза на нас таращит.

Но вот он всё-таки закрыл рот и побежал докладывать командиру.

Гремя сапогами, командир выскочил на крыльцо и видит: да, мы с Потапом гуляем во дворе.

«Ну молодец!» — говорит тут командир и в тот же день отправляет меня с Потапом охранять границу — в секрет!

С нами пошёл старшина Кошкин, слыхали небось.

Волновался я ужасно — всё-таки первый раз шёл в секрет. А Кошкин увидел, что я волнуюсь, и говорит:

«Золотой мой Галоша, а не хотите ли вы поймать нарушителя?»

«Конечно, хочу».

«Держите карман шире», — говорит старшина

Кошкин.

Вот пришли мы на место и замаскировались в кустах на краю большой поляны. Посреди поляны — озеро. За озером — граница. Рядом со мной — пенёк, за пеньком — Потап, в пеньке — телефон. Правда-правда! Там такая штучка имеется в пеньке, вроде как штепсель. Сунешь в неё провод от телефонной трубки — и с дежурным по заставе поговорить можно.

Замаскировались мы и лежим. Лежим час, лежим другой… Тишина. Никто не идёт через границу.

Глава шестая, в которой появляется халат

— Никто не идёт через границу. Тишина…

А мы лежим в кустах. Так вот, я лежу, рядом — Потап. Чуть подальше — Кошкин с автоматом. Зорко следит Кошкин: не идёт ли кто через границу? И я тоже смотрю, и Потап смотрит. Нет, никто не идёт.

На третьем часу у меня уже глаза устали. Одно и то же перед глазами: поляна, озеро, осока…

Осока?

Осока-то шевелится!

Не от ветра ли?

Нет, не от ветра — ветер не дует!

Смотрите-ка, по берегу человек ползёт!

В маскировочном халате!

А халат в серых, зелёных и коричневых пятнах, вот его и не видно!

Тут лоб у меня вспотел, а ноги похолодели. А он ползёт прямо на меня!

«Ну, — думаю, — ползи, халат! Ползи!»

Скоро он совсем близко к нам подполз. Я уже слышу, как он дышит.

Что делать?

Чувствую: нужно что-то крикнуть, а что крикнуть, не знаю. Забыл.

Вот он подползает так близко, что до него доплюнуть можно, я и говорю тогда:

«Попался, голубчик!»

И так хрипло это у меня получилось, как будто в горле была ржавая труба.

Ух, как он напугался! На колени встал и глаза выпучил, а меня не видит. И тут Потап выходит из кустов.

«Шарик, — говорит он Потапу, — это я, Рудик!»

А Кошкин кричит:

«Руки вверх!»

Но он руки вверх не поднял, стал ими по кар-

манам шарить — пистолет искать, но тут Потап навалился на него и мигом обработал. И мы с Кошкиным подбежали, связали голубка.

«Пустите, — говорит он, — я ведь просто так».

«Ничего себе „просто так“, — думаю. — А зачем халат напялил и два пистолета в карман положил?»

Подошёл я к пеньку, звоню командиру — так, мол, и так.

«Высылаю наряд, — говорит он. — Наблюдайте границу».

«Слушаюсь!»

Снова мы с Кошкиным замаскировались, а этого нарушителя — в кустики. Он и не пикнул.

И только мы успели всё это проделать, смотрю — другой ползёт!

— Бросьте! — не выдержал я. — Не может быть!

— Чтоб меня громом разразило! Точно! Второй ползёт, и тоже в халате!

«Ну, — думаю, — попёрло-то!»

Вот он подползает, и Кошкин кричит: «Стой!» А я Потапа выпускаю. У, Потап! Страшный пёс! Вскочил ему на спину, пасть разинул — ужас! Мы с Кошкиным подскочили и только успели этого связать…

— Третий ползёт? — не выдержал я.

— Нет, — сказал Галоша и посмотрел для чего-то на часы. — Третьего не было.

— Жаль, — сказал я. — Хорошо бы, если б был третий.

— А вы придумайте, — сказал Галоша. — Когда будете рассказ писать, вы придумайте, что был третий, и дело с концом.

— Посмотрим, посмотрим… — сказал я. — Придумать можно всё что угодно.

Глава седьмая, в которой Галоша становится красным как рак

— Придумать-то можно всё что угодно, — сказал я. — Интересно, что было на самом деле.

— А вот что, — сказал Галоша. — Не успели мы второго обезоружить — подоспел наряд, высланный капитаном.

— И всё?

— Так точно.

— Ну, спасибо вам, товарищ Галоша. Мне очень понравился ваш рассказ. Я сейчас запишу его в записную книжку. Может быть, вы хотите что-то добавить?

— Да нет, — сказал Галоша и опять посмотрел на часы. — Добавлять особенно нечего.

Тут он снял с головы колпак и подбросил его вверх, и не успел ещё колпак надеться ему на макушку, как дверь открылась и в комнату вошёл капитан Воронцов.

— Товарищ капитан! Разрешите доло…

— Вольно! — сказал капитан.

Капитан поглядел, что у меня записная книжка, и сказал:

— Собираете материал для рассказа!

— Да вот, — сказал я, — хочу записать кое-что о подвигах товарища Галоши.

— О подвигах? — удивился капитан. — Это о каких же?

— Как — о каких? — удивился теперь я и стал пересказывать капитану то, что слышал.

— Ай-яй, — сказал капитан. — Что это вы, товарищ Галоша, сочиняете?

Галоша сильно покраснел и сказал:

— А что же, товарищ капитан, разве и приврать нельзя?

— Нельзя!

— Слушаюсь!

— Можете идти, — сказал капитан, и Галоша, красный как рак, вышел за дверь.

Глава восьмая, последняя

Красный как рак Галоша вышел за дверь, а мы с капитаном закурили.

— М-да, — сказал я.

Капитан промолчал.

— Отъявленный врун ваш Галоша.

— Приврать он любит. Зато повар хороший.

— На границе и повар не должен зря болтать. Это никуда не годится.

Капитан Воронцов кашлянул.

— Ладно, — сказал он. — Придётся открыть секрет.

— Что такое? — удивился я. — Какой секрет?

— А вот какой. Сегодня на границе сложилась трудная обстановка. Понимаете? Нам нужно было, чтобы вы посидели пока дома. Вот я и дал товарищу Галоше особое задание — отвлечь вас, рассказать что-нибудь.

— Трудная обстановка? — удивился я. — Что же это за обстановка такая?

— А это секрет, — ответил Воронцов. — Военная тайна. Пойдёмте-ка лучше ужинать.

На улице была уже ночь.

Во дворе заставы на невысоком столбе горел фонарь. Под его светом несколько пограничников чистили автоматы.

«Трудная обстановка, — думал я. — Значит, и выстрел, который я слышал, был неспроста. И может быть, человек, который померещился мне на скале, был нарушитель!»

— Вообще-то, — сказал капитан, — всё, что рассказал Галоша, было на самом деле с Кошкиным и Молокановым.

— А насчёт сосисок?

— Насчёт каких сосисок? — удивился Воронцов.

— Ну, насчёт Потапа, — объяснил я.

Капитан засмеялся:

— Это тоже правда. Галоша сумел подружиться с Потапом, а потом приучил его работать с Молокановым. Кошкин и Молоканов задержали двух нарушителей.

Мы вошли в столовую. Там, за окошечком в деревянной стене, стоял Галоша. Увидев меня, он снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Прошу, — сказал Галоша.

Он поставил на стол несколько тарелок, и мы стали ужинать, а когда поужинали, капитан спросил:

— Ну, как ужин?

— Отличный! — ответил я.

— Выходит, наш Галоша молодец?

— Пожалуй.

После ужина капитан повёл меня в дежурную комнату. Там стояли два пограничника, а рядом сидел огромный пёс. Действительно, замечательный пёс! Я увидел, что грудь у него крепкая, как у волка, и уши — столбом. Это был Потап.

— Приказываю выйти на охрану государственной границы, — сказал капитан Воронцов. — Отправитесь по дозорной тропе на левый фланг нашего участка… Ваша задача: не допустить нарушения границы!

— Есть не допустить нарушения границы! — ответил старшина Кошкин и вышел на улицу.

Следом — Молоканов и собака Потап. С крыльца я видел, как они прошли перед освещёнными окнами заставы и пропали в темноте.

Белая лошадь

Прошла ночь.

Бледный рассвет поднялся над горой и осветил кругом горы, камни, скатившиеся со склонов, землю. Нашу и чужую.

Плавная тень выскользнула из ущелья и высоко в небе превратилась в слабую точку — неподвижного орла.

Чужая земля — вот она, близко. Такая же земля, как наша: коричневая, потому что наступила уже осень, завяла трава и стебли её высохли.

На самой вершине горы — пограничная вышка. Оттуда далеко видно: и чужую землю видно и нашу.

Видно, как горы стекают со своих вершин, переходят одна в другую.

Камни вокруг и камни, вялая трава, полосатые пограничные столбы… Пустынно.

Высоко стоит орёл в утреннем небе.

Серо и коричнево по горам. Только в одном месте, на пологом склоне, — зелёная полоса. Там бьёт из земли подкаменный ключ, и трава у ключа ещё не умерла от осенних ночных заморозков, держится, зеленеет до первого снега.

Ключ разливается по земле ручьём, и у ручья, в зелёном квадрате, медленно движется светлое пятно — белая лошадь.

Где-то внизу, в долине, она вырвалась из табуна и помчалась в горы. Вдоль самой границы бредёт лошадь, пасётся.

— Всё тихо, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

— Белая лошадь?

— Белая лошадь.

— Продолжайте наблюдение.

Вправо, влево, по склону, по ущелью, по нашей земле, по чужой ползут толстые стёкла бинокля. В них плывут каменные россыпи, крутобокий валун искривляется в гранях стекла. Близко перед глазами бродит лошадь.

Солнце приплыло к полудню.

Орёл переместился ниже, и видно теперь, что он совершает медленные круги над землёй.

В ущелье, из которого он поднялся утром, что-то мелькнуло.

Медленно-медленно чуть заметные пятна ползут краем расселины, хоронятся за гребнями камней.

В круглых стёклах бинокля они увеличились

— волки.

— Волки! — докладывает пограничник с вышки по телефону. — Идут по следу лошади.

Светлое пятно неподвижно в зелёном квадрате. Лошадь стоит у ручья, охваченная внезапным теплом осеннего солнца. Она покачивает головой, мерно покачивает головой в стёклах бинокля.

Волки приближаются к валуну. Он лежит на их пути к лошади.

Видно в бинокль, как первый волк дрогнул и подскочил вверх. Потом упал, ударил головой в землю. Метнулись в сторону два других волка, и скоро донёсся до пограничника на вышке слабый щелчок — выстрел.

— Старшина Кошкин убил волка, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — два других идут по следу лошади.

Светлое пятно выскользнуло из зелёного квадрата — лошадь мчится по высохшей земле.

Бьёт пена из её ноздрей, комья и камешки рвутся из-под копыт.

Волки ныряют в низинки, выносятся на бугры — чуть заметные точки, сплющенные пространством.

Мельтешат копыта, бешено мечется грива, и крутые колени, напряжённо согнутые в беге,

дрожат в круглых стёклах бинокля. Видно, как вздулись тяжёлые жилы на шее лошади.

Наша земля легко спустилась с горы, пролегла под полосатым столбом и поднялась вдали уже чужой горою.

Пограничник на вышке видит, что лошадь пересекла границу. Волки бегут чуть ли не вровень с лошадью, но теперь стрелять нельзя — чужая земля.

Это так незаметно. Только пограничный столб, повёрнутый к нам иностранным гербом, отмечает, что уже и шагнуть дальше нельзя.

Вдали, за столбом, видно селение. Прибитые к земле, сложенные из тёмных камней домики — каменные шалаши. Низкие крыши наплывают одна на другую. Это кочёвка. Летом здесь живут пастухи, а сейчас осень — пусто. Вспыхивает под солнцем у крайнего дома то ли осколок стекла, то ли след слюды на камне…

Голова лошади запрокинута. В ярости и страхе она уже не видит, как прыгнул волк, и не чувствует скользящего удара. Тонкой нитью пересекла бок лошади кровавая полоса. Второй волк прыгнул и сам отлетел, закувыркался под откос.

Пограничник на вышке ведёт бинокль: то в наклон, то вбок пересекаются склоны гор, то

вперёд, то назад ломаной линией проходит по ним граница.

То входит чужая земля клином в нашу, то наша — в чужую клином.

Белая лошадь бежит по прямой.

Вот она снова уже на нашей земле.

Видно в бинокль, как растёкся кровавый ручей на её боку.

Из щели между скал блеснуло холодом — волк покатился через голову, а второй закрутился на месте и пополз, пополз в сторону.

Автоматная очередь донеслась до наблюдателя на вышке, легко прошелестела и рассыпалась по склонам гор.

— Наряд Молоканова уничтожил волков, — докладывает пограничник по телефону.

Вскинув голову, мчится лошадь и долго ещё перекатывается мелкой точкой среди гор. Только у ручья в зелёном квадрате останавливается.

Видно в бинокль, как она катается по траве, поворачивается на спину…

Пограничник на вышке поводит бинокль вдоль воображаемой линии, тяжело лежащей на земле, — границы…

Круглые стёкла минуют каменные россыпи, натыкаются на полосатые столбы. В них вплывает

чужое селение, пустые горы вокруг.

Солнце доплыло до заката.

Орёл отлетел далеко, и уже только в бинокль видно, как стоит в небе неподвижная точка.

— Всё тихо, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

— Белая лошадь?

— Белая лошадь.

— Продолжайте наблюдение.

Чистый Дор
Рассказы

По лесной дороге

Солнце пекло уже которую неделю.

Лесная дорога высохла и побелела от пыли.

В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли её густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие, сухие лягушки.

Издалека я увидел: в придорожной канаве в кустах малины мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.

— Не иголку ли потеряли? — пошутил я, подойдя.

— Топор, батюшка. Вчера попрятала, да забыла, под каким кустом.

Я пошарил в малине. С коричневых мохнатых стеблей и с вялых листьев сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба.

— Вот он! — обрадовалась старушка. — А я-то думаю: не лесовик ли унёс?

— Какой лесовик?

— А в лесу который живёт. Страшный-то эдакий — бычьи бельмищи.

— Ну?

— Борода синяя, — подтвердила старушка, — а по ней пятнышки.

— А вы что, видели лесовика?

— Видела, батюшка, видела. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.

— Откуда ж он деньги берёт?

— Сам делает, — ответила старушка и пошла с дороги. Её платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под ёлками.

«Ну и ну!.. — думал я, шагая дальше. — Что же это за лесовик — бычьи бельмищи?»

Несмотря на солнечный день, темно было под ёлками. Где-нибудь в этой темноте, подальше от дороги, и сидит, наверно, лесовик.

Вдруг лес кончился, и я увидел большое поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня.

Голубые масленые волны бродили по полю. Это цвёл лён. Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон.

Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и, уж конечно, не думал, что стану жить здесь, снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика.

Чистый Дор

Лесная дорога пошла через поле — стала полевой. Дошла до деревни — превратилась в деревенскую улицу.

По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепа стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем.

Пока я шёл к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди: что это, мол, за человек идёт?

Я споткнулся и думал, в окошках засмеются, но все оставались строгими за стеклом.

Напившись, я присел на бревно у колодца.

В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты:

— Напился и сидит.

И окно снова закрылось.

Подошли два гусака, хотели загоготать, но не осмелились: что это за человек чужой?

Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную берёзовую жердь.

— Давайте пособлю.

— Это ты мне топор-то нашёл?

— Я.

— А я-то думала: не лесовик ли унёс?

Я взял жердь и потащил её следом за старушкой.

В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.

— Пантелевна, — сказала голова, — это чей же парень?

— Мой, — ответила Пантелевна. — Он топор нашёл.

Мы прошли ещё немного. Все люди, которые встречались нам, удивлялись: с кем это идёт Пантелевна?

Какая-то женщина крикнула с огорода:

— Да это не племянник ли твой из Олюшина?

— Племянник! — крикнула в ответ Пантелевна. — Он топор мне нашёл.

Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча поспевал за Пантелевной.

Встретилась другая женщина, с девочкой на руках.

— Это кто берёзу-то везёт? — спросила она.

— Племянник мой, — ответила Пантелевна. — Он топор нашёл, а я думала: не лесовик ли унёс?

Так, пока мы шли по деревне, Пантелевна всем говорила, что я ей племянник, и рассказывала про топор.

— А теперь он берёзу мне везёт!

— А чего он молчит? — спросил кто-то.

— Как так молчу? — сказал я. — Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унёс, а он в малине лежал. А я племянник ей.

— Давай сюда, батюшка племянник. Вот дом наш.

Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и бравые, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так дом Пантелевны стоял в конце и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подпёрты, блином покрыты.

Я бросил берёзу на землю и присел на лавочку перед домом.

— Как называется ваша деревня? — спросил я.

— Чистый Дор.

— Чего Чистый?

— Дор.

Дор… Такого слова я раньше не слыхал.

— А что это такое — Чистый Дор?

— Это, батюшка, деревня наша, — толковала Пантелевна.

— Понятно, понятно. А что такое дор?

— А дор — это вот он весь, дор-то. Всё, что вокруг деревни, — это всё и есть дор.

Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем — лес.

— Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.

— Это и есть дор. Чистый весь, глянь-ка. Это всё дор, а уж там, где ёлочки, — это всё бор.

Так я и понял, что дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдёргивали. Дёргали, дёргали — получился дор.

— Ну ладно, — сказал я, — дор так дор, а мне надо дальше идти.

— Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.

Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.

— Куда ж ты? — говорила Пантелевна и на следующее утро. — Живи-ка тут. Места в избе хватит.

Я подумал-подумал, послал куда надо телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как

получилось, но только прожил я у неё не день и не месяц, а целый год.

Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую.

Эту-то я пишу в Москве.

Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.

Стожок

У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него всё, что надо, — и куры, и корова.

— Свиньи вот только нету, — говорил дядя Зуй. — А на что хорошему человеку свинья?

Ещё летом дядя Зуй накосил в лесу травы и сметал стожок сена, но не просто сметал — хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

— Дед, — говорит Нюрка, — ты что ж сено-то из лесу не везёшь? Ай позабыл?

— Какое сено? — удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить.

Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит — стожок его снегом занесён.

Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом — нет лошади: ушла, прокля-

тая!

Побежал вдогонку — догнал, а лошадь не идёт к стогу, упирается.

«С чего бы это она, — думает дядя Зуй, — упирается-то?»

Наконец-таки запряг её дядя Зуй в сани.

— Но-о-о!..

Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места — полозья к земле крепко примёрзли. Пришлось по ним топориком постукать — сани тронулись, а на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

Дядя Зуй сбоку идёт, на лошадь губами чмокает.

К обеду добрались до дому, дядя Зуй стал распрягать.

— Ты чего, Зуюшко, привёз-то? — кричит ему Пантелевна.

— Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

— А на возу у тебя что?

Глянул дядя Зуй и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то, кривая да мохнатая морда выставилась с воза — медведь!

«Р-ру-у-у!..»

Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схва-

тил в зубы снегу и в лес побежал.

— Стой! — закричал дядя Зуй. — Держи его, Пантелевна.

Рявкнул медведь и пропал в ёлочках.

Стал народ собираться.

Охотники пришли, и я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

Паша-охотник говорит:

— Вон какую берлогу себе придумал — Зуев стожок.

А Пантелевна кричит-пугается:

— Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

— Да-а, — сказал дядя Зуй, — будет теперь сено медвежатиной разить. Его, наверно, и корова-то в рот не возьмёт.

Весенний вечер

Солнце повисело в осиновых ветках и пропало за лесом. Закат расплылся в небе.

Низко, в половину берёзы, над просекой пролетел большой ястреб. Он летел бесшумно, совсем не шевеля синими крыльями.

Я стоял на поляне, снега на которой почти не было. Только под высокими деревьями ещё холодели сугробы.

Дрозды-дерябы трещали и голосили на ёлках. Казалось, это еловые шишки трутся друг о друга зазубренными боками.

Я почувствовал странный запах, который шёл с земли. Из старой травы, из прелых листьев торчали какие-то короткие стебли. На них распустились небольшие сиреневые цветочки. Я хотел сорвать несколько, но стебли не поддавались, гнулись в руках и наконец лопнули, переломившись. Они оказались полыми — пустыми внутри.

От цветов пахло так приятно, что даже закружилась голова, но стебли их будто зашевелились в руке. Показалось, они живые и ядовитые.

Стало неприятно, и я отложил цветы на пенёк.

«Свис-с-с-с-с!..» — пронеслись над поляной чирки. Еле заметен в тёмном небе их серебряный след.

Сумрак поднялся с земли, стемнело, и тогда послышался хриплый и ласковый голос за берёзами:

«Хорх... хорх... хорх... хорх...»

Длинноклювая, с косыми крыльями птица вылетела из-за леса и пошла над поляной — «хорх... хорх...», — то ныряя вниз, то вскидываясь, как бабочка.

Вальдшнеп! Вальдшнеп тянет!..

Совсем стемнело, и я пошёл к дому.

Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи.

На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об неё.

Я шёл полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке.

Я не знал, как называются эти цветы.

Потом только узнал — волчье лыко.

Фиолетовая птица

Как-то в мае, когда снег уже потаял, я сидел на стуле, вынесенном из дому, и чистил ружьё.

Дядя Зуй сидел рядом на чурбаке и заворачивал махорочную самокрутку.

— Видишь ты, какие дела-то… — сказал он. — Куры у меня не ноские.

— Яиц не несут?

— Яйцо в неделю — разве ж это носкость?

Такого слова я вроде не слыхал. Чудное — сразу в нём и «нос» и «кость».

Сквозь ружейные стволы я глянул в небо. В них вспыхнули и нанизались одно на другое светлые оранжевые кольца, где-то в конце стволов слились в голубой пятачок — кусок неба.

— Я уж тут новую несушку купил, — толковал дядя Зуй. — У Витьки Белова. У него все куры ноские.

Дочистив ружьё, я пошёл поглядеть на новую несушку.

Три курицы бродили у Зуюшки во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья — необыкновенного фиолетового цвета. Но вела она себя нормально, говорила «ко-ко-ко» и клевала намя-

тую варёную картошку.

— Что это за масть у неё?

— Она белая, — сказал дядя Зуй. — Но, видишь ты, белые куры в каждом дворе, так я её чернилами приметил, чтоб не спутать.

— Гляди, станет она фиолетовые яйца носить.

Тут курица вдруг подошла ко мне и — хлоп! — клюнула в сапог.

— Пошла! — сказал я и махнул ногой.

Курица отскочила, но потом снова подбежала и — хлоп! — клюнула в сапог.

— Цыпа-цыпа, — сказал дядя Зуй, — ты что, холера, делаешь?

Тут я догадался, в чём дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овёс. Потом белил яблони, обкапал сапоги извёсткой. Каждый сапог превратился теперь в глиняный пирог с овсом и с извёсткой.

Фиолетовой несушке так понравились мои сапоги, что, когда я пошёл домой, она двинула следом.

На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она обклевала весь овёс и всю извёстку. Извёстка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была прочнее.

Обклевав сапоги, курица опрокинула банку с червями, накопанными для налимов, и принялась за них.

Тут я не выдержал, выскочил на крыльцо и схватил полено.

Взмахнув чернильными крыльями, она перелетела со страху весь двор и уселась на берёзе.

На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу. Издалека она узнала меня и подбежала, чтоб клюнуть в сапог.

Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна кончилась, грязь на дорогах подсохла. Как-то я шёл из леса и снова увидел на дороге свою знакомую.

А она-то даже и не поглядела на меня, пошла прочь.

«Что такое?» — подумал я.

Глянул на свои сапоги и увидел — нету сапог. Иду я по траве босиком — лето наступило.

Под соснами

Апрель превратился в май. Снега в лесу совсем не осталось, а солнце грело и грело. Оно меня совсем разморило после бессонной ночи на глухарином току.

Я шёл по болоту и время от времени бухался на колени в моховую кочку — собирал прошлогоднюю клюкву.

Перележав зиму под снегом, клюква стала синеватой и сладкой.

За болотом оказался бугор. Здесь росли десятка два сосен.

Я снял куртку, постелил её и прилёг под соснами.

Бугор сплошь был усыпан божьими коровками, как давешние болотные кочки клюквой. Мне это понравилось, но скоро я понял, что клюква лучше божьих коровок хотя бы потому, что она не двигается.

Напрасно я просил их улететь на небо и принести хлеба — божьи коровки ползали по лицу, забирались в волосы и за пазуху. Вначале я сощёлкивал их, а потом плюнул и, перевернувшись на спину, стал глядеть вверх.

Сосны уходили в небо.

Казалось, они растут прямо из меня, из моей груди.

Божьи коровки взлетали, и тогда было видно, как закручивается между стволов кирпичная и прозрачная точка.

Вверху дунул ветер. Сосна уронила шишку.

Шишка гулко ударилась о землю.

Я прикрыл глаза и задремал. Было слышно, как шумят сосновые ветки и далеко бубнят-бормочут тетерева.

Послышался приглушённый звук трубы.

«Лось, что ли? — подумал я. — Да нет, гон у лосей осенью».

Труба была еле слышна, но играла отчётливо, с переливами.

Звук её был медный, не лесной. Лось не умеет так трубить. У него голос — стон, глухой, хриплый, а этот будто неживой.

Очень тихо, незаметно за первой трубой вступила вторая. Её голос был ниже. Он помогал, подпевал первой.

«Что это за трубы? — думал я. — Не лось это и не журавель».

Солнце припекало, и я дремал, а потом и вовсе заснул и во сне уже сообразил, что звуки эти

доносятся из земли, из бугра. А бугор похож на огромный кривой барабан. Он ухает и глухо гудит, а совсем-совсем глубоко в земле слышатся переливы, будто кто-то струны перебирает.

Мне снилось, что сосны — это и есть медные музыкальные трубы, только корявые, обросшие ветками. Они трубят, медленно раскачиваясь надо мною.

Когда я проснулся, солнце опускалось. Ни звуков трубы, ни струнных переборов не было теперь слышно. Только на нижних ветках сосны бил зяблик.

Я приложил ухо к сосновому стволу: слышался шум, далёкий, как в морской раковине.

Спустившись с бугра, я пошёл к дому, а сам всё думал, что же это за звуки доносились из земли. Может быть, в бугре был подземный ручей — играл, захлёбывался весенней водой?

В тот день я добрался к дому под вечер, сразу пошёл в баню и, конечно, думать забыл о звуках, которые доносились из бугра.

Я бы и не вспомнил о них, если б не услышал вот какую историю.

Во время войны здесь, неподалёку от Чистого Дора, был бой.

Наши солдаты шли через лес и через болота, а

немцы обстреливали их из миномётов. Вместе со всеми шёл солдатский духовой оркестр.

Перед боем музыканты спрятали свои инструменты. На каком-то бугре среди леса они закопали в землю трубы и валторны, флейты, барабаны и медные тарелки. Чтоб не достались врагу.

Оркестр не достался врагу, но многие солдаты погибли в бою, а те, что остались живы, не смогли потом разыскать в лесу этот бугор.

А я-то теперь думаю, что как раз спал на том самом месте.

Около войны

До Чистого Дора немец не дошёл.

Но был он близко.

За лесом слышался рёв орудий и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а между вспышками сновали маленькие крестообразные самолёты.

Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые. Мужчины были на фронте, женщины эвакуировались.

Только в одном доме жили люди: тётка Ксеня с двумя детьми и Пантелевна. Они собрались жить вместе, чтобы не было так страшно.

Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось — немец подкрадывается, таясь за деревьями.

Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул:

— Открывай, что ли!

Женщины не стали открывать.

— Открывай! — снова крикнул человек с крыльца. — Я ведь замёрз.

Тётка Ксеня подошла к двери и спросила:

— Кто?

Это был Мохов-безрукий из соседней деревни, из Олюшина. Его не взяли на фронт.

— Что ж вы свечку не зажгёте? — сказал Мохов, входя в избу. — Темень у вас.

— Нету свечки, — сказала Пантелевна, — садись вот на сундук.

— Мохов, — сказала тётка Ксеня, — ты к нам жить перебирайся, страшно без мужика.

— Куда я из дому? У меня там тоже бабы с детьми. Вы к нам перебирайтесь.

— Нет, — сказала Ксеня, — тут наш дом.

Мохов достал из кармана горсть чернослива.

— Красноармейцы дали, — сказал он.

Тётка Ксеня повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам каждому в рот по сливине. Они дальше спали и сосали чернослив.

— Вот что, — сказал Мохов, — сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам насыплю картошки. У меня ещё осталась.

Мохов ушёл, а женщины снова глядели в окно до самого свету.

Утром они подняли детей и пошли в Олюшино.

За лесом сегодня не скрежетало и не было слышно взрывов.

— Бой кончился, — сказала тётка Ксеня, — только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно бы на нашей.

— А вдруг на его? — сказала Пантелевна.

— Он бы тогда сюда пришёл.

— Может быть, подкрадывается, — сказала Пантелевна.

Они поглядели за деревья, но никого не было видно — только снег лежал.

Просветлело.

Сизые перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса.

И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это.

— Бежим! — сказала Пантелевна.

Ей стало страшно: что это летит по небу?

Тёмный предмет выплывал из-за деревьев. Восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек. Только очень большой.

— Мужик! — крикнула Пантелевна.

А тётка Ксеня заплакала и села в снег. Она не

могла понять, как летит человек, и плакала, и крепко держала детей.

Огромный человек плыл над лесом.

Огромный, больше деревьев, стоящих под ним.

Он плыл-летел, лёжа на боку и поджав ноги.

Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развевались, и слышно было, как они трещат от ветра, дующего наверху.

Пантелевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а он молча плыл над лесом, над Чистым Дором.

Бежать было некуда, и Пантелевна остановилась.

Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла понять, мёртвый он или живой. И почему он такой большой? И зачем по небу летит?

В шинели его были видны большие дыры. И ещё была видна красная звезда, только не на шапке, а на плече.

— Не бойся! — крикнула Пантелевна, увидев звезду. — Это наш!

Но тётка Ксеня боялась поднять голову и поглядела наверх, только когда огромный солдат отплыл в сторону.

— Его, наверно, ранили, — сказала Пантелев-

на.

Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать.

Он отплывал в сторону, по-прежнему поджав колени и подложив под голову ладонь.

Лицо его было совсем серым.

Солнце поднялось выше, и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понёс его дальше.

Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он ушёл за лес на другой стороне Чистого Дора.

А женщины всё никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал по небу и как его убили. Они пошли дальше по дороге в Олюшино и ждали, что по небу поплывут новые огромные люди. Но небо было пусто.

А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал медленно опускаться и наконец лёг на верхушки елок.

Он сделался меньше и постепенно сползал с ёлок на землю.

Какие-то запутанные верёвки протянулись от него по ёлочным верхушкам, куски толстой материи нависли на ветках, ссыпали с них снег.

Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолёт налетел на него, переломил себе

крыло и разбился об землю. От удара самолёта аэростат тоже получил пробоину, опустился к земле, выпустив через дырку часть газа.

Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека, и утреннее солнце призрачно осветило его. Ни тётка Ксеня, ни Пантелевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты.

— Как жалко-то его! — сказала Ксеня. — Такой был большой, а не уберёгся. Снаряд, наверно, в него попал.

— Ему бы затаиться, — сказала Пантелевна, — а он эвон куда — по небу поплыл.

Берёзовый пирожок

Братья Моховы с Нюркой пошли в лес по ягоды, а я так пошёл, сам по себе.

И хоть шёл я сам по себе, а они по ягоды — всё равно мы всё время оказывались рядом. Я иду, а сбоку то Нюрка выглянет, то какой-нибудь брат Мохов.

Заверну в сторону, чтоб побыть в тишине, а уж из кустов другой брат Мохов вылезает. Эти братья особенно надоедали — бидонами дрались, валуями кидались или вдруг начинали кричать:

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

Нюрка была потише, но, как дело до свинки доходило, тоже кричала изо всех сил:

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

— Эй! — крикнул я. — Кого вы там подкалываете?

— Свинку! — хором отозвались братья Моховы.

— Какую ещё свинку? Тащите её сюда!

Братья Моховы и Нюрка выскочили из кустов с бидонами в руках, никакой свинки видно не было.

— А свинка где? — строго спросил я.

— Вот, — сказала Нюрка и протянула мне травинку, на которую нанизаны были земляничины.

— Земляника, — сказал я.

— Земляника, — согласилась Нюрка. — Но только — свинка.

Я пригляделся и увидел, что ягоды, нанизанные на стебель, были особенно крупные, особенно спелые, чёрные от густой красноты. Снял ягоду со стебля, положил в рот и понял, что и вкус у неё особенный. У простой земляники — солнечный вкус, а тут — лесной, болотный, сумрачный.

Долго, видно, зрела эта ягода, набиралась солнца и сока, сделалась лучшей из земляничин.

Я нашёл подходящую травинку, выдернул из неё стебель и вместе с ребятами стал собирать ягоды и покрикивать:

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

Скоро травинка моя стала тяжёлой от нанизанных на неё земляничин. Приятно было нести её, помахивать ею, разглядывать.

К обеду бидоны у ребят были полны, и я подколол свинки травинок пять. Присели отдохнуть. Тут бы и перекусить, а никто из нас не взял в лес

ни сухаря, ни лепёшки.

— Надо свинку рубануть! — кричали братья Моховы.

— Что собрали — домой понесём, — сказала Нюрка. — Погодите, я сейчас пирожков напеку.

Она сорвала с берёзовой ветки листок, завернула в него пяток земляничин и первому, как старшему, протянула мне.

— Что это? — спросил я.

— Берёзовый пирожок. Ешь.

Очень вкусным оказался берёзовый пирожок. Земляникой от него пахло и солнцем, лесным летом, глухим лесом.

Лесовик

Я плыл по Ялме.

Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от Чистого Дора, вместе с речкой углубился в лес.

Вода под лодкой чёрная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают.

Захотелось что-нибудь спеть, просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает! Услышит, как я хорошо пою, — выйдет на берег. Размечтался я и грянул:

Ой, когда мне было лет семнадцать,
Ходил я в Грешнево гулять…

Допел первый куплет и уже хотел за второй взяться — вдруг слышу:

— Ты чего орёшь?

Вот тебе на! Оказался кто-то на берегу. Только не девушка. Голос грубый, болотный.

Огляделся — не видно никого в берегах. Кусты.

— Чего головой крутишь? Ай не видишь?

— Не вижу чтой-то, дядя.

— А не видишь, так и не видь.

— Эй, дядя, — сказал я, — да ты кустиком пошевели!

Молчит.

Ну, глупое положение!

Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету.

Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло!

Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, чёрный, вода в реке чёрная, и стрекозы над ней чёрные. Какие тут девушки? Какая малина? Ударил я веслом — и ходом к дому, в Чистый Дор, к Пантелевне.

— Ну, батюшка, — сказала Пантелевна, — спасибо, жив остался. Он бы тебя в болото завёл.

— Кто?

— Лесовик! Знаешь, как он Мирониху-то водил? Иди, говорит, сюда, девушка, я тебе конфетку дам. А Мирониха по глупости идёт за конфеткой. А он ей в руку впился и в болото тянет. Тут матушка Мирониха помирать начала. Во́ ведь как бывает.

Не стал я спорить с Пантелевной, а Мирониху, конечно, знал. Как придёт вечером, обязательно что-нибудь приврёт.

Месяц прошёл с тех пор, и я забыл про лесовика.

А как в августе рыжики-то пошли — вспомнил.

С дядей Зуем отправились мы за рыжиками. Босиком.

Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком — ногами ищут. Вот ведь история! А делается это для того, чтоб найти в траве самый маленький рыжик. Руками шарить — коленки протрёшь. Главная задача — найти такой рыжик, чтоб он в бутылочное горлышко пролезал. Подберёзовики и маслята солят в бочках, а рыжики — только в бутылках. Насолишь на зиму бутылочек двадцать, потом только вытряхивай.

Я-то вначале ходил собирать в сапогах, на месте разувался. А потом плюнул — ходишь, как неумный, с сапогами в руках. Стал было ходить в одном сапоге — как-никак одна нога рабочая, — но и это бросил: задразнили.

С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много.

Зуюшко ногой строчит, как швейная машина «Зингер», а я осторожно собираю. Еле-еле ногой шарю — боюсь змею собрать.

За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Медленно-медленно высовывается из куста длинная палка. А на конце ее приделан острый кривой нож. И вот этот нож

тянется ко мне!

Тут у меня сердце зашлось. Стою столбом, а нога сама по себе рыжики ищет.

Кусты раздвинулись, и из листьев показался человечек, маленький, ростом с пень. Лесовик! В руках держит палку с ножом на конце, сам весь корявый, борода серо-синяя, а руки чёрные, как головешки. Смотрит на меня, ножовой палкой покачивает и говорит, как из дупла:

— Рыжики берёшь?

— Ага, — говорю я. — Рыжичков бы нам.

— Нам бы рыжичков, — сбоку говорит дядя Зуй. — В бутылочку.

— В каку таку бутылочку?

— А в поллитровочку, для прелести посола.

— Ага, — говорит лесовик и башкой кивает. — Сей год рыжичков много, прошлый меньше было. А махорки у вас нету ли?

— Есть, — говорит дядя Зуй. — Есть махорка.

Лесовик сел на пень и стал самокрутку крутить. Тут я его как следует разглядел: всё верно, точно такой, как Пантелевна рассказывала, только что-то клыков не видно.

Дядя Зуй подошёл к пню и говорит:

— А вы каким промыслом занимаетесь?

— Живицу я собираю, — говорит лесовик. —

Смолку сосновую. Я насквозь просмолённый, как птица клёст. Руки мои ни за что не отмоешь, вон и в бороду смола накапала.

Тут мне всё стало ясно. Часто в лесу я видел сосны с насечками на стволах. Эти насечки делаются уголками, одна над другой. Смола перетекает из насечки в насечку, а потом капает в баночку. Смола эта и называется «живица», потому что она рану на стволе дерева заживляет.

Я даже огорчился, что лесовик смоловиком оказался, спрашиваю дальше:

— А это что за палка у вас страшная?

— Это палка-хак. Этой палкой-хаком я делаю насечки на сосне, чтобы живица выступила.

— А сосна не мрёт ли от вашей работы? — спрашивает дядя Зуй.

— Не, — говорит смоловик, — пока не мрёт.

Дали мы смоловику ещё махорки и пошли дальше. А когда уже разошлись, я вспомнил: надо было спросить, не он ли окликал меня, когда я в лодке плыл…

Вечером всю эту историю я рассказал Пантелевне. Так, мол, и так, видел лесовика.

— Э, батюшка, — сказала Пантелевна, — да разве ж это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмищи свои пучит да деньги делает.

Железяка

Безоблачной ночью плавает над Чистым Дором луна, отражается в лужах, серебрит крытые щепой крыши. Тихо в деревне.

С рассветом от берега Ялмы раздаются глухие удары, будто колотит кто-то в заросший мохом колокол. За вербами темнеет на берегу кузница — дощатый сарай, древний, закопчённый, обшитый по углам ржавыми листами жести. Отсюда слышны удары.

Рано я выхожу на рыбалку. Темно ещё, темно, и странно выглядит этот сарай в пасмурном ольховнике.

Вдруг открывается дверь, а там — огонь, но не яркий, как пламя костра, а приглушённый. Такого цвета бывает калина, когда её ударит мороз. Огненная дверь кажется пещерой, которая ведет, может быть, и внутрь земли.

Из неё выскакивает на берег маленький человек. В руках — длинные клещи, а в них зажата раскалённая драконья кость. Он суёт её в воду — раздаётся шипение похлеще кошачьего или гадючьего. Облако пара вырывается из воды.

— Здравствуй, Волошин, — говорю я.

В полдень, возвращаясь домой, я снова прохожу мимо. Вокруг кузницы теперь полно народу: кто пришёл за гвоздями, кто лошадь подковать.

Внутри пылает горн. Шурка Клеткин, молотобоец, раздувает мехи — выдыхает воздух в горн, на уголья. В самом пекле лежит железная болванка. Она так раскалилась, что не отличишь её от огня.

Длинными клещами Волошин выхватывает её, ставит на наковальню. Шурка бьёт по ней молотом, и болванка сплющивается, а Волошин только поворачивает её под ударами. Шурка Клеткин крепкий малый; плечи у него тяжёлые, как гири. Он — силач, а Волошин — мастер.

— Ну что, парень? — говорит мне Волошин. — На уху наловил ли?

Я вываливаю из сетки язей.

— Будет навар, — хрипло говорит Шурка Клеткин, разглядывая язей. — Во, блестят, ну прямо железяки!

У Шурки всё железяки. Трактор — железяка, ружьё — железяка, котелок — тоже железяка.

Шурка парень молодой, а голос у него хриплый, как у старого чугунного человека.

На берегу мы чистим язей. Чешуя брызгами разлетается под ножом, блестит в прибрежной

траве. Потом Волошин берёт клещами котелок и ставит его в середину горна, на самый жар.

К ухе дядя Зуй подоспел. Прикатил в кузницу колесо, старое да ржавое. Где он такое выкопал? Дядя Зуй любит Волошина, таскает ему разные железки. Шурка подошёл, пнул колесо сапогом.

— Барахло, — говорит. — Гнилая железяка.

— Гнилая? — обижается дядя Зуй. — Смотри, какие гаечки. Тут одних гаечек на паровоз хватит.

Волошин помалкивает, прикидывает, сгодится ли на что-нибудь это колесо.

Вот странное дело, никому не была нужна ржавая железяка, а теперь стоит в кузнице и с каждой минутой становится всё более ценной. Теперь это материал для мастера. Неизвестно, что сделает из неё Волошин, но что-нибудь обязательно сделает. И может быть, такую вещь, про которую и Шурка скажет: «Вроде ничего получилась железяка».

— А то сказал: гнилая! — горячится дядя Зуй. — Сам ты, Шурка, вроде железяки! Вон нос какой кривой.

Шурка обиделся, трогает нос пальцами — кривой ли?

Уха готова — кипит, клокочет. Пена выплёскивается из котелка на уголья, и пар от язевой ухи смешивается с кислым запахом кованого железа.

Волошин достаёт из шкафчика ложки. Всем — деревянные, Шурке — железяку.

Уху все едят внимательно. Задумываются — хороша ли?

Хороша!

Вишня

Во дворе зоотехника Николая стояла лошадь, привязанная к забору. Здесь же, на заборе, висело снятое с неё седло. Николай и бригадир Фролов стояли рядом.

— Что случилось? — спросил я.

— Да вот, — кивнул Николай, — погляди.

На боку лошади была рваная рана. Сильно текла кровь, капала в крапиву.

— Понимаешь, — стал объяснять мне Фролов, — кто-то проволоку натянул между столбами, колючую. А я на ферму гнал, спешил, не заметил и вот зацепился...

— Надо замечать, — сказал Николай и подобрал ватой стекающую кровь, залил рану йодом.

— Да как же, Коля, — сказал Фролов, — ведь я спешил, не видел проволоки этой.

— Надо было видеть, — сказал Николай.

Я стал шарить по карманам. Мне казалось, что где-то у меня должен был заваляться кусок сахару. И верно, нашёлся кусок сахару, облепленный табаком.

Николай приготовил уже иглу, шёлковую нитку и стал зашивать рану.

— Не могу! — сказал Фролов и отошёл в сторону. — Как по мне шьёт!

— Гонять лошадь он может, — сказал Николай, — а проволоку замечать он не может!

Лошадь, казалось, не чувствовала боли. Она стояла спокойно, но сахар брать с руки не стала.

— Терпи, терпи, — сказал ей Николай. — Сейчас кончу.

Лошадь наклонила голову к крапиве. Она прикрывала глаза и чуть вздрагивала.

— Гонять лошадь он может, — сказал Николай, — а поберечь её он не может!

Бригадир Фролов стоял в стороне и курил, отвернувшись.

— Всё, — сказал Николай.

Лошадь поняла это. Она обернулась поглядеть, что там у неё на боку. Тут я всучил ей кусок сахару. Она разгрызла его и стала обнюхивать моё плечо.

Фролов взял под мышку седло, отвязал лошадь и повёл её на конюшню.

Она шла в поводу спокойно, раскачиваясь с каждым шагом. Очень крепкая на вид и даже чуть округлая лошадь. Её звали Вишня.

Колобок

Я пошёл на рыбалку, а за мною увязался дядя Зуй.

— Ушицы похлебаю с тобой, и ладно, — сказал он.

У ивы, склонившейся над омутом, я закинул удочки, а дядя Зуй сел у меня за спиной — глядеть.

Дело шло к вечеру, и солнце спокойно плыло над лесом. Но потом из-за бугра выкатилась туча, пушистая и разлапистая. Солнце нырнуло в неё, как в чёрное дупло, и небо потемнело.

— Гроза идёт, — сказал дядя Зуй. — Домой надо бы бечь.

Тут у меня клюнуло. Я подсек, и леска запела, натянувшись. Медный язь засиял в глубине, упираясь, вышел на поверхность, плеснул-затрепыхался. Я подвёл его к берегу и выбросил в траву.

Зарница пронеслась по небу, грохнуло над головой, а язь подпрыгнул в траве.

Дождь вдруг ударил по воде сразу всеми каплями и с такой силой, будто сто язей шлёпнули хвостами о поверхность. Река закипела, заше-

велилась, молнии гнулись над нею, а в свете их прыгал в траве пойманный язь.

— Ну и дела! — бубнил дядя Зуй, накрывшись плащом. — Страшно-то как…

Внезапно дождь кончился. И засияло что-то на ветках ивы, и сполз с них, потрескивая, закачался в воздухе сверкающий колобок.

Он покатился к реке и вдруг подпрыгнул.

— Что?! — крикнул дядя Зуй. — Что это?

Колобок повис неподвижно в воздухе и чуть дрожал, колебался. Ослепительный свет его резал глаза, а кругом огненного колобка горела радуга.

Засияло всё: и река, и кусты молочая по берегам, и листья рогоза прорезались из воды, блестящие, как лезвия ножей.

Покачиваясь и кружась, колобок полетел над берегом, и шёл низко над кустами молочая, и взлетал, и стоял высоко, и обрывался белым яблоком, созревшим в небе.

Вдруг померк его свет.

Колобок раздулся и стал огромным чёрным шаром.

В нём вспыхнули лиловые жилы, и грохнул взрыв.

Мы бежали к дому.

Дядя Зуй, насквозь мокрый, еле поспевал за

мной.

— Что ж это? — кричал он. — Неуж атомная бомба?

— Шаровая молния.

— Шаровая? Да откуда она взялась?

— Не знаю! — кричал я через плечо. — Иногда во время грозы получаются такие шаровые молнии!

— Ага! — кричал дядя Зуй мне вдогонку. — Это, наверно, простая молния в клубок скрутилась! Ну дела!

Мы прибежали домой и сразу скинули мокрые рубахи, поставили самовар.

— Ну и дела! — твердил дядя Зуй. — Простая молния в клубок скрутилась. Чтоб я больше пошёл с тобой на рыбалку — ни за что!

Картофельный смысл

— Да, что ты ни говори, батюшка, а я картошку люблю. Потому что в картошке смыслу много.

— Да какой там особенный-то смысл? Картошка и картошка.

— Э-э… не говори, батюшка, не говори. Наваришь с полведёрочки — тут и жизнь вроде повеселей становится. Вот такой и смысл… картофельный.

Мы сидели с дядей Зуем на берегу реки у костра и ели печёную картошку. Просто так пошли к реке — поглядеть, как рыбка плавится, да и разложили костёр, картошечки поднакопали, напекли. А соль у дяди Зуя в кармане оказалась.

— А как же без соли-то? Соль, батюшка, я всегда с собой ношу. Придёшь, к примеру, в гости, а у хозяйки суп несолёный. Тут и неловко будет сказать: суп, дескать, у вас несолёный. А я уж тут потихоньку из кармана соль достану и… подсолю.

— А ещё-то ты чего носишь в карманах? И верно — они у тебя всё время оттопыриваются.

— Чего ещё ношу? Всё ношу, что в карманы влезает. Вот гляди — махорка… соль в узелочке…

верёвочка, если что надо подвязать, хорошая верёвочка. Ну, ножик, конечно! Фонарик карманный! Недаром сказано — карманный. Есть у тебя карманный фонарик, — значит, и положи его в карман. А это конфеты, если кого из ребят встречу.

— А это что? Хлеб, что ли?

— Сухарь, батюшка. Давно ношу, хочу кому из лошадей отдать, да всё позабываю. Смотрим теперь в другом кармане. Этот у меня карман поглубже. Нарочно так сделан… надставленный. Ну, это, конечно, отвёртка и пассатижи. Пара гвоздей, ещё махорка, мундштук… А вот ещё верёвочка, на случай если та коротка окажется. А это… хэ… ещё одна отвёртка. Откуда ещё-то одна? Ага, всё понял. Я про ту отвёртку забыл, ну и вторую сунул. Хочешь, тебе одну отдам?

— Мне-то на кой отвёртка? Стану я её таскать.

— А вдруг отвернуть чего понадобится?

— Да я тебя позову.

— Ладно, прямо ко мне беги, вместе и отвернём… Смотрим дальше — очки, читательские, а это очки — грибные. В этих очках я книжки читаю, а этими грибы ищу. Ну, вот и всё, пожалуй. Давай теперь ты показывай, что там у тебя в карманах? Интересно.

— Да у меня вроде и нет ничего.

— Да как же так? Ничего. Ножик-то, ножик есть небось?

— Забыл я ножик, дома оставил.

— Как же так? На речку идёшь, а ножик дома оставил?

— Я не знал, что мы на речку идём. Так думал: вышли погулять.

— Так ведь и я не знал, что мы на речку идём, а соль-то у меня в кармане оказалась. А без соли и картошка свой смысл теряет. Хотя, пожалуй, в картошке и без соли смыслу много.

Я выгреб из золы новую кривую картофелину. Разломил чёрно-печёные её бока. Белой оказалась картошка под угольной кожурой и розовой. А в сердцевине не пропеклась, захрустела, когда я откусил. Это была сентябрьская, совсем созревшая картошка. Не слишком велика, а ведь в кулак.

Летними дождями пахла непропечённая сердцевина, а корочка коричневая — раскалённой осенней землёй.

— Дай-ка соли-то, — сказал я дяде Зую. — Смысл надо бы подсолить.

Дядя Зуй сунул пальцы в ситцевый узелок, посыпал соли на картофелину.

— Смысл, — сказал он, — подсолить можно. А

соль к смыслу придача.

Далеко, на другом берегу реки, двигались в поле фигурки — заречная деревня копала картошку. Кое-где, поближе к берегу, подымался над ольшаником картофельный дым.

И с нашего берега слышались в поле голоса, подымался дым. Весь мир копал в этот день картошку.

Долго сидели мы с дядей Зуем на берегу, глядели на закат, на дальние леса и размышляли о великом осеннем картофельном смысле.

Кепка с карасями

Километрах в пяти от Чистого Дора, в борах, спряталась деревня Гридино. Она стоит на высоком берегу, как раз над озером, в котором водятся белые караси. В самом большом, в самом крепком доме под красною крышей живёт дядизуев кум.

— Кум у меня золотой. И руки у него золотые, и головушка. Его дядей Ваней зовут. Он пчёл держит. А карасей знаешь как ловит? Мордой!

Дядя Зуй сидел на корточках, привалясь спиною к печке, подшивал валенки и рассказывал о куме. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои, готовился к зиме. Шило и дратва меня плохо слушались, а Зуюшко уже подшил свои да Нюркины и теперь подшивал мой левый валенок. А я всё возился с правым.

— Морду-то знаешь небось? — продолжал дядя Зуй.

— Какую морду?

— Какой карасей ловят.

— А, знаю. Это вроде корзины с дыркой, куда караси залазят.

— Во-во! Поставит мой дорогой кум дядя Ваня морду в озеро, а караси шнырь-шнырь и залезают

в неё. Им интересно поглядеть, чего там внутри, в морде-то. А там нет ничего — только прутики сплетённые. Тут кум дёрг за верёвочку и вынимает морду. Кум у меня золотой. Видишь этот воск? Это кум подарил.

Воск был чёрный, замусоленный, изрезанный дратвой, но дядя Зуй глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум — воск подарил!

— Поедем проведаем кума, — уговаривал меня дядя Зуй. — Медку поедим, карасей нажарим.

— А что ж, — сказал я, перекусив дратву, — пойдём.

После обеда мы отправились в Гридино. Взяли солёных грибов, да черничного варенья Пантелевна дала банку — гостинцы. Удочки дядя Зуй брать не велел — кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой.

— К ночи вернётесь ли? — провожала нас Пантелевна. — Беречь ли самовар?

— Да что ты! — сердился дядя Зуй. — Разве ж нас кум отпустит! Завтра жди.

Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди ёлок. Дядя Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то совсем отставал.

— У него золотые руки! — кричал дядя Зуй мне

в спину. — И золотая голова. Он нас карасями угостит.

Уже под самый вечер, под закат, мы вышли к Гридино. Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды сбегали в низину, к озеру, яблоньки и огороды. Закат светил нам в спину, и стёкла в окнах кумова дома и старая берёза у крыльца были ослепительные и золотые…

Кум окучивал картошку.

— Кум-батюшка! — окликнул дядя Зуй из-за забора. — Вот и гости к тебе.

— Ага, — сказал кум, оглядываясь.

— Это вот мой друг сердечный, — объяснил дядя Зуй, показывая на меня. — Золотой человек. У Пантелевны живёт, племянник…

— А-а-а… — сказал кум, отставив тяпку.

Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под берёзой. Закурили…

— А это мой кум, Иван Тимофеевич, — горячился дядя Зуй, пока мы закуривали. — Помнишь, я тебе много про него рассказывал. Золотая головушка!

— Помню-помню, — ответил я. — Ты ведь у нас, Зуюшко, тоже золотой человек.

Дядя Зуй сиял, глядел то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три

золотых человека.

— Вот мой кум, — говорил он с гордостью. — Дядя Ваня. Он карасей мордой ловит!

— Да, — сказал кум задумчиво. — Дядя Ваня любит карасей мордой ловить.

— Кто? — не понял было я.

— Дак это кум мой дядя Ваня, Иван Тимофеевич! Это он карасей-то мордой ловит.

— А, — понял я. — Понятно. А что, есть караси-то в озере?

— Ну что ж, — отвечал кум с расстановкой. — Караси в озере-то, пожалуй что, и есть.

— А я хозяйство бросил! — кричал дядя Зуй. — Решил кума своего проведать. А дома Нюрку оставил, она ведь совсем большая стала — шесть лет.

— Дядя Ваня любит Нюрку, — сказал кум.

— И Нюрка, — подхватил дядя Зуй, — и Нюрка любит дядю Ваню.

— Ну что ж, — согласился кум, — и Нюрка любит дядю Ваню.

Разговор заглох. Закат спрятался в тёмный лесистый берег, но окна кумова дома ещё улавливали его отсветы и сияли, как праздничные зеркала.

— А у нас ведь и подарки тебе есть, — сказал

дядя Зуй, ласково глядя на кума и выставляя на стол подарки.

— И вареньица принесли? — удивился кум, разглядывая подарки.

— И вареньица, — подхватил дядя Зуй. — Черничного.

— Дядя Ваня любит вареньице, — сказал кум. — Черничное.

По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забренчали боталами — жестяными банками-колокольцами. С луговины поднялась пара козодоев и принялась летать над стадом, подныривать коровам под брюхо, хватая на лету мух и пауков. Из кумова дома вышла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно:

— Ночк, Ночк, Ночк, Ночк, Ночк…

— А что, кум, — спрашивал дядя Зуй, подмигивая мне, — где же у тебя морда-то? Не в озере ли стоит?

— Зачем в озере, — ответил кум. — Дядя Ваня починяет морду. Вон она стоит, морда-то, у сарая.

У сарая стояла морда, похожая на огромную бутыль, сплетённую из ивовых прутьев.

— Починяется морда, — с уважением пояснил мне дядя Зуй. — А другая не в озере ли, кум,

стоит?

— А другая, наверно что, в озере, — ответил кум, сомневаясь.

— Так не проверить ли? — намекнул дядя Зуй. — Насчёт карасей.

— Зачем же? — сказал кум. — Чего её зря проверять?

Закат окончательно утонул в лесах. Козодои всё летали над лугом, но уже не было их видно, только слышалась однообразная глухая трель.

— Ну, кум, — сказал дядя Зуй, — попробуй, что ли, волвяночек.

— Ну что ж, — вздохнул кум, — это, пожалуй что, и можно.

Он встал и задумчиво отправился в дом.

— Видал? — обрадовался дядя Зуй и снова подмигнул мне: — Начинается. Сейчас медку поедим.

Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку.

— А вот хлеба-то у нас нет, — смутился дядя Зуй, вытряхивая грибы в тарелку. — У нас, извиняюсь, магазин был, кум, закрыт…

— Да ладно, — вставил я. — Волвяночки и так хороши.

Мы попробовали грибков, похвалили их, покурили. Дядя Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые ещё облака.

— Не пора ли нам? — спросил я.

— Кум, — сказал дядя Зуй, — а ведь нам пора.

— Ну что ж, — сказал кум. — Спасибо, что погостили.

— Это, — сказал дядя Зуй, глядя на озеро, — вот друг-то мой интересуется карасей поглядеть. Белых. Золотых, говорит, видел, а белых чтой-то не попадалось.

— Ну что ж, — сказал кум. — Это верно, что карасей надо бы поглядеть. Давай кепку-то.

Он взял со стола Зуюшкину кепку и пошёл к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десяток полусонных карасей, вывалил их в кепку.

— На вот, — сказал он. — Тут и другу твоему поглядеть хватит, и Нюрке отнести, гостинца…

По каменистой тропинке, еле заметной в сумерках, мы спустились вниз, к лесу. Высоко над нами стояла теперь деревня Гридино. В окнах домов мерцали уже слабые огоньки, а высоко поднятый над кумовым домом скворечник ещё был освещён далёким закатом.

А в лесу была уже совсем ночь. Луна то появлялась над лесом, то запрятывалась в еловые ветки.

Дядя Зуй всё время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были ещё живые и шевелились в траве, выскальзывали из рук.

— Видал теперь белых-то карасей? — говорил дядя Зуй, снова укладывая их в кепку. — Это тебе не золотые. Золотых-то всюду полно, а белых поискать надо. Вот ведь какие караси! Белые! Прям как платочек.

Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинался за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их. Собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился:

— А ну их к черту!

Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой.

Издалека, с края леса, мы увидели огоньки Чистого Дора, и, пока шли полем, я всё старался разглядеть — спит Пантелевна или не спит. Горит ли огонь?

— А ведь Пантелевна, наверно, не спит, — сказал я. — Поджидает.

— Пантелевна-то? — подхватил дядя Зуй. — Конечно, не спит. Она ведь у нас золотая душа. Как раз к самовару поспеем.

Нюрка

Нюрке дядизуевой было шесть лет.

Долго ей было шесть лет. Целый год.

А как раз в августе стало Нюрке семь лет.

На Нюркин день рождения дядя Зуй напёк калиток — это такие ватрушки с пшённой кашей — и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.

— Купи конфет килограмма два, — говорит Пантелевна. — Подушечек.

— Ну нет, тут надо чего-нибудь посерьёзнее.

Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак — чувствуется в рюкзаке что-то тяжёлое, ёлки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Всё в нём цело, и стёкла есть, и окуляры крутятся.

Протёр я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навёл его на дядизуев двор. Хорошо всё видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собирает, дядя Зуй самовар ставит.

— Нюрка, — кричит дядя Зуй, — хрену-то накопала?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

— Накопала, — отвечает Нюрка.

Повесил я бинокль на грудь, зашёл в магазин, купил два кило подушечек и пошёл к Нюрке.

Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришёл в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принёс Нюрке пенал из берёсты. Этот пенал дед Мироша сплёл.

Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буковками: «Нюри».

Пришли ещё ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что-нибудь школьное: букварь, линейку, два химических карандаша, самописку.

Тётка Ксеня принесла специальное коричневое первоклассное школьное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из жёлтого кожзаменителя.

Братья Моховы принесли два ведра черники.

— Целый день, — говорят, — сбирали. Комары жгутся.

Мирониха говорит:

— Это нешкольное.

— Почему же нешкольное? — говорят братья Моховы. — Очень даже школьное.

И тут же сами поднавалились на чернику.

Я говорю Нюрке:

— Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому дарю тебе два кило подушечек и вот — бинокль.

Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

А Мирониха говорит, как будто бинокль первый раз видит:

— Это нешкольное.

— Почему же нешкольное, — обиделся я, — раз в него будет школьница смотреть!

А дядя Зуй говорит:

— Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на звёзды глядеть.

Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

Нюрка была весёлая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

А мы сели у окна, и долго пили чай, и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки.

Потом гости стали расходиться.

— Ну, спасибо, — говорили они. — Спасибо вам за огурцы и за калитки.

— Вам спасибо, — отвечала Нюрка, — за платье спасибо, за фартук и за бинокль.

Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у неё висел бинокль.

Шагах в десяти за нею шёл дядя Зуй и кричал:

— Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

— Ну-ну-ну… — кивала Пантелевна. — Какая молодец!

И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас первоклассница.

Около школы встретил Нюрку учитель Алексей

Степаныч. Он взял у неё цветы и сказал:

— Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем на крышу и будем на звёзды смотреть.

Дядя Зуй, Пантелевна, тётка Ксеня, Мирониха и ещё много народу стояли у школы и глядели, как идёт Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась.

Так и стала Нюрка первоклассницей. Ещё бы, ведь ей семь лет. И долго ещё будет. Целый год.

Бунькины рога

Пастуха чистодорского звать Васька Марей. Он ходит в резиновых сапогах, носит на плече сумку, в руках — кнут. Настоящий пастух.

Когда на закате он пригоняет стадо, за ним бегут братья Моховы и кричат:

Васька Марей!
Не корми
Комарей!

— Да как же не кормить-то их? — отвечает Васька. — Они же ведь кусаются.

Хозяйки Марея уважают.

— Кушай, Васенька, сытней, гляди веселей! — потчует его Пантелевна, когда он обедает у нас.

И Вася налегает на щи с мясом.

А обедает Вася в очередь. Сегодня — у нас, завтра — у Зуюшки, потом — у Миронихи, и пошло, и пошло. Каждый день — в новом доме.

Кормить его стараются как можно лучше, чтоб дело своё знал. Кормят и дело втолковывают:

— Ты уж, Вася, за Ночкой-то моей доглядай как следовает.

— Ладно, — кивает Вася. — Не печалься, Пантелевна. Я за твоей Ночкой во как доглядаю!

Часто в лесу я натыкался на стадо, но ни разу не видел, чтоб Вася особенно доглядал. Скотина сама по себе ходит, а Вася спит в бузине — сны доглядает.

— Вась! Вась! Коровы ушли!

— Что? Ах, чёрт! — вскакивает Вася. — Куда-а-а?

Потом видит меня и говорит:

— Ну перешорохал ты меня!.. Давай закуривай.

Перешорохал — значит напугал.

Но однажды Вася крепко перепугался. Из-за быка. Бык чистодорский очень злой. Глаза наливные, как яблоки. Звать Буня.

Он даже траву-то страшно жрёт. Жамкнет, жамкнет и подымает голову — нет ли кого рядом, чтоб забодать.

Он многих бодал: Туголукова бодал, деда Мирошу. Бригадира Фролова бодал, но не забодал — бригадир в трактор спрятался, в ДТ-75. А Буня в кабинку глядит и широким языком стекло лижет.

На другой день бригадир пошёл к зоотехнику Николаю.

— Что, — говорит, — хочешь делай, надо Буньке

рога спилить.

Николаю рога пилить не хотелось.

— У меня такой пилы нет. Надо специальную роговую пилу. Ножовкой их не возьмёшь.

— Подыщи какой-нибудь лобзик, — говорит Фролов. — Что касаемо меня или деда Мироши, — пускай бодает. Но вот скоро к нам комиссия приедет. Что, как он комиссию забодает? Будешь тогда отвечать.

Гибель комиссии Николая напугала.

— Ладно, — говорит, — найду лобзик.

И на другой день зазвал к себе вечером Ваську Марея. Стал пельменями угощать. Потом говорит:

— Вася, надо рога пилить.

— Какие, — Вася говорит, — рога?

— Бунькины.

Вася пельмени доел и говорит:

— Нет.

— Вася, он комиссию забодает.

— Пускай бодает, — говорит Вася. — Мне комиссии не жалко.

Так Вася и не согласился. Тогда Николай стал Туголукова уговаривать, плотника.

— Ладно, — говорит Туголуков, — я согласен. Я — человек, Бунькой боданный.

Вечером завели Буню в загон с толстой изгородью. Он как вошёл, сразу понял — дело нечисто. Взревел так, что сразу все собаки отозвались. Задрал Бунька хвост и пошёл по кругу. Разогнался — ударил грудью в изгородь. Изгородь выдержала, а Туголуков на рога верёвку накинул, прикрутил бычью башку к изгороди. Потом и ноги ему связал — стреножил. Только хвост у Буни свободный остался, и этим-то хвостом он всё-таки съездил Туголукова по уху.

Николай залез на изгородь, достал свой лобзик, и вдруг над самым ухом у него — трах! — выстрел. Трах! Трах!

— Слезай с изгороди! Всех перестреляю!

Васька Марей бежит, кнутом стреляет.

— Не дам быка пилить!

— Да что ты, Вася? — говорит Николай. — Рога опасны.

— Ничего-ничего, — говорит Вася, — их можно и стороной обойти.

Так и не дал спилить Буньке рога. И правильно сделал. Хоть и злой бык, зато настоящий. Чистодорский. Уважаемый.

Выстрел

Школа у нас маленькая.

В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате четыре класса.

В первом — одна ученица, Нюра Зуева.

Во втором — опять один ученик, Федюша Миронов.

В третьем — два брата Моховы.

А в четвёртом — никого нет. На будущий год братья Моховы будут.

Всего, значит, в школе сколько? Четыре человека. С учителем Алексей Степанычем — пять.

— Набралось-таки народу, — сказала Нюрка, когда научилась считать.

— Да, народу немало, — ответил Алексей Степаныч. — И завтра после уроков весь этот народ пойдёт на картошку. Того гляди, ударят холода, а картошка у колхоза невыкопанная.

— А как же кролики? — спросил Федюша Миронов.

— Дежурной за кроликами оставим Нюру.

Кроликов в школе было немало. Их было больше ста, а именно — сто четыре.

— Ну, наплодились... — сказала Нюрка на сле-

дующий день, когда все ушли на картошку.

Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы, между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчёлы.

Но почему-то казалось, что они жужжат!

Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке.

Дежурить Нюрке было нетрудно.

Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей: мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы.

Потом Нюрка выметала клетки. Кролики пугались веника, по́рхали от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву, в загон, огороженный сеткой.

Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы всё было в порядке.

Нюрка прошлась по школьному двору — всё было в порядке. Она зашла в чулан и достала сторожевое ружьё.

«На всякий случай, — думала она. — Может быть, ястреб налетит».

Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят.

Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко, на картофельном поле, были видны люди. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.

Нюрка сидела на заборе, когда подошёл Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке.

— Перестань жужжать, — сказала Нюрка.

Витя перестал.

— Видишь это ружьё?

Витя приложил к глазам кулаки, пригляделся, как бы в бинокль, и сказал:

— Вижу, матушка.

— Знаешь, как тут на чего нажимать?

Витя кивнул.

— То-то же, — сказала Нюрка строго, — изучай военное дело!

Она ещё посидела на заборе. Витя стоял неподалёку, желая пожужжать.

— Вот что, — сказала Нюрка. — Садись на крыльцо, сторожи. Если налетит ястреб, кричи изо всех сил, зови меня. А я сбегаю за ботвой для кроликов.

Витя сел на крыльцо, а Нюрка убрала в чулан ружьё, достала порожний мешок и побежала в поле.

На краю поля лежала картошка — в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы.

Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась: далеко ли ребята? Они были далеко, даже не разобрать, где Федюша Миронов, а где братья Моховы.

«Добежать, что ль, до них?» — подумала Нюрка.

В этот момент ударил выстрел.

Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей: Витя лежит на крыльце весь убитый.

Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки на спине, картофелина вылетела из ведра, хлопнулась в пыль, завертелась, как маленькая бомба.

Нюрка вбежала на школьный двор и услышала жужжание. Ружьё лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная всё-таки это была палочка. На конце — сургучная блямба, на ней петлёю затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой — конский волос тёрся о сургуч: жжу…

— Кто стрелял? — крикнула Нюрка.

Но даже и нечего было кричать. Ясно было, кто стрелял, — пороховое облако ещё висело в бузине.

— Ну, погоди! Вернутся братья Моховы! Будешь знать, как с ружьём баловать!.. Перестань жужжать!

Витя перестал.

— Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?

— По ястребу.

— Ври-ври! Ястреб над птичником кружит.

Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела.

— Он в крапиве лежит.

Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных перьях были видны дырки от дробин.

Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его. Она подумала: может быть, кто-нибудь из взрослых зашёл на школьный двор. Да нет, все взрослые были на картошке.

Да, видно, ястреб просчитался.

Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И вот теперь — бряк! — валялся в крапиве.

С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба.

— Он будет космонавтом! — кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине.

А Федюша Миронов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал:

— Молодец! Молодец!

— А мне ястреба жалко, — сказала Нюрка.

— Да ты что! Сколько он у нас кроликов потаскал!

— Всё равно жалко. Такой красивый был!

Тут все на Нюрку накинулись.

— А кого тебе больше жалко, — спросил Федюша Миронов, — ястреба или кроликов?

— И тех и других.

— Вот дурёха-то! Кроликов-то жальче! Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька. Чего ж ты молчишь?

Витя сидел на крыльце и молчал.

И вдруг все увидели, что он плачет. Слёзы у него текут, и он совсем ещё маленький. От силы ему шесть лет.

— Не реви, Витька! — закричали братья Моховы. — Ну, Нюрка!

— Пускай ревёт, — сказала Нюрка. — Убил птицу — пускай ревёт.

— Нюрка! Нюрка! Имей совесть! Тебя же поставили сторожить. Сама должна была убить

ястреба.

— Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его, он бы улетел.

Нюрка стала растапливать печку, которая стояла в саду. Поставила на неё чугун с картошкой.

Пока варилась картошка, ребята все ругались с ней, а Витя плакал.

— Вот что, Нюрка, — под конец сказал Федюша Миронов, — Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал — Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет!

Это были справедливые слова.

Но Нюрка ничего не ответила.

Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.

Вода с закрытыми глазами

С рассветом начался очень хороший день. Тёплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.

Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.

День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, тёрлись друг о друга солнечными боками, и лёгкий шелест слышен был на земле.

Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то всё кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.

Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течёт из-под холма ключевой ручей.

У ручья я увидел Нюрку.

Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся её портфель. В руке Нюрка держала

старую жестяную кружку, которая всегда висела на берёзке у ручья.

— Закусываешь? — спросил я, сбрасывая с плеч корзину.

— Воду пью, — ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.

— Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.

— Спасибо, не надо, — ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.

— Ты чего невесёлая? — спросил я.

— Так, — ответила Нюрка и пожала плечами.

— Может, двойку получила?

— Получила, — согласилась Нюрка.

— Вот видишь, сразу угадал. А за что?

— Ни за что.

Она снова глотнула воды и закрыла глаза.

— А домой почему не идёшь?

— Не хочу, — ответила Нюрка, не открывая глаз.

— Да съешь ты хлеба-то.

— Спасибо, не хочу.

— Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так не пойдёшь домой?

— Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.

— Из-за двойки?

— Нет, не из-за двойки, ещё кое из-за чего, — сказала Нюрка и открыла наконец глаза.

— Это из-за чего же?

— Есть из-за чего, — сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.

— Ну расскажи.

— Не твоё дело.

— Ну и ладно, — сказал я, обидевшись. — С тобой по-человечески, а ты… Ладно, я тоже тогда лягу и умру.

Я расстелил на траве куртку, улёгся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Ещё бы часок, полтора.

— Тебе-то из-за чего умирать? — спросила Нюрка.

— Есть из-за чего, — ответил я. — Хватает.

— Болтаешь, сам не зная… — сказала Нюрка.

Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжёлые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.

А день кончался. Давно уж миновал полдень, начинался закат.

Облака, подожжённые солнцем, уходили за горизонт.

Горела их нижняя часть, а верхняя, охлаждённая первыми звёздами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.

Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.

— Ты бы заплакал, если б я умерла? — спросила вдруг Нюрка.

Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.

— Да ты что, заболела, что ли? — забеспокоился наконец я. — Что с тобой?

— Заплакал бы или нет?

— Конечно, — серьёзно ответил я.

— А мне кажется, никто бы не заплакал.

— Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.

— За что меня любить? Что я такого сделала?

— Ну, не знаю… а только все любят.

— За что?

— Откуда я знаю, за что. За то, что ты — хороший человек.

— Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.

— А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рёв стоял? — сказал я.

Нюрка засмеялась.

— Это правда, — сказала она. — Рёв был бы жуткий.

— Давай уж поживём ещё немного, а? — предложил я. — А то деревню жалко.

Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.

— Открывай, открывай глаза, — сказал я, — пожалей деревню.

— Так вкусней, — сказала Нюрка.

— Чего вкусней? — не понял я.

— С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь — и ничего не заметишь. А так — куда вкусней. Да ты сам попробуй.

Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.

Вода в ручье была студёной, от неё сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:

— Погоди, не торопись. Глотни ещё.

Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных

озёр и болот, долгих дождей и летних гроз.

Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга.

Я глотнул ещё раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы — времени, когда вода закрывает глаза.

Клеёнка

Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеёнку.

Продавец Пётр Максимыч как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, чего он делает.

— Клеёнку, наверное, меряет, — толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньке. — Он вначале её всю перемеряет, сколько в ней метров-сантиметров, а потом продавать станет... Постой, ты куда, Мирониха, лезешь? Я первый стою.

— Кто первый? — возмутилась Мирониха, подлезая к самой двери. — Это ты-то первый? А я три часа у магазина стою, все ножки обтоптала! Он первый! Слезай отсюда!

— Чего? — не сдавался дядя Зуй. — Чего ты сказала? Повтори!

— Видали первого? — повторяла Мирониха. — А ну слезай отсюда, первый!

— Ну ладно, пускай я второй! Пускай второй, согласен.

— Что ты, батюшка, — сказала тётка Ксеня, — за Миронихой я стою.

— Эх, да что же вы, — огорчился дядя Зуй, — пу-

стите хоть третьим!

Но и третьим его не пускали, пришлось становиться последним, за Колькой Дрождевым.

— Слышь, Колька Дрождев, — спрашивал дядя Зуй, — не видал, какая клеёнка? Чего на ней нарисовано: ягодки или цветочки?

— Может, и ягодки, — задумчиво сказал Колька Дрождев, механизатор, — а я не видал.

— Хорошо бы ягодки. Верно, Коля?

— Это смотря какие ягодки, — мрачно сказал Колька Дрождев, — если чернички или бруснички — это бы хорошо. А то нарисуют волчию — вот будет ягодка!

— Надо бы с цветочками, — сказала тётка Ксеня, — чтоб на столе красота была.

Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеёнка была с цветочками.

— А то бывают клеёнки с грибами, — снова мрачно сказал Колька Дрождев, — да ещё какой гриб нарисуют. Рыжик или опёнок — это бы хорошо, а то нарисуют валуёв — смотреть противно.

— Я и с валуями возьму, — сказала Мирониха, — на стол стелить нечего.

Наконец дверь магазина загрохотала изнутри — это продавец Пётр Максимыч откладывал

внутренние засовы.

А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селёдками. Над нею, как чёрные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блистали банки с заграничными компотами, а на нижних, рядком, стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы.

В магазине пахло клеёнкой. Запах селёдки, макарон и постного масла был начисто заглушён. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской.

Сама клеёнка лежала посреди прилавка, и, хоть свёрнута была в рулон, верхний край всё равно был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.

— Ох, какая! — сказала тётка Ксеня. — Поднебесного цвета!

А другие женщины примолкли и только толпились у прилавка, глядя на клеёнку. Дядя Зуй дошёл до бочки с селёдками да и остановился, будто боялся подойти к клеёнке.

— Слепит! — сказал он издали. — Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет! Веришь или нет?

И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал смотреть на клеёнку в узкую щёлочку между век.

— Кажись, васильки нарисованы, — хрипло сказал Колька Дрождев, — хоть и сорная трава, но голубая.

Да, на клеёнке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на поле, только покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящие. А фон под ними был подложен белоснежный.

— Поднебесная, поднебесная, — заговорили женщины, — какая красавица! Надо покупать!

— Ну, Максимыч, — сказала Мирониха, — отрезай пять метров.

Продавец Пётр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы и почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.

— Пяти метров отрезать не могу, — сказал он, перестав чикать.

— Это почему ж ты не можешь? — заволновалась Мирониха. — Отрезай, говорю!

— Не кричи, — строго сказал Пётр Максимыч, чикнув ножницами на Мирониху, — клеёнки привезли мало. Я её всю измерил, и получается по полтора метра на каждый дом. Надо, чтоб всем

хватило.

Тут же в магазине начался шум, все женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мирониха.

— Отрезай! — наседала она на Петра Максимыча. — Кто первый стоит, тот пускай и берёт сколько хочет.

— Ишь, придумала! — говорили другие. — Нарежет себе пять метров, а другим нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем хватило.

— А если у меня стол длинный? — кричала Мирониха. — Мне полтора метра не хватит! Что ж мне, стол отпиливать?

— Можешь отпиливать, — сказал Пётр Максимыч, чикая ножницами.

Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мирониха побежала домой стол мерить. За нею потянулись и другие женщины.

В магазине остались только дядя Зуй да Колька Дрождев.

— Слышь, Колька, а у меня-то стол коротенький, — говорил дядя Зуй. — Нюрка сядет с того конца, я с этого — вот и весь стол. Мне клеёнки хватит, ещё и с напуском будет.

— А у меня стол круглый, — хмуро сказал Колька Дрождев, — а раздвинешь — яйцо получается.

Первой в магазин вернулась Мирониха.

— Режь метр восемьдесят! — бухнула она.

— Не могу, — сказал Пётр Максимыч.

— Да что же это! — закричала Мирониха. — Где я возьму ещё тридцать сантиметров?

— Да ладно тебе, — сказал дядя Зуй, — останется кусочек стола непокрытым, будешь на это место рыбьи кости складывать.

— Тебя не спросила! — закричала Мирониха. — Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!

— Ишь, ругается! — сказал дядя Зуй добродушно. — Ладно. Максимыч, прирежь ей недостачу из моего куска. Пускай не орёт. Пускай рыбьи кости на клеёнку складывает.

Продавец Пётр Максимыч приложил к клеёнке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в клеёнку, разрубая васильки.

— Бери-бери, Мирониха, — говорил дядя Зуй, — пользуйся. Хочешь её мылом мой, хочешь стирай. От этой клеёнки убыли не будет. Ей износу нет. Пользуйся, Мирониха, чашки на неё ставь, супы, самовары ставь. Только смотри будь осторожна с ней, Мирониха. Не погуби клеёнку!

— Тебя не спросила, — сказала Мирониха, взя-

ла, кроме клеёнки, селёдок и пряников и ушла из магазина.

— Твой кусок, Зуюшко, укоротился, — сказал Пётр Максимыч.

— Ладно, у меня стол маленький… Кто там следующий? Подходи.

— Я, — сказала тётка Ксеня, — мне надо метр семьдесят.

— Где ж я тебе возьму метр семьдесят? — спросил Пётр Максимыч.

— Где хочешь, там и бери. А у меня дети малые дома сидят, плачут, клеёнки хочут.

— Пускай плачут! — закричал Пётр Максимыч. — Где я тебе возьму?

Тётка Ксеня махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.

— Вот ведь дела, — сказал дядя Зуй, — с клеёнкой с этой! Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостачу, мне небось хватит. А то клеёнка, дьявол, больно уж хороша, женщине и обидно, что не хватает… Теперь-то довольна, что ль, тётка Ксеня, или не довольна? А клеёночка-то какая — прям искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь её на стол, а на столе — цветочки, ровно лужок… Кто там следующий? Манька Клеткина? А какой у тебя, Манька, будет стол?

— Не знаю, — тихо сказала Манька.

— Так ты что ж, не мерила, что ль?

— Мерила, — сказала Манька ещё тише.

— Ну, и сколько получилось?

— Не знаю. Я верёвочкой мерила.

Манька достала из кармана верёвочку, узлом завязанную на конце.

— Вот, — сказала она, — у меня такой стол, как эта верёвочка.

— Как верёвочке ни виться, — строго сказал Пётр Максимыч, — а концу всё равно быть.

Он приложил деревянный метр, померил Манькину верёвочку и сказал:

— Опять нехватка. Метр семьдесят пять.

— Эх, — махнул рукой дядя Зуй, — прирезай недостачу от моего куска, режь на всю верёвочку. А ты, Манька, горячие кастрюли на клеёнку не ставь, ставь на подложку. Поняла, что ль? Сделай подложку из дощечки.

— Поняла, — тихо сказала Манька, — спасибо, батюшка.

— Или того лучше, Манька. Ты ко мне забеги, я тебе готовую подложку дам… Кто следующий-то там?

Дело в магазине пошло как по маслу. Пётр Максимыч только чикал ножницами, и через десять

минут от дядизуевой клеёнки почти ничего не осталось.

Но эти десять минут дядя Зуй не терял даром. Он расхваливал клеёнку, жмурился от силы цвета, сомневался: не заграничная ли она?

— Ну, Зуюшка, — сказал наконец Пётр Максимыч, — у тебя осталось двадцать сантиметров.

— Чтой-то больно мало.

— Так выходит. Двадцать сантиметров тебе, полтора метра Кольке Дрождеву.

— Может, какие-нибудь есть запасы? — намекнул дядя Зуй. — Для близких покупателей?

— Запасов нету, — твёрдо сказал Пётр Максимыч.

— Видишь ты, нету запасов. Ну ладно, давай режь двадцать сантиметров.

— На кой тебе двадцать-то сантиметров? — хрипло сказал Колька Дрождев, механизатор. — Отдай их мне.

— Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то ещё Нюрка ругаться будет.

— Уж очень мало, — сказал Колька Дрождев. — Двадцать сантиметров, чего из них выйдет?

— Я из них дорожку сделаю, постелю для красоты.

— Какая там дорожка, больно узка. А Нюрке мы

конфет возьмём, чего ей ругаться?

— Это верно, — согласился дядя Зуй. — Когда конфеты — чего ругаться? Забирай.

— Если б валуи какие были нарисованы, — толковал Колька Дрождев, — я б нипочём не взял. А это всё ж васильки.

— Верно, Коля, — соглашался дядя Зуй. — Разве ж это валуи? Это ж васильки голубые.

— А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, с опёнками я б ещё взял.

— Ты, Колька, береги клеёнку-то, — наказывал дядя Зуй. — Не грязни её, да папиросы горящие не клади, а то прожжёшь, чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеёнку папирос — никакого вида, одни дырки прожжённые. Ты лучше, Колька, вообще курить брось.

— Бросил бы, — ответил Колька, заворачивая клеёнку, — да силы воли не хватает.

К ужину в каждом доме Чистого Дора была расстелена на столах новая клеёнка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стёкла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клеёночный запах — краски и сухого клея.

Конечно, через месяц-другой клеёнка обомнётся. Колька Дрождев прожжёт её в конце

концов горящей папиросой, пропадёт особый клеёночный запах, зато вберёт она в себя запах тёплых щей, калиток с творогом и разваренной картошки.

По-чёрному

Та банька, в которой жил с Нюркою дядя Зуй, была, как говорилось, старая. А неподалеку от неё, поближе к реке, стояла в крапиве другая банька — новая.

В старой-то дядя Зуй жил, а в новой — парился.

Иногда мелькала в его голове золотая мысль — переехать жить в новую баньку.

— Но где ж тогда париться? — раздумывал он. — Старая пирогами пропахла, жареной картошкой. В ней париться — дух не тот. Вот когда Нюрка вырастет, — мечтал дядя Зуй дальше, — да выйдет замуж, я её тогда в новую баньку перевезу, а сам в старой жить останусь.

— А где париться-то будешь? — спрашивал я.

— Третью срублю.

Каждую субботу рано утром подымался от реки к небу огромнейший столб дыма — это дядя Зуй затапливал свою баньку.

Топилась она по-чёрному. Не было у ней трубы — и дым валил прямо из дверей, а из дыма то и дело выскакивал или выбегал на четвереньках дядя Зуй, прокашливался, вытирал слёзы, хватал полено или ведро с водой и снова нырял в дым и

кашлял там внутри, в баньке, ругался с дымом, хрипел и кричал.

Дым подымался столбом, столб разворачивался букетом, сизым банным цветом подкрашивал облака, заволакивал солнце. И солнцу и облакам странно было видеть огромный дым, маленькую баньку и крошечного старика, размахивающего поленом.

Как только баня была готова, дядя Зуй прибегал к нам и кричал:

— Стопилась! Стопилась-выстоялась! Скорее! Скорее! А то жар упустим!

Я выскакивал из дому и бежал к реке, а дядя Зуй подталкивал меня, гнал, торопил:

— Скорее! Скорее! Самый жар упустим!

В предбаннике дядя Зуй стремительно раздевался и тут же начинал стремительно одеваться. Он скидывал обычную одежду, а надевал шапку, шинель и валенки. В шапке, в шинели и в валенках вкатывался он в парилку, чуть не плача:

— Упустили! Упустили самый жар!

Но жар в парилке стоял чудовищный. От раскалённой каменки полыхало сухим и невидимым огнём, который сшибал меня с ног. Я ложился на пол и дышал через веник.

— Холодно, — жаловался дядя Зуй, кутаясь в

шинель.

В парилке всегда было темно. Хоть и стоял на улице полный солнечный день, свет его не мог пробиться через оконце. Стена жара не пускала свет, и он рассеивался тут же, у окна.

А в том углу, откуда валил жар, тускло светились раскалённо-красные камни.

Зачерпнув ковшиком из котла, дядя Зуй кидал немного воды на камни — и с треском срывался с камней хрустящий колючий пар, и тут уж я выползал в предбанник.

Постанывая, жалуясь на холод, наконец и дядя Зуй выходил в предбанник, скидывал шинель.

— Давай подышим, — говорил он, и мы высовывали головы из бани на улицу, дышали и глядели на улицы Чистого Дора, а прохожие глядели на нас и кричали:

— Упустили или нет?

— Ещё бы маленько, и упустили, — объяснял дядя Зуй.

Мы парились долго, хлестали друг друга вениками, бегали в речку окунаться, и дядя Зуй рассказывал прохожим, рыбакам и людям, проплывающим на лодке, сколько мы веников исхлестали.

После нас в баню шли Пантелевна с Нюркой, а

мы с дядей Зуем пили чай, прямо здесь, у бани, у реки. Из самовара.

Пот лил с меня ручьями и утекал в реку.

Я бывал после бани красный и потный, а дядя Зуй — сухой и коричневый.

А Нюрка выходила из бани свеженькая, как сыроежка.

Подснежники

Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах — подснежники.

А сейчас не весна — сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега.

— Вон сколько навалило! — сказала утром Пантелевна. — Можно за дровами на санках съездить.

Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо её было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

Но только, хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

Санки были на чердаке — старые, берёзовые. Я достал их, отряхнул сенную труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под ёлками.

Смахнув с них снежную шапку, мы уложили

поленья на санки, затянули верёвкой.

Но-о, поехали!

Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади — глядела, не падают ли поленья.

Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось — и лес, и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими — зимними людьми. Вон Пантелевна идёт в резиновых сапогах, а кажется — в валенках; седые волосы из-под платка выбились — совсем зимняя старушка.

Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом — вот тебе на! Гриб! Моховик летний. Побурела зелёная шапка, лёгкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки — она хрустнула. Замёрз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нём замёрзли.

Я увидел ещё бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затоптался на месте, стал ещё грибы искать.

— Катись дальше, батюшка! — крикнула сзади Пантелевна.

— Грибы! — крикнул я и, бросив санную верёвку, пошёл к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они почернели, застыв.

— Брось ты эти грибы, — сказала Пантелевна, поглядев на маслята. — Они, верно, нехорошие.

— Почему нехорошие? Они просто замёрзли.

Но Пантелевна всё время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у неё переменилось — она стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться — сверху снег, и они совсем позамёрзли.

Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали — поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

— Положим их в суп, — сказал я.

— Да что ты, батюшка! — напугалась она. — Давай бросим их.

Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

— Чем это пахнет? Неуж грибами?

— Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

— Ну-ну-ну!.. — удивилась Мирониха. — Бу-бу-бу… Не стану я таку страмоту есть.

А ей никто и не предлагал.

Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

— Не стану я таку страмоту есть, — бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь. — Ну-ну-ну… Бу-бу-бу… — бубнила она, налегая на суп. — Страмота-то какая!

Мы помалкивали. Под конец только Пантелевна сказала:

— Добрые люди подосиновики да подберёзовики, а мы подснежники варим.

Последний лист

Всё лето провалялся в чулане ящик с красками, паутиной оброс.

Но когда наступила осень — вспыхнула по опушкам рябина, и налился медью кленовый лист, — я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес.

На опушке остановился, глянул вокруг — и горячими показались гроздья рябин. Красный цвет бил в глаза. А дрозды, перелетавшие в рябинах, тоже казались тяжёлыми, красными.

Так я и стал рисовать: рябины и в них перелетают красные тяжёлые дрозды.

Но рисунок не заладился. Горел-полыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было красно, будто выступила из земли кровь. А на рисунке всё оставалось бледным и сумрачным.

— Ты что это? — услышал я за спиной. — Никак, сымаешь?

Оглянулся: дядя Зуй идёт опушкой, в руках ведро с опятами.

— Снимают, Зуюшко, из фотоаппарата. А я рисую.

— Какой молодец-то! — сказал дядя Зуй. — Ну сымай, сымай!

Ушёл дядя Зуй, а я дальше стал рисовать, но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали!

«Нет, — думаю, — рисовать не моё дело. Возьму лучше завтра ружьё — и…»

«Ррружжжьё-о-о!..» — крикнул вдруг кто-то у меня над головой.

Я прямо оторопел. Гляжу — на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит:

«Ррружжжьё-о-о! Ррружжжьё-о-о! Т-р-р…»

Поглядел я, как сойка на рябине сидит, на осенний лес как следует глянул и совсем расстроился.

Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и сгоряча налепил его на рисунок.

— Ну ладно! Пойду завтра зайцев торопить…

Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал.

Зимним вечером пришёл ко мне дядя Зуй чаю попить.

— Ну и ну… — сказал он, показывая на рисунок, прислонённый к стенке. — Листок-то прямо как

живой.

— Он и есть живой — настоящий.

— Ловко, — сказал дядя Зуй. — Последний, значит, от осени остался. А это что?

— А это дрозды, Зуюшко. Красные, тяжёлые.

— Верно, — сказал дядя Зуй. — Тяжёлые-то какие! Рябины, наверно, нажрались.

Выпил дядя Зуй стакан чаю, другой налил и снова на рисунок посмотрел.

— Да, — сказал он, — самый лучший лес — осенний.

— Верно, — сказал я. — Что может быть лучше?

— Ещё бы! Идёшь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?

«Ну что же может быть лучше? — думал я. — Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний…»

Листобой
Рассказы

Капитан Клюквин

На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

Это был клёст-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещённым, как два кривых костяных ножа.

Лапы у него были белые, — значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

— Сиделый, сиделый, — уверял меня продавец. — С весны сидит.

А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

Дома я поставил клетку на окно, чтоб клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

Клёст сидел на своей жёрдочке торжественно и гордо, как командир на коне.

Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

Командир соскочил с жёрдочки, взмахнул клювом — семечко разлетелось на две половинки. А

командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль.

Какой удивительный у него клюв — крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя — вверх. Получается что-то вроде буквы «Х». Этой буквой «Х» клёст лихо хватает подсолнух — трах! — шелуха в стороны.

Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв и красный цвет, — клюква.

Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста — Капитан Клюквин.

Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

Капитан Клюквин спал неспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

«Цик…» — услышал я.

Потом ещё:

«Цик, цик…»

«Убогая песня, — думал я. — „Цик“, и всё. Маловато».

Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал цикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он пережидал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макароны!..»

Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиууууулиууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

Всё утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давлеными кедровыми

орехами и коноплёй.

Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зелёный, лесной, моховой.

И характер у Капитана был весёлый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки.

Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрёпанного воробья. Скоро от неё оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузинную жёрдочку — своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук.

Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чём дело, и отвернулся.

Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и лёгкое презрение ко мне.

«Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд.

Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клёст мигом разгрыз его.

— А теперь ещё, — сказал я и просунул в клетку новое семечко.

Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом.

Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

Один раз я случайно оставил клетку открытой.

Капитан сразу вылез из неё и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя

песней, а потом решился лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры — тёмные рыбки, рассечённые золотой полосой.

Подводный мир заворожил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а клёст полетел к окну.

Он ударился головой о стекло и, ошеломлённый, упал вниз, на крышу клетки…

В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл Пятый этюд Джульяни.

Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит — вроде ручеёк журчит. У меня ручейка не получалось; вернее, тёк он слишком уж медленно, но всё-таки дотекал до заключительного аккорда.

Капитан Клюквин отнёсся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищённо

цокал.

Но скоро он перешёл в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось зловещее цыканье Капитана.

Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, приноравливаясь к гитаре.

До этого мне казалось, что клёст поёт бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

Конечно, выглядело всё это не так уж прекрасно — корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришёл в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном доме детей железнодорожников.

Теперь ручеёк потёк более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда — печальной.

А я по-прежнему пилил одно и то же.

Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клёст сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашёл даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от неё крепко пахло смолой.

Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать её от грифа. Однако шишка — хе-хе! — была прикручена проволокой. Пришлось долбить её на месте.

Подождав, пока клёст хорошенько вгрызётся

в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

Капитан зарычал на меня.

Отделив гитару от стены, я плавно повлёк её по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

Левая рука моя медленно поползла по грифу, всё ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздражённо помахав крыльями, он пошёл пешком по грифу доколупывать свою шишку.

Ласково взял я первую ноту — задребезжала шишка, а клёст подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

Оканчивался месяц март.

С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

Иногда синицы садились на крышу клетки и

начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить москóвку за ногу.

Синицы увёртывались и хохотали.

Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

Тепло подействовало на Капитана неважно. С кислым видом сидел он на жёрдочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилётом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара — милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли Пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течёт подводная жизнь в тропиках.

В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

«Что ж, — думал я, — ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

В воскресенье отправились мы в парк.

В тени, окружённый ёлками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме — напрасно разыгрывал я Пятый этюд Джульяни.

«Дела неважные, — думал я. — Придётся, видно, отпустить Капитана».

Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

«Ладно, — решил я, — пусть сам выбирает».

И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками, повсюду натыкал еловых веток.

Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

Потом я вынес клетку на балкон, повесил её на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Клюквин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на ее крышу, клюнул зачем-то железный прут и… полетел.

С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья — и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

Стояли тёплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал Пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Клюквина.

Серая ночь

Стало смеркаться.

Над тайгой, над сумрачными скалами, над речкой с плещущим названием Вёлс взошёл узенький лисий месяц.

К сумеркам поспела уха. Разыскавши в рюкзаках ложки, мы устроились вокруг ведра, выловили куски хариуса и отложили в отдельный котелок, чтоб хариус остывал, пока будем есть уху.

— Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами!

Длинной можжевёловой ложкой я пошарил в глубине ведра — рука по локоть ушла в пар. Выловил со дна картошки и рыбьих потрохов — печёнки, икры, — потом зачерпнул прозрачной юшки с зелёной пеной.

— Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами! — повторил Лёша, запуская свою ложку в ведро.

— Садитесь с нами, садитесь с нами, Козьма да Демьян! — подтвердили мы.

Но в наших городских голосах не было уверенности, что сядут за уху Козьма да Демьян, а Лёша сказал так, будто они его слышат.

Костёр мы разложили на низком берегу Вёлса.

Наш берег весь завален грязными льдинами. Они остались от половодья — не успели потаять. Вот льдина, похожая на огромное ухо, а вот — на гриб груздь.

— Кто же это такие — Козьма да Демьян? — спросил Пётр Иваныч, который в первый раз попал в уральскую тайгу.

Уху Пётр Иваныч ест осторожно и почтительно. Голова его окутана паром, в очках горят маленькие костры.

— Это меня старые рыбаки научили, — ответил Лёша. — Будто есть такие Козьма да Демьян. Они помогают хариуса поймать. Козьму да Демьяна на уху звать надо, чтоб не обиделись.

По часам уже полночь, а небо не потемнело, осталось ясным, сумеречным, и месяц добавил в него холода и света.

— Это, наверно, белая ночь, — задумчиво сказал Пётр Иваныч.

— Белые ночи начнутся позже, — ответил Лёша. — Они должны быть светлее. Для этой ночи названья нет.

— Может быть, серебряная?

— Какая там серебряная! Серая ночь.

Подстелив на землю лапника, мы разложили спальные мешки, прилегли. Я уткнулся головой

в подножие ёлки. Нижние ветки её засохли, на них вырос лишай и свисает к костру, как пакля, как мочало, как белая борода.

Неподалёку, за спиной у меня, что-то зашуршало.

— Серая ночь, — задумчиво повторил Пётр Иваныч.

— Серая она, белая или серебристая, всё равно спать пора.

Что-то снова зашуршало за спиной.

Уха так разморила, что лень повернуться, посмотреть, что это шумит. Я вижу месяц, который висит над тайгой, — молодой, тоненький, пронзительный.

— Бурундук! — вдруг сказал Лёша.

Я оглянулся и сразу увидел, что из-за ёлки на нас смотрят два внимательных ночных глаза.

Бурундук высунул только голову, и глаза его казались очень тёмными и крупными, как ягода гонобобель.

Посмотрев на нас немного, он спрятался. Видно, на него напал ужас: кто это такие сидят у костра?!

Но вот снова высунулась глазастая головка. Легонько свистнув, зверёк выскочил из-за ёлки, пробежал по земле и спрятался за рюкзаком.

— Это не бурундук, — сказал Леша, — нет на спине полосок.

Зверёк вспрыгнул на рюкзак, запустил лапу в брезентовый карман. Там была верёвка. Зацепив когтем, он потянул её.

— Пошёл! — не выдержал я.

Подпрыгнув к ёлке, он вцепился в ствол и, обрывая когтями кусочки коры, убежал вверх по стволу, в густые ветки.

— Кто же это? — сказал Пётр Иваныч. — Не белка и не бурундук.

— Не знаю, — сказал Лёша. — На соболя не похож, на куницу тоже. Я такого, пожалуй, не видал.

Серая ночь ещё просветлела. Костер утих, и Лёша поднялся, подбросил в него сушину.

— Зря ты его шуганул, — сказал мне Пётр Иваныч. — Он теперь не вернётся.

Мы смотрели на вершину ёлки. Ни одна ветка не шевелилась. Длинные искры от костра летели к вершине и гасли в светлом сером небе.

Вдруг с вершины сорвался какой-то тёмный комок и раскрылся в воздухе, сделавшись угловатым, четырёхугольным. Перечеркнув небо, он перелетел с ёлки на ёлку, зацепив месяц краешком хвоста.

Тут мы сразу поняли, кто это такой. Это был летяга, зверёк, которого не увидишь днём: он прячется в дуплах, а ночью перелетает над тайгой.

Крылья у него меховые — перепонки между передними и задними лапами.

Летяга сидел на той самой ёлке, что росла надо мной. Вот сверху посыпалась какая-то шелуха, кусочки коры — летяга спускался вниз. Он то выглядывал из-за дерева, то прятался, будто хотел подкрасться незаметно.

Вдруг он выглянул совсем рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Глаза его, тёмные, расширенные, уставились на меня.

— Хотите, схвачу?

От звука голоса дрожь ударила летягу. Он свистнул и спрятался за ёлку, но тут же высунулся.

«Схватит или нет?» — думал, видно, летяга.

Он сидел, сжавшись в комок, и поглядывал на костёр.

Костёр шевелился и потрескивал.

Летяга соскочил на землю и тут заметил большое тёмное дупло. Это был сапог Петра Ивановича, лежащий на земле.

Удивлённо свистнув, летяга нырнул в голенище.

В то же мгновение я кинулся схватить сапог, но

летяга выскочил и побежал, побежал по вытянутой руке, по плечу и — прыгнул на пенёк.

Но это был не пенёк. Это было колено Петра Иваныча с крупной круглой чашкой.

С ужасом заглянув в пылающие очки, летяга закашлял, перепрыгнул на ёлку и быстро вскарабкался наверх.

Пётр Иваныч изумлённо ощупывал своё колено.

— Лёгонький какой, — хрипловато сказал он.

Перелетев на другую ёлку, летяга снова спустился вниз. Видно, притягивал его затухавший огонь костра, манил, как лампа летним вечером манит мотылька.

На меня напал сон. Вернее, не сон — волчья дрёма. Я то закрывал глаза и проваливался куда-то под еловый корень, то открывал их и видел тогда бороду лишайника, свисающую с веток, а за нею совсем посветлевшее небо и в нём летягу, перелетающего с вершины на вершину.

С первыми лучами солнца летяга исчез.

Утром, за чаем, я всё приставал к Петру Иванычу, просил подарить мне сапог, в котором побывал летяга. А Лёша сказал, допивая вторую кружку чаю:

— Не Козьма ли да Демьян к нам его подосла-

ли?

Лабаз

Всё лето геологи искали в тайге алмазную трубку. Но не нашли. Трубка пряталась от них в каменных россыпях, под корнями деревьев.

Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали собираться домой. Перед отъездом к начальнику партии пришёл завхоз по прозвищу Пахан-Метла.

— Остались продукты, — сказал он. — Сто банок сгущёнки, три пуда муки, мешок компота и ящик масла. Куда всё это девать?

— Надо поставить лабаз, — решил начальник.

А моторист Пронька, который крутился около разговора, сказал:

— Да зачем это надо — лабазы ставить? Давайте рубанём в темпе продукты, и все дела.

— Это интересно, — сказал начальник, — в каком же темпе рубанёшь ты сто банок сгущёнки и три пуда муки?

— В быстром, — не растерялся Пронька.

— Знаешь что, — ответил начальник, — сходи-ка на склад за гвоздями.

Пронька сходил за гвоздями. Пахан-Метла взял топоры да пилу, и за три дня срубили они в тайге

лабаз. Неподалёку от речки Чурол.

Лабаз получился вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он поставлен был на четырех столбах, а столбы выбраны с таким расчётом, чтоб медведь по ним не мог залезть. По толстому-то столбу медведь сразу залезет в лабаз. А полезет по тонкому — столб задрожит, избушка заскрипит наверху, медведь напугается.

По приставной лестнице наверх подняли продукты и спрятали их в лабаз. Потом лестницу убрали в кусты. А то медведь догадается, возьмёт да сам и приставит лестницу.

Геологи ушли, и лабаз остался стоять в тайге. Посреди вырубленной поляны он стоял, будто избушка на курьих ножках.

Через неделю пришёл к лабазу медведь. Он искал место для берлоги, глядь — лабаз.

Медведь сразу полез наверх, но столб задрожал под ним, зашатался, лабаз наверху страшно заскрипел. Медведь напугался, что лабаз рухнет и придавит его. Он сполз вниз и побрёл дальше. Лестницу он, видно, не нашёл.

Скоро в тайге начались снегопады. На крыше лабаза наросла пышная шапка, а ноги его утонули в снегу по колено. Теперь-то по плотному снегу можно бы добраться до двери лабаза, да

медведь уже спал.

Приходила росомаха, но не догадалась, как открыть дверь, полазила по столбам, посидела на крыше под холодным зимним солнцем, ушла.

А в конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дырку и всю весну жевали компот — сушёные яблоки, груши и чернослив.

Весной вернулись геологи. Но теперь искали они алмазную трубку в другом месте, в стороне от Чурола.

— Как там наш лабаз-то? — беспокоился Пахан-Метла.

— Стоит небось, — отвечал ему Пронька.

— Ты сходи-ка проверь. Да принеси сгущёнки, а то ребята просят.

Пронька взял мешок и ружьё и на другой день утром пошёл к лабазу на речку Чурол. Он шёл и посвистывал в костяной пищик — дразнил весенних рябчиков.

«Странная это штука, — думал Пронька, — алмазная трубка. Может быть, как раз сейчас она под ногами, а я и не знаю».

Пронька глядел на ёлки — нету ли рябчиков и под ноги поглядывал — не мелькнёт ли среди камушков какой-нибудь алмаз.

И вдруг — точно! Блеснуло что-то на тропе.

Пронька мигом нагнулся и поднял с земли курительный мундштук из черной кости с медным ободком.

«Во везёт! — подумал он. — Геологи трубку ищут, а я мундштук нашёл!»

Он сунул мундштук в карман, прошёл ещё немного и увидел на тропе нарты, запряжённые тремя оленями. На нартах сидел человек в резиновых сапогах и в оленьей шубе, расшитой узорами. Это был оленевод Коля, по национальности манси. Он жил с оленями в горах, но иногда заезжал к геологам.

— Здравствуй, Коля-манси, — сказал Пронька.

— Здравствуй, Прокопий.

— Твой мундштук?

Коля задумчиво поглядел на мундштук и кивнул. Пронька отдал мундштук, и Коля сразу сунул его в рот.

— Вот я думаю, — сказал Пронька, — далеко отсюда будет до Чурола?

Коля-манси задумался. Он долго молчал, и Пронька стоял, ожидая, когда Коля ответит.

— Хороший олень, — сказал наконец Коля, — три километра. Плохой олень — пять километров.

— Давай-ка подвези, — сказал Пронька и лёг на

нарты на расстеленную оленью шкуру.

Коля взял в руки длинный шест — хорей, взмахнул, и олени тронули. Видно, олени были хороши, бежали шибко, нарты скользили по весенней грязи легко, будто по снегу.

Быстро добрались они до Чурола, и Коля отложил хорей.

— Надо остановку делать, — сказал он. — Чай надо пить. У оленя голова болит.

— А чего она болит-то? — не понял Пронька.

Коля подумал, пососал маленько свой мундштук и сказал:

— Рога растут.

Из мешка, стоящего в нартах, Пронька взял пригоршню соли и пошёл к оленям. Они сразу заволновались, вытянули головы, стараясь разглядеть, что там у Проньки в кулаке.

— Мяк-мяк-мяк… — сказал Пронька, протягивая руку.

Отталкивая друг друга, олени стали слизывать с ладони соль. Они были ещё безроги и по-зимнему белоснежны. Только у вожака появились молодые весенние рога. Они обросли мягкой коричневой шерстью, похожей на мох.

«Не у него ли голова болит?» — подумал Пронька.

Он поглядел оленю в глаза. Большие и спокойные глаза у оленя были такого цвета, как крепко заваренный чай.

Они пили чай долго и вдумчиво. Коля молчал и только кивал иногда на оленей, приставлял палец ко лбу.

— Рога растут! — серьёзно говорил он.

— Дело важное, — соглашался Пронька. — Сейчас весна — всё кругом растёт.

Напившись чаю, они посидели немного на камушке, послушали, как бурлит Чурол.

— Теперь у оленя голова не болит, — сказал Коля.

— Конечно, — согласился Пронька. — Теперь ему полегче.

Коля сел в нарты, взмахнул шестом своим, хореем, — олени побежали по весенней тропе. Пронька помахал ему рукой и пошёл к лабазу.

Чурол ворчал ему вслед, ворочался в каменном русле, перекатывая круглые голыши.

«Ишь, разошёлся! — думал Пронька. — Ворочается, как медведь в берлоге».

Не спеша углубился Пронька в тайгу, и шум Чурола стал затихать, только иногда откуда-то сверху долетало его ворчание.

Из-за кустов увидел Пронька свой лабаз, и тут

в груди его стало холодно, а в голове — горячо. На корявых еловых ногах высился лабаз над поляной, а под ним стоял горбатый бурый медведь. Передними лапами он держался за столб.

Ничего не соображая, Пронька скинул с плеча ружьё и прицелился в круглую булыжную башку. Хотел уже нажать курок, но подумал: «А вдруг промажу?»

Пронька вспотел, и из глаз его потекли слёзы — он никогда не видел медведя так близко.

Медведь зарычал сильней и трясанул столб лапой. Лабаз заскрипел. В раскрытой его двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собою стал вылезать мешок муки.

«Мешок ползёт!» — ошеломлённо думал Пронька.

Мешок перевалился через порожек лобаза и тяжко шмякнулся вниз.

Когтем продрал медведь в мешке дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову, подхватывая её языком. Вмиг голова бурая окуталась мучной пылью и стала похожа на огромный одуванчик, из которого выглядывали красные глазки и высовывался ржавый язык.

«Карх...» — кашлянул медведь, сплюнул и отбросил мешок в сторону. Распустив пыльный

хвост, мешок отлетел в кусты.

Пронька осторожненько шагнул назад.

А наверху в лабазе по-прежнему что-то шевелилось и хрустело. Из двери высунулась вдруг какая-то кривая рука в лохматой варежке и кинула вниз банку сгущёнки.

Медведь подхватил банку, поднял её над головой и крепко сдавил. Жестяная банка лопнула. Из неё сладким медленным языком потекло сгущённое молоко.

Медведь шумно облизнулся, зачмокал.

«Кто же это наверху-то сидит?» — думал Пронька.

Сверху вылетели ещё две банки, а потом из двери лабаза выглянула какая-то небольшая рожа, совершенно измазанная в сливочном масле. Облизываясь, уставилась она вниз.

«Медвежонок! — понял Пронька. — А это внизу — мамаша».

Медвежонок тем временем спустился вниз и тоже схватил банку сгущёнки. Он сжал её лапами, но, как ни пыжился, не мог раздавить. Заворчав, медведица отняла банку, раздавила и лизнула разок. Потом отдала банку обратно.

Медвежонок негромко заурчал, облизывая сплющенную банку, как леденец. Подождав

немного, медведица рявкнула и лёгкими шлепками погнала его к лабазу.

И тут Проньке вдруг показалось, что медведица оглядывается и смотрит на него исподлобья.

Пятясь и приседая, отошёл Пронька несколько шагов и побежал.

Добежавши до Чурола, Пронька скинул с плеч мешок и ружьё, опустился на коленки и стал пить воду прямо из речки. В горле у него пересохло, по лбу катился пот, и сердце так колотилось, что заглушало Чурол.

«Ишь, до чего додумалась, сатана, — удивлялся Пронька, — медвежонка на столб сажает!»

Вода была ледяная, от неё ныли зубы, и глоталась она со звоном.

Пронька пил и вздрагивал, оглядывался назад: не бежит ли медведица?

Из тайги вылетела к реке кедровка, села на сухую пихту и принялась кричать, надоедливо и грубо, как ворона.

— Чего кричишь! — разозлился Пронька. — Проваливай!

Он подумал, что кедровка нарочно приваживает к нему медведицу. Поднял ружьё и подвёл медную мушку прямо под чёрное крыло с рассыпанным на нём белым горошком.

— Сейчас вмажу третьим номером, покричишь тогда!

Пока Пронька раздумывал, вмазать или нет, кедровка сообразила, что к чему, и улетела.

«Что ж делать-то теперь? — думал Пронька. — В лагерь с пустыми руками идти нехорошо, а к лабазу — страшно».

И тут пришла вдруг ему в голову лихая мысль: попугать медведицу.

Пронька поднял ружьё и сразу из двух стволов ударил в воздух. Не успел ещё заглохнуть выстрел, как Пронька крикнул во всё горло:

— Прокопий! Ты чего стрелял?

Помолчал и ответил сам себе басом:

— Глухаря грохнул!

— А велик ли глухарь-то?

— Зда-а-аровый, чёрт, килишек на пять!

От крика своего Пронька развеселился, его насмешило, как он ловко соврал про глухаря.

«Ладно, — решил он, — пойду обратно! Буду орать на весь лес, издали пугать медведицу. Устрою ей симфонию! Небось не выдержит, убежит».

Не спеша пошёл он к лабазу и действительно устраивал на ходу симфонию: стучал дубинкой по стволам деревьев, ломал сучки, выворачивал

сухие пихточки, которые крякали и скрежетали, а потом вытащил из ружья патроны и затрубил в стволы, как трубит лось во время гона.

— Эй, Коля-манси, — кричал Пронька, — у тебя ружьё заряжено?

— А как же, — ответил он сам себе тоненьким Колиным голосом, — пулей заряжено! А у тебя заряжено?

— И у меня заряжено! Пулей «жиган». Самый раз на медведя!

— Эй, Пахан-Метла, а ты чего молчишь?

— Я ружьё заряжаю!

— Прокопий! Надо остановку делать. Чай надо пить! У оленя голова болит!

— А чего она болит-то? Рога, что ли, у него растут?

Уже перед самым лабазом Пронька даже запел.

Размахивая топором, он вывалился на поляну, где стоял лабаз.

Ни медведицы, ни медвежонка не было. В раскрытую дверь лабаза высунулся разорванный мешок, из которого сочилась струйка муки.

— «Ромашки сорваны, — орал Пронька, — увяли лютики!..»

Голос его звучал хрипло, мотив Пронька врал, потому что петь сроду не умел.

Он хотел кончить песню, но побоялся, что медведица где-нибудь рядом, и заорал для острастки ещё сильней.

Под песню разыскал он в кустах лестницу и полез наверх, в лабаз. Там было всё вверх дном.

Пронька слез на землю, поднял сплющенную банку сгущёнки. Медведица так сдавила её, что банка превратилась в жестяной блин.

«Вот уж кто действительно мог в темпе рубануть сгущёнку, — подумал Пронька, — а ведь Пахан-Метла не поверит, скажет: сам рубанул».

Он завернул сплющенную банку в тряпочку и сунул её в карман.

Пронька устал, от криков и от пения у него драло в горле, потому-то разболелась голова.

— Надо остановку делать, — сказал он. — Чай надо пить, а то голова чего-то болит... И чего она болит-то? Рога, что ли, растут?

Лесник Булыга

Стоял на краю леса домишко-то Булыгин. Старенький был, совсем понурый. Осиновая щепа на крыше покоробилась, а между брёвен изо всех щелей торчал наружу белёсый мох.

Два дня назад началась весна, и эти два дня я добирался до Булыгина жилья, вначале на поезде, а потом пешком по раскисшей весенней дороге.

— Вон оно что, — сказал Булыга, завидев меня. — А я-то чувствую: из лесу русским духом пахнет, а ко мне гость из Москвы.

— Или не рад?

— И кошка сегодня целый день умывалась, и ножик на пол упал — так и есть, гость пожаловал.

Пока я скидывал на крыльце рюкзак да вытирал шапкой вспотевший лоб, Булыга сходил в избу и вытащил на двор самовар. Скоро самовар запыхтел на проталинке, засиял старой медью.

— Глухарь токует вовсю, — сказал Булыга.

— Старый петух? — удивился я. — Неужто его не хлопнули?

— Жив, — подтвердил Булыга.

Этого петуха я видел не раз на боровом болоте Блюдечке, только на выстрел глухарь меня не

подпускал: старый был, умный.

— А где он токует-то? — спросил я.

— На Блюдечке, где ж ещё, — сказал Булыга. — Только завтра я сам пойду.

— Хлопнуть хочешь?

— А что? Или мы стрелять разучились?

Быстро подступала весенняя ночь, полная самых внезапных и запутанных звуков. Трещали в близком лесу дрозды, протянул над елками вальдшнеп — до нас донеслось его цвирканье.

Самовар чуть светился в сумерках, а в нижние его окошечки ссыпались раскалённые угольки.

Совсем стемнело, и самовар поспел. Булыга подхватил его, поперхнулся дымом и, накрыв жерло самовара крышкой с помпончиком, потащил его в дом.

По-прежнему что-то щёлкало в ходиках и темно было в избе, но я проснулся.

Была самая середина ночи. Под подушкой моей чирикал сверчок, а с лавки доносился Булыгин храп.

— Пора вроде… — сказал я.

— Э-эх! — вздохнул Булыга, закряхтел, просыпаясь.

Мы выпили чуть тёплого, с вечера, чая, надели сапоги, взяли ружья и вышли.

Темно-темно ещё было, совсем темно и холодно. Ни месяца, ни звёздочек в небе, да и неба-то не видно — холод и туман. Из лесу струёй бил резкий запах тающего снега, прелых листьев. И тихо было, совсем тихо.

— Лови подсаднуху и валяй в салаш, — сказал Булыга. — А я пойду покамест глухаришку послушаю.

— Взял бы меня, а?

— Нету, — сказал он. — Нечего мне в лесу шуметь да кряхтеть. В салаш иди.

— В салаш, в салаш!.. — заворчал я.

Но Булыга уже пропал в темноте. Треснула ветка, прошуршал снег — ушёл Булыга к маленькому болоту Блюдечку, где глухариный ток.

Подсадные утки жили у Булыги в сарае, в соломенном закутке. И как только я сунулся туда, заорали, оглашенные, стали носиться под ногами, хлопать крыльями.

Я поймал подсадную, засунул её в кошёлку-плетёнку и побежал краем леса к болоту, к шалашу. Утка тяжело переваливалась в садке, крякала под самым локтем, а под ногами на все лады пели-трещали лужицы, схваченные утренним льдом. По клюквенной тропке, вдоль неглубокой канавы, я бежал к Кузяевскому болоту.

В темноте ещё я был на месте. Высадил подсадную на воду и спрятался в шалаше под старой ёлкой, вышедшей из лесу к болоту.

Стало светать, чуть-чуть, еле-еле. Низом потянул ветерок, как раз забрался под полушубок, в раструбы сапог, и скоро я так замёрз, будто всю ночь проспал в весеннем лесу, без костра.

Откуда-то близко, с берёзовой вырубки, потянулся в тишине таинственный шипящий звук, и резкий и плавный одновременно:

«Чу-ффффф! Чу-ффффффышшш…»

Это заиграл первый тетерев. Даже не заиграл, а только попробовал, только показал: здесь, мол, я. Но уже отозвался ему другой — понёсся с берёзовой вырубки весенний тетеревиный клич:

«Чу-фффыышшшш!..»

И будто подхлестнули тетерева мою подсадную. До этого она всё молчала и охорашивалась, плескалась в воде, а тут развернулась к лесу, подняла голову и так закричала, что у меня сердце оборвалось:

«Кра-кра-кра-кра-кра-кра-кра!..»

Как от удара рассыпалась ночная тишина — забурлили-забормотали тетерева-косачи, так забурлили, будто в их чёрных горлах собрались все весенние ручьи. Заблеяли воздушные бараш-

ки-бекасы, ныряя с одной волны ветра на другую, а на дальнем, недоступном болоте в серебряные и медные трубы переливчато заиграли-закурлыкали журавли. И с журавлиной песней выкатилось из туманной пелены солнце и ещё прибавило звону. Огненная стрела просвистела в небе, рассекла его серое дно, и зашевелились-зашуршали болотные кочки, лопнула плёнка льда в луже, крикнула выпь, а в бочаге, под самым шалашом, гулко бухнула щука.

Бум!.. — грохнуло невдалеке, там, на Блюдечке. И второй раз: бум-ммм!.. И пошёл этот звук вдоль всего леса, запутался в крайних ветвях, поднял в воздух стаю дроздов с макушки ёлки, и все другие звуки вдруг пропали, словно поперхнулись, но уже через секунду снова бушевали вовсю.

И тут я услышал над головой:

«Трр-трр-трр…»

— Что такое? Что?..

Но не успел я и сообразить, как в воду плюхнулся селезень! И замолчала сразу крякуха, а я медленно-медленно поднял ружьё, которое стало жарким, и не видел уже ничего — только селезень покачивается на волне…

Ахнул в ушах и отозвался вокруг мой выстрел, резко долбануло в щёку прикладом, дробь подня-

ла фонтан вокруг селезня.

Я выскочил из шалаша, и мне открылось всё залитое весной небо, и болото, и селезень, распластанный на воде.

Обалдевшая от выстрела крякуха снова заорала-запричитала, а в бочаге, у шалаша, снова бухнула хвостом щука…

Я достал битого селезня, положил его в шалаш, а в глазах всё стояло, как он качается, качается на волне…

Когда откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость, тогда налетел второй селезень. Я услышал жужжание и свист его крыльев над шалашом. Он сделал круг над болотом и только на втором кругу отозвался крякухе. Так странно было слышать утиное кряканье сверху, с неба, что я не выдержал и встал в рост, развалив шалаш, и ударил влёт.

Селезень взмыл кверху и пошёл выше, выше — эх! — в сторону Блюдечка, на Булыгу! Эх, промазал! Эх! Дурак, дурак!

Я стал выправлять шалаш, а в двух шагах от меня снова ударила в бочаге щука — она была у самой поверхности, тёрлась боками о траву, выдавливала икру. Далеко же она забралась — больше километра отсюда до реки! По болот-

ной-то канаве, против талой воды, и зашла она к лесу бросить икру…

А подсадная всё орала и орала, и глухо бубнили тетерева на берёзовой вырубке…

К обеду я вернулся в избушку. Булыга был уже там. Я наколол щепок, стал раздувать самовар.

А солнце было уже высоко, от его света и от усталости слипались глаза. Только прикроешь их — видишь ослепительно рябую болотную воду, и на ней качается селезень…

— Ну как? — спросил я.

— А никак, — ответил Булыга. — Пустой.

— А что ж глухарь?

— А ничего, — сказал Булыга. — Ну, садимся самовар пить.

Мы пили чай, позванивали ложками, отдувались утомлённо.

— Глухарей в этих местах всех перебили, — говорил Булыга. — Один остался.

Так устали глаза, что я и чай пил с закрытыми и видел: рябая болотная вода, а на ней качается селезень…

— Пошёл я к нему, — рассказывал Булыга про глухаря, — а он и поёт, и поёт, ни черта не слышит. А кому поёт? Ведь глухарки нету ни одной. А он и поёт-то, и поёт…

— По кому ж ты стрелял? — спросил я.

— По нему, по кому же ещё.

— Или промазал?

— Нет, — ответил Булыга. — Маленько в сторону взял. Ладно, хоть душу отвёл.

— Спугнул?

— Нет, и после выстрелов всё поёт. Совсем очумел от весны.

Я снова прикрыл глаза и видел, как один из другого возникают красные и оранжевые круги, а за ними качается на воде весенний селезень… и качается, и качается на воде.

Белозубка

В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полёвки. Темней. И главное — нос! Лопаточкой, как у крота.

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбьи косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась.

«Хоть и не простая, а всё-таки мышь, — думал я. — Пусть знает своё место».

А место её было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезала и на другой день.

Да, это была не простая мышь! И главное — нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других — белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

Так я и назвал её Белозубкой — наугад.

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть всё это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у неё тайные погреба.

К осени начались в тайге дожди, и я стал ужинать в избушке.

Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Белозубка, схватила самый большой сухарь. Тут же я щёлкнул её пальцем в бок.

«Пи-пи-пи!» — закричала Белозубка.

Прижав к груди сухарь, она потащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах её, под гнилым кедровым бревном, было ещё много места.

Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

Белозубка вернулась и снова забралась на стол.

Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать её, но она не обращала внимания, бегала

вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл её стаканом.

Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в гранёную стенку.

«Посидишь немного, — думал я. — Надо тебя проучить, а то совсем потеряла совесть».

Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай — нет ли там снега? — но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли строгие короткие усы.

Дядя Белозуб обошёл стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под гранёный край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.

Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руке третий стакан, треснутый.

Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таёжной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, всё так же шуршал по крыше.

Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу,

третья землеройка внимательно всё обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила она пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном, сидит мышиный король Землерой. Это он посылает своих подчинённых спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик — хитростью.

Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

Он обошёл перевёрнутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

Я пошевелил пальцем. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съежившись, подумал,

быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

«Ваше величество! — докладывал, наверно, он королю Землерою. — Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

«Стаканами? — удивился, наверно, Землерой. — В таёжной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

«У прохожих геологов выменял».

«И много у него ещё стаканов?»

«Ещё один, треснутый. Но есть под нарами трёхлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

Дождь к вечеру всё-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

Я надел высокие сапоги, взял топор и пошёл поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил подержать их ещё немного, поучить уму-разуму.

В стороне от избушки нашёл я сухую пихту и, пока рубил её, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили

под стеклянный колпак.

«Ваше величество, он ушёл, — докладывали в это время лазутчики королю Землерою. — Сушину рубит и долго ещё провозится. Ведь надо её срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

«Надо действовать, а то будет поздно», — предлагал хвостатый Сыщик.

«Валяйте», — согласился король.

Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевёрнуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал — огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

«Залез с ногами на нары и чагу пьёт», — докладывали лазутчики Землерою.

«А что это такое — чага?» — спросил король.

«Это — древесный гриб. Растёт на берёзе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», — пояснил королевский лекарь — Кухарь, который стоял у

трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущённо раздувал щеки.

«Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

«Ладно тебе, — говорила Белозубка. — Что было — то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

«Хорошая идея! — хлопнул в ладоши король. — Эй, квасовары, кваса!»

Толстенькие квасовары прикатили бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было: «Будь здоров», вышиб из бочки пробку.

Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был Балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка

улыбалась, только Сыщик строго принюхивался к окружающим.

«Пускай Белозубка споёт!» — крикнул король.

Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

Я ничего от вас не скрою,
Я всё вам честно расскажу:
Всю жизнь я носом землю рою
И в этом счастье нахожу.
Своё я сердце вам открою:
Я всех готова полюбить,
Но тот мне дорог, кто со мною
Желает носом землю рыть.

«Мы желаем! Мы желаем!» — закричали кавалеры.

«Пошли в избушку! — крикнул кто-то. — Там теплей и места больше!»

И вот на полу у горящей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

Над печкой у меня вялились на верёвочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и земле-

ройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:

Да здравствует мышиный дом,
Который под Гнилым Бревном.
Мы от зари и до зари
Грызём в том доме сухари!

Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

«Вот и кончилась наша последняя ночь», — сказала Белозубка.

«Спокойной ночи, — сказал Землерой. — Прощайте до весны».

Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал всё внимательно.

Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду — на земле, на деревьях, на крыше — лежит первый снег. Гнилое

Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать — бревно это или медведь дремлет под снегом.

Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подыматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.

Нулевой класс

Приехала к нам в деревню новая учительница. Марья Семёновна.

А у нас и старый учитель был — Алексей Степанович.

Вот новая учительница стала со старым дружить. Ходят вместе по деревне, со всеми здороваются.

Дружили так с неделю, а потом рассорились. Все ученики к Алексей Степанычу бегут, а Марья Семёновна стоит в сторонке.

К ней никто и не бежит — обидно.

Алексей Степанович говорит:

— Бегите-ко до Марьи Семёновны.

А ученики не бегут, жмутся к старому учителю. И, действительно, серьёзно так жмутся, прямо к бокам его прижимаются.

— Мы её пугаемся, — братья Моховы говорят. — Она бруснику моет.

Марья Семёновна говорит:

— Ягоды надо мыть, чтоб заразу смыть.

От этих слов ученики ещё сильней к Алексей Степанычу жмутся.

Алексей Степанович говорит:

— Что поделаешь, Марья Семёновна, придётся мне ребят дальше учить, а вы заводите себе нулевой класс.

— Как это так?

— А так. Нюра у нас в первом классе, Федюша во втором, братья Моховы в третьем, а в четвёртом, как известно, никого нет. Но зато в нулевом классе ученики будут.

— И много? — обрадовалась Марья Семёновна.

— Много не много, но один — вон он, на дороге в луже стоит.

А прямо посреди деревни, на дороге и вправду стоял в луже один человек. Это был Ванечка Калачёв. Он месил глину резиновыми сапогами, воду запруживал. Ему не хотелось, чтоб вся вода из лужи вытекла.

— Да он же совсем маленький, — Марья Семёновна говорит, — он же ещё глину месит.

— Ну и пускай месит, — Алексей Степанович отвечает. — А вы каких же учеников в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Они ведь тоже глину месят.

Тут Марья Семёновна подходит к Ванечке и говорит:

— Приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс.

— Сегодня некогда, — Ванечка говорит, — за-

пруду надо делать.

— Завтра приходи, утром пораньше.

— Вот не знаю, — Ваня говорит, — как бы утром запруду не прорвало.

— Да не прорвёт, — Алексей Степанович говорит и своим сапогом запруду подправляет. — А ты поучись немного в нулевом классе, а уж на другой год я тебя в первый класс приму. Марья Семёновна буквы тебе покажет.

— Какие буквы? Прописные или печатные?

— Печатные.

— Ну, это хорошо. Я люблю печатные, потому что они понятные.

На другой день Марья Семёновна пришла в школу пораньше, разложила на столе печатные буквы, карандаши, бумагу. Ждала, ждала, а Ванечки нет. Тут она почувствовала, что запруду всё-таки прорвало, и пошла на дорогу. Ванечка стоял в луже и сапогом запруду делал.

— Телега проехала, — объяснил он. — Приходится починять.

— Ладно, — сказала Марья Семёновна, — давай вместе запруду делать, а заодно и буквы учить.

И тут она своим сапогом нарисовала на глине букву «А» и говорит:

— Это, Ваня, буква «А». Рисуй теперь такую же.

Ване понравилось сапогом рисовать. Он вывел носочком букву «А» и прочитал:

— А.

Марья Семёновна засмеялась и говорит:

— Повторение — мать учения. Рисуй вторую букву «А».

И Ваня стал рисовать букву за буквой и до того зарисовался, что запруду снова прорвало.

— Я букву «А» рисовать больше не буду, — сказал Ваня, — потому что плотину прорывает.

— Давай тогда другую букву, — Марья Семёновна говорит. — Вот буква «Б».

И она стала рисовать букву «Б».

А тут председатель колхоза на газике выехал. Он погудел газиком, Марья Семёновна с Ваней расступились, и председатель не только запруду прорвал своими колёсами, но и все буквы стёр с глины. Не знал он, конечно, что здесь происходит занятие нулевого класса.

Вода хлынула из лужи, потекла по дороге, всё вниз и вниз в другую лужу, а потом в овраг, из оврага в ручей, из ручья в речку, а уж из речки в далёкое море.

— Эту неудачу трудно ликвидировать, — сказала Марья Семёновна, — но можно. У нас остался последний шанс — буква «В». Смотри, как она

рисуется.

И Марья Семёновна стала собирать разбросанную глину, укладывать её барьерчиком. И не только сапогами, но даже и руками сложила всё-таки на дороге букву «В». Красивая получилась буква, вроде крепости. Но, к сожалению, через сложенную ею букву хлестала и хлестала вода. Сильные дожди прошли у нас в сентябре.

— Я, Марья Семёновна, вот что теперь скажу, — заметил Ваня, — к вашей букве «В» надо бы добавить что-нибудь покрепче. И повыше. Предлагаю букву «Г», которую давно знаю.

Марья Семёновна обрадовалась, что Ваня такой образованный, и они вместе слепили не очень даже кривую букву «Г». Вы не поверите, но эти две буквы «В» и «Г» воду из лужи вполне задержали.

На другое утро мы снова увидели на дороге Ванечку и Марью Семёновну.

— Жэ! Зэ! — кричали они и месили сапогами глину. — Ка! Эль! И краткое!

Новая и невиданная книга лежала у них под ногами, и все наши жители осторожно обходили её, стороной объезжали на телеге, чтоб не помешать занятиям нулевого класса. Даже председатель проехал на своём «газике» так аккуратно, что не задел ни одной буквы.

Тёплые дни скоро кончились. Задул северный ветер, лужи на дорогах замёрзли.

Однажды под вечер я заметил Ванечку и Марью Семёновну. Они сидели на брёвнышке на берегу реки и громко считали:

— Пять, шесть, семь, восемь…

Кажется, они считали улетающих на юг журавлей.

А журавли и вправду улетали, и темнело небо, накрывающее нулевой класс, в котором все мы, друзья, наверно, ещё учимся.

У Кривой сосны

Высокая и узловатая, покрытая медной чешуёй, много лет стояла над торфяными болотами Кривая сосна. Осенью ли, весной — в любое время года казались болота мрачными, унылыми, только Кривая сосна радовала глаз.

С севера была она строга, суховата. Она подставляла северу голый ствол и не прикрывалась ветками от ветров.

С востока ясно было, что сосна действительно кривая. Красный ствол туго загнулся вправо. За ним метнулись ветки, но тут же поворотили назад, напряглись и с трудом, цепляясь за облака, выправили ствол, вернули его на прежнюю дорогу.

С юга не было видно кривизны. Широкая хвойная шапка нависла над болотом. Вырос будто бы на торфу великий и тёмный гриб.

А с запада кривизна казалась горбом, уродством. С запада походила сосна на гигантский коловорот, нацеленный в небо.

В сухой год в июле над сосною прошла гроза. Торфяная туча навалилась на болота пухлым ржаным животом. Она ревела и тряслась, как

студень. От ударов грома осыпалась голубика.

Прямая молния угодила в сосну, спиралью обошла ствол, пропахала кору до древесины и нырнула в торф. От этой молнии за год высохла сосна, но долго ещё стояла над болотами, сухая, посеребрённая. Осенний ветер — листобой ухватил её за макушку, поднажал в горб да и вывернул с корнем. Рыхлый торф не удержал корней.

Года через два после того я охотился на торфу.

Была ранняя весна, и утка летела плохо. В болотах млел ещё жёлтый кислый лёд, но на берегах уже появилась из-под снега прошлогодняя трава и груды торфа.

Частым осинником вышел я на поляну, где лежала Кривая сосна. За зиму на неё намело снегу. Корень-выворотень весь зарос им и стоял торчком среди осинника, как белый горбатый бык. В осиннике снег таял медленней, чем на открытом месте, — всюду видны были светлые пятна, а на них зимние заячьи следы.

Вспрыгнув на ствол, я заглянул по ту сторону поваленного дерева. Здесь снега было ещё больше — целый сугроб, и на снегу, притаившись, лежал большой серый зверь.

Рысь!

В глазах поплыли красные пятна, я стал сдёр-

гивать с плеча ружьё, но зверь не шевелился. Постояв с минутку, я осторожно слез на землю, шагнул вперёд.

Вытянув длинные голенастые ноги, запрокинув голову, на снегу передо мной лежал лосёнок. Он был серый, как нелинявший заяц, — тёмная спина цвета осиновых серёжек, а на животе мех светлый, облачный. Глаза его были закрыты. Рядом лежало несколько обглоданных осиновых веток.

Я подошёл и не знаю зачем дотронулся до него сапогом. Нога ударилась, как об пень, — он давно уже окоченел. На боку заметно было белёсое розовое пятно — след огнестрельной раны.

Дело было ясное. Кто-то стрелял в лосёнка и ранил его. Стрелял браконьер, дурак. Он знал: лосей бить запрещено. Выстрелив, он напугался того, что сделал, убежал домой.

Измученный болью в боку, лосёнок не один ещё день бродил по лесу и пришёл сюда, в осинник у Кривой сосны. Здесь он прилёг на снег и лежал, защищённый корнем-выворотнем от ветра.

Закурив, я закинул за спину ружьё и хотел осмотреть его рану, но замер на месте.

В десяти шагах, в ольховых кустах, приподняв лишь голову от земли, лежала лосиха. Она лежа-

ла неподвижно и тяжело, внимательно глядела на меня.

В деревне Стрюково охотников мало. Мужчинам хватает колхозной работы, и в лес бегают двое-трое. Настоящий охотник тут один — государственный лесник Булыга.

Я нашёл его около дома, в саду. Поднявшись на лестницу-стремянку, он обрезал яблоню кривым ножом.

— Слышь, — крикнул я, — лосёнка нашёл! Мёртвого.

— Где?

— У Кривой сосны.

Булыга слез на землю, достал сигарету «Памир», присел на корточки, привалясь спиной к стволу яблони. Он закурил и сразу окутался дымом. Его морщинистое лицо и вся большая голова походили сейчас на хмурую деревенскую баньку, которую топят по-чёрному: изо всех щелей валит дым.

— На боку рана, — объяснил я. — Кто-то стрелял. А мать лежит рядом, ждёт, что он встанет.

— Лоси у меня на учёте, — сказал Булыга. — Надо глядеть — акт составлять. Пошли — покажешь.

Весь день стояла пасмурная погода, но часам

к пяти похолодало, облака частью ушли с неба, стало очень светло. Поля и перелески просматривались насквозь, и чуть ли не за километр заметна была пара тетеревов, сидящих на берёзке.

Я шёл следом за Булыгой туда, к Кривой сосне, и думал: «Кто же это мог стрельнуть в лосёнка? Зачем?»

Неподалёку уже от сосны, в осиннике, Булыга остановился.

— Слушай, — сказал вдруг он, — если это ты его стукнул, честно скажи.

Глянув мимо меня, он отвернулся.

Всё так же вытянувшись и закинув голову, лежал на снегу лосёнок. Лосиха рядом, в ольховом кусту. Она, наверно, не вставала с тех пор, как я ушёл. Хрипло крича, над поваленной сосной летали две сороки.

Булыга оглядел следы на снегу и на торфе, потом подошёл к лосёнку и наклонился над ним. Тут же послышался тревожный треск.

С трудом, неуклюже лосиха поднялась на ноги. Она казалась огромной на тонких, сухих ногах, и особо велика была её голова с насупленной губой. Ноги у неё дрожали.

— Экое буйло, — сказал Булыга, отходя на вся-

кий случай в сторону. — Сгас твой парень, сгас…

Вздёрнув губу, лосиха прикусила осиновую веточку, сгрызла с неё кору.

— А я думал, это ты его ударил. Теперь вижу: не ты. А если не ты, тогда Шурка Сараев. Только он в лес ходил, искал, говорит, косачиные тока.

Лосиха поглодала осиновой коры, потом переломила зубами ветку и подошла к лосёнку. Постояла, наклонилась, положила ветку на снег.

Следующим утром налетели на деревню Стрюково скворцы. Они свистели на всех заборах, на вербах, на сараях. Дороги и оттаявшие огороды были усыпаны скворцами, будто подсолнечными семечками.

А за огородами, над полем, подымаясь высоко в небо, непрерывно пели жаворонки. Тёплое сдобное облако, плывущее над землёй, было утыкано жаворонками, как изюмом.

Утром я пил у Булыги чай, и за чаем мы помалкивали, ожидая Шурку Сараева. Мы фыркали, отдувались, кривились от кислой клюквы!

— Эй, хозяин! — заорал с улицы Шурка Сараев. — Дома, что ли?

Прогремев дверью, Шурка вошёл в дом, прислонил к стене ружьё, а сам присел на порог.

— Иди в комнату.

— Дак сапоги грязные.

— Скинь.

В белых вязаных носках Шурка прошёл в комнату, сел на диван, купленный для гостей, заслонил спиной вышитого на покрывале голубого петуха.

— Рассказывай, Шурка, как дело было, — сказал Булыга.

Голос его звучал спокойно, но в нём слышалась будущая гроза, и Шурка забеспокоился:

— Како?

— Тако! — передразнил Булыга, торопливо отхлёбывая чай. — Ну-ка, подай ружьё!

— Како? — снова не понял Шурка.

— Твоё! — рявкнул Булыга и закашлялся, подавился клюквой. — Подай сей момент!

Шурка вскочил с дивана и за дуло выволок ружьё из прихожей. Оно зацепилось за порог и не протаскивалось в комнату, упиралось.

— Ты не ори, — сказал Шурка, подавая ружьё и не понимая ещё, в чём дело. — Разберись вначале, потом ори.

— Мы уж во всём разобрались, — угрожающе сказал Булыга. — Всё замерили. Знаем, чьё это дело.

Шурка напряжённо присел на диван, голубой петух выглядывал из-за его плеча.

Булыга переломил ружьё и понюхал ствол, а затем стал вроде бы исследовать ружьё Шуркино изнутри.

— Так точно и выходит, — сказал он и сунул мне под нос переломленное ружьё. — Видишь?

Поглядев на ржавый, несмазанный замок, я буркнул:

— Вижу.

— Вот и я вижу, — сказал Булыга и резко встал из-за стола. — Ружьё, Шурка, придётся у тебя отобрать.

Отворив шкаф-гардероб, он сунул в него Шуркину тулку.

— Ты погоди, погоди, — сказал Шурка, вскакивая с дивана и хватая Булыгу за локоть. — Не балуй! Ты ружья не покупал!

— Сядь! — сказал Булыга, отворачиваясь от шкафа. — Сядь, отвечай на вопросы. Ты когда был в лесу?

— В ту субботу.

— Стрелял?

Шурка кивнул:

— Утицу.

— Врёшь! Утка ещё не летела. Кого стрелял? Говори!

— Кого надо! — заорал Шурка. — Чего ты при-

стал, булыжник!

— Ну, ладно, — сказал Булыга, внезапно успокаиваясь. — Суд разберётся.

Слова эти Шурку ошеломили, он окостенел, тупо разглядывая блюдо с клюквой.

За окном свистнул скворец, солнечный заяц пробился через ящик с рассадой, стоящий на подоконнике, забегал по дивану, по голубому петуху.

— Я ведь ничего такого не сделал, — тоскливо сказал Шурка. — И стрельнул-то разок — пугнуть хотел.

У Шурки Сараева карие глаза. Он умеет играть на гармони.

Каждый вечер приходит Шурка в клуб, садится посреди залы на табурет, и пошло-поехало: пумба-па, пум-ба-па…

Льётся из гармони музыка, а Шурка потряхивает в такт головой и сильно давит левой рукой на басы.

За музыку Шурку в деревне уважают. Не всякий сыграет на гармони, да ещё чтоб левая рука поспевала за правой, а правая не ревела белугой, ласково нажимала на кнопочки.

Потерянный сидит сейчас Шурка на Булыгином диване — голубой петух нацелился ему в висок.

— Ну, это… — говорит Шурка. — Ну, так уж получилось. Ну, шёл я, а тут лосиха. Выскочила из куста — и на меня. Хотела, наверно, затоптать. Ну, я и пугнул, чтоб отстала.

— А как же в лосёнка попал? — спросил я.

— Так я ж мимо стрелял! — обрадовался почему-то Шурка. — По кустам, а там лосёнок стоял.

— Ты что ж, его разве не видел?

— Не видел, не видел, где там увидеть — кусты, ёлочки…

Шурка крутился на диване, глядел то на меня, то на Булыгу: верим или нет?

— Ступай на двор, — сказал Булыга. — Возьми лопату.

— Зачем?

Булыга не ответил, и Шурка решил, видно, не спорить; встал, прошёл в своих белых носках по половикам, кряхтя, надел у порога сапоги и тихонько хлопнул дверью.

— Пошли и мы, — сказал Булыга. — Надо лосёнка прибрать, а то ведь она не отойдёт от него. Сгаснет.

Во дворе Булыга срезал бельевую верёвку, навязанную на берёзы, и мы пошли к Кривой сосне. Шурка с лопатой на плече шёл впереди и на поворотах тропы останавливался.

— Ты только до суда не доводи, — просил он Булыгу, виновато взмахивая лопатой.

В осиннике снега почти не осталось. Сугроб, на котором лежал лосёнок, съёжился, пожелтел, под него подтекла тёплая лужа. И лосиха лежала теперь подальше от Кривой сосны и смотрела в сторону, на торфяные болота.

— Подойди-ка поближе, — сказал Булыга. — Погляди.

— Чего я буду глядеть? — сказал Шурка недовольно и отвернулся, играя лопатой.

— Гляди.

— Ну гляжу. Ну и что? Чего пристал?

— Копай яму, — сказал Булыга и плюнул мимо Шурки.

— Ну выкопаю, ну и что?

Шурка прошёлся по поляне вокруг сосны, потыкал лопатой.

— Земля-то мёрзлая, — уныло сказал он.

Наконец он примерился, нашёл какую-то небольшую ямку, стал её расширять. Торф поддавался плохо: не оттаял как следует. Шурка копал мучительно, часто останавливаясь отдохнуть.

— Ну, яму я выкопаю, ладно. Только ты до суда не доводи. Она меня затоптать хотела. Вон какая морда, она нас всех потопчет!

Лосиха повернула голову на шум, но не вставала, а только смотрела, что делает Шурка.

Через час яма была готова, и Шурка обвязал ноги лосёнка бельевой верёвкой. Потом, закинув верёвку на плечо, стал подтягивать его к яме.

— Помогите, что ль, — сказал он, напрягаясь изо всех сил.

Я хотел было подсобить ему, чтоб скорее кончить всё это тяжёлое дело, но Булыга взял меня за рукав.

— Пускай сам, — сказал он. — Сам убил — сам пускай хоронит.

Уже у ямы лосёнок застрял в кустах. Шурка дёрнул яростно и оборвал верёвку.

— Барахло! — закричал он, чуть не плача и махая обрывком. — Верёвка твоя дрянь! Гнилушка.

— Надвяжешь.

Затрещали кусты — лосиха медленно поднялась и пошла к Шурке, высоко подымая ноги, выбирая место, куда ступить.

— Она ведь убьёт! — закричал Шурка, бросая верёвку. — Она меня помнит!

— Небось, не убьёт, — сказал Булыга. — А убьёт — похороним. Яма-то как раз готова.

Шурка сплюнул, поглядел ещё на лосиху и вдруг бросился в сторону.

— Куда? — закричал Булыга.

Но Шурка не отвечал, ломал сучки, выбираясь на тропу.

— Вертайся, дурак! — заорал Булыга.

Выйдя из кустов на поляну, лосиха остановилась, подняла кверху голову, так что стала видна её коротенькая бородка, и захрипела. Она жестоко исхудала, грязно-бурая шерсть на ней свалялась и висела клочьями.

— Опасно всё-таки, — сказал я. — Может убить.

— Небось, не убьёт, — повторил Булыга. — Сама еле дышит.

Лосиха обнюхала верёвку, шумно выдохнула, отошла и снова тяжело легла в кусты.

— Эй, — закричал Булыга, — вертайся!

— Не вернусь! — откликнулся Шурка неподалёку. — Она меня помнит!

Перемазанный торфом, с разодранным лбом вышел Шурка к сосне, боком-боком подошёл он к лосёнку, наклонился, взял в руки верёвку.

— Я сделаю, — сказал он. — Постараюсь. Ты токо до суда не доводи.

Спустив лосёнка в яму, Шурка стал её торопливо забрасывать землёй.

— Всё, — сказал он. — Теперь всё. Пошли домой.

— Погоди, — сказал Булыга. — Посмотрим, что она будет делать.

Лосиха долго ещё лежала на месте, потом поднялась и пошла к торфяной куче, наспех набросанной Шуркой. Подняв голову кверху, она вдруг коротко захрипела, забормотала что-то и легла животом на торфяную кучу.

Картофельная собака

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды».

От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копчёного леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на тёплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вёл продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался ещё и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Тузика, которому некуда было приткнуться.

Весной и летом я жил неподалеку от Томилина, на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нём ни сада, ни дачи — росли две ёлки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

— Яблоки, а не картошка! — расхваливал он свой подарок. — Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на брёвнах, глядя, как между ёлками вырастает новое сизое и кудрявое дерево — самоварный дым.

— Надо тебе собаку завести, — говорил Аким Ильич. — Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы — во! Башка — во!

— Что за имя — Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

— Тузик хорошее имя, — спорил Аким Ильич. — Всё равно как Пётр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря — не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли тёплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нём спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под ёлками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мои щёки, чтоб побрить. Дело своё парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела чёрная и лохматая собачья рожа с жёлтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пёс этот облизывал моё лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

— Это тебе подарок! — кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. — Тузик звать!

Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок — Тузик — наскакивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

— Посмотри-ка, — сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал её на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей — вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным рёвом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и

смеялся до слёз, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно — злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

ОСТОРОЖНО!
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака — вот ужас-то!

В дачном посёлке скоро прошёл слух, что картофельная собака — штука опасная.

— Дядь! — кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. — А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглёр, ловил её на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка

двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дёрнул поводок — Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

— Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не коляска, а именно батон толстой варёной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придётся. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Всё это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

— Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принёс домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдёт разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич.

Сердечно улыбаясь, шёл он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

— Жирная, — сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

— Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился весёлый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

— Понял или нет?! — сердито говорил Аким

Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

— Что делать-то с нею? — спросил я.

Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

— Подождём, пока придёт хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать её фуганком. Он работал легко и красиво — фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

— Курица тухнет!

Громила Тузик прилёг под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

— Курица тухнет!

— Так что ж делать?

— Надо курицу ощипать, — сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

— Заводи-ка, брат, костёр. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

— Пообедаем, как люди, — сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас — лесной костёр, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина…

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузи-

ка набежала слеза.

— Эй, товарищи! — послышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

— Эй, товарищи! — кричал он. — Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору.

— В чём дело, земляк? — крикнул Аким Ильич.

— В том, что эта скотина, — тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, — утащила у меня курицу.

— Заходи, земляк, — сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, — чего через забор попусту кричать.

— Нечего мне у вас делать, — раздражённо сказал хозяин курицы, но в калитку вошёл, опасливо поглядывая на Тузика.

— Сядем потолкуем, — говорил Аким Ильич. — Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

— «Десять»!.. — презрительно хмыкнул владелец. — Двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

— Очко! — восхищённо сказал Аким Ильич. — Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, — продолжал Аким Ильич, подумав, —

мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

— Не знаю, — недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

— Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

— Я с этой картошкой совсем измучился, — сказал хозяин курицы. — Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам всё макароны, макароны…

— Картошки у него нету, а? — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. — Так ведь у нас целый мешок. Бери.

— На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

— Картошка хорошая! — лукаво кричал Аким Ильич. — Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с неё мундир, сказавши:

— Пирожное.

— Нешто попробовать? — засомневался владелец курицы. — А то всё макароны, макароны…

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил её хозяйственно и надкусил.

— Картошка вкусная, — рассудительно сказал он. — Как же вы её выращиваете?

— Мы её никак не выращиваем, — засмеялся Аким Ильич, — потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паёк. Насыпай сколько надо.

— Пусть ведро насыплет, и хватит, — вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

— У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к ёлке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дёргал цепь, что с ёлки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошёл месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завёл себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на своё лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обманщик на прогулках прикидывался

воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками — с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстёгивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса?

Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с рёвом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так

страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех.

Душа у владельца курицы, видимо, всё-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решился войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с неё и растерзать вошедшего.

— Собак распускаете! — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашёлся что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошёлся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

— Это вы Пичугин?

— Да нет, — растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то

разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной причёской».

— На эту собаку поступило заявление, — сказал сержант, — в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

— Всего одну курицу, — уточнил я. — За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

— Это очень мирная собака, — заметил я.

— А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил её Тузику. Тузик ловко перехватил её в полёте и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

— Странное животное, — подозрительно сказал сержант. — Картошку ест сырую. А погладить его можно?

— Можно.

Только тут я понял, какой всё-таки Тузик великий актёр. Пока сержант водил рукою по нечёсаному загривку, картофельный пёс застен-

чиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнёт сержанта в руку, но Тузик удержался.

— Странно, — сказал сержант. — Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я её вдруг глажу.

— Тузик чувствует хорошего человека, — не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

— Растрёпин. Будем знакомы.

Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

— Ну молодец, молодец, — сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пёс-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

— Ещё одна курица, — крикнул издали сержант, — и всё! Протокол!

Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику — на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брёл следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопоухими чернушками, да что-то всё мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошёл и прилёг рядом. Играть ему не хотелось.

Я всё-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал её терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

— Хороший год, — говорил Аким Ильич. — Урожайный. Яблоков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть ли не у

каждого в руке был осенний букет.

Прошёл товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

— Ну, чего ты расстроился? — говорил мне Аким Ильич. — В твоей жизни будет ещё много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

— И так яблоку негде упасть, — закричали на нас в тамбуре, — а эти с собакой!

— Не волнуйся, земляк! — кричал в ответ Аким Ильич. — Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина…

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали берёзы, рябины, сады, набитые яблоками,

золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками.

Гроза над картофельным полем

Был странный августовский туман. Он клубился оранжевым и так занавесил ручей, что трудно было разобрать, где же солнце. Но оно взошло и подсвечивало влажные валы тумана, а от ручья по низкому лугу тянулся запах таволги и хвоща.

Я шёл берегом, надеясь поднять уток, но видел только сплетенья тумана и метёлки-языки приболотной травы. С каждым шагом сочно лопались под ногами её стебли, мягко хлестали, обдавая росой, и скоро я стал мокр и облеплен созревшими семенами.

Немного я прошёл, как дрогнула сеть тумана — обрушился на меня близкий выстрел, а за ним — шум поднимающихся с воды крякух.

— Тпр-р-р-у-у-у-у!.. — закричал кто-то им вслед. Потом, видно, ещё раз насупонил губы, как делают, останавливая лошадь, и снова: — Тпр-р-р-у-у-у!..

Уток я не мог увидеть, только слышал, как они сделали круг и утянули к лесу.

— Эй! — послышалось недалеко. — Эй, Николай!..

— А-а…

— Чего убил?

— Колен-ку-у-у… — тягуче сказал Николай.

В тумане ответ Николая показался особо глупым и безнадёжным. Я присел на коряжку — спешить было некуда, уток перешумели. Было слышно, как медленно чопают впереди охотники. Они перекрикивались каждые две минуты, боялись, что ли, в тумане потеряться.

Скоро снова впереди лопнул выстрел.

— Эй, чего убил?

— Колен-ку-у-у!..

— Тьфу ты! — плюнул я и низким торфяным голосом пустил вдоль ручья: — Э-э-э-э-э-эй!..

— А-а-а? — дружно отозвались Николай с приятелем.

— В трясину у-тя-ну-у-у-у…

— А-а?

— У-у-тя-ну-у-у… у-тя-ну-у-у-у!.. — снова пригрозил я.

— Ты кто? — крикнул Николай.

Я ответил таким нелепым голосом, какого и сам от себя никогда не слышал:

— Леший я! Ле-е-е-ший…

Тут прозвенело что-то. Овалы тумана зашевелились, задрожали, и солнце разом развалило их.

Вспыхнул ручей. Стало видно, как он стелется

по низкому лугу в глубину леса. Нигде не было охотников — вдаль стояли стога, нахлобученные на обкошенные пригорки. От них лился запах свежего сена…

Ясны обычно и солнечны августовские дни. Этот день был особый. То вдруг пригонял ветер облака — становилось темновато, то облака быстро раскисали в воздухе. При светлом небе громыхало неподалёку, и находил на лес пасмурный свет — только какая-нибудь сосна вспыхивала под одиноким лучом.

Когда солнце пошло к закату, я бросил пустую охоту, набрал маслят и на краю сосняка у картофельного поля поставил палатку. Надо было костёр палить — грибы варить.

Над полем собиралась грозовая туча, да как-то всё не решалась плотно обхватить небо и колебалась над закатом.

— Дочк, Дочк, Дочк… — послышалось с поля.

По меже шёл парнишка в ковбойке и покрикивал.

— Тёлку потерял?

— Овцу, — сказал он, подойдя.

— Ты из Шишкина?

— Нет, с Екатериновки. Генка я, дядипашин.

Я знал дядю Пашу, перевозчика из Екатеринов-

ки. Он не раз перевозил меня через речку, и мы всегда толковали с ним о погоде.

— Ну, садись, суп с маслятами пробуй.

— Искать надо… Дочк, Дочк, Дочк!..

Генка был невелик, лет двенадцати. Он пошёл дальше по опушке, покрикивая своё.

За краем неба начался глухой скрежет. Он всё нарастал, нарастал, превращаясь в отчётливые удары грома. Неожиданный луч пал на картофельное поле, зажёг ботву зелёным светом, и быстро земля всосала его. Я залез в палатку и прихлёбывал понемногу суп. Было слышно, как тяжело повёртывались в небе огромные жернова, но выбить искру им ещё не удавалось, они ещё не разгулялись и только притирались друг к другу.

Сссссссссссссс!.. — услышал я и подумал, что это мелкий дождик шелестит. Высунулся из палатки узнать — было темно и сухо, и ни капли не упало на руки, на лоб.

— Дядень! — крикнул издали Генка.

— Эй!

— Гроза собирается.

— Лезь в палатку, — сказал я. — Пересидим…

Генка залез в палатку, и я сунул ему ложку.

— Только от стола, — сказал он, но ложку взял, и мы стали есть суп, прихлёбывая по очереди.

— Ну, как супок? — спросил было я, но тут возникла ослепительная искра, просветила каждый шов палатки и так грохнуло, что зазвенело в затылке, а Генка охватил меня руками, железными от страха.

Снова всё стихло, и даже жернова перестали в небе переворачивать друг друга.

— Во долбануло! — сказал Генка.

Я хлебнул супа, и показалось, будто вкус его после удара молнии изменился.

Сссссссссссс!.. — снова начался непонятный звук, вначале как шелест капель, потом набрал скорость и потянулся над головой томительной длинной пулей.

— Что это, а?

И со звоном ударило по крыше палатки, она туго загудела — брезентовый колокол.

Я высунулся наружу, и на голову мне обрушился поток воды, пригнул голову к земле, в глазах возник корень огненного дерева. Страшный удар лопнул над нами и полетел окрест, выворачивая наизнанку картофельную ботву.

И снова молния — пляшущая берёза — вонзилась в поле. А земля ухватила её с таким звуком, как будто болотная трясина — выпавший нож. Задёргалась, затряслась другая молния, ища ме-

сто, в которое ударить, и — пропала. И, бешено чередуясь, возник будто бы лес ослепительных корней…

— Дядень, дядень…

…но только корни эти не высасывали из земли соков, а сами вбивали в неё свою белую голубую кровь.

Я втянул голову в палатку, как черепаха в панцирь. Генка прижался ко мне покрепче, зажмурился, и я плотно закрыл глаза, но всё равно рассекал их свет молний, проникал в голову.

Ливень заливал, и брезент не гудел уже, палатка обмякла, стала вялой и прозрачной, не плотнее блина.

— Глянь, дядь, не видно овцы-то?

Я снова высунулся наружу и в свете молний увидел, как мечется по краю поля лохматое призрачное пятно. Это была овца. При каждом ударе грома она выпрыгивала из травы, как собака.

— Дочк, Дочк, Дочк! — закричал Генка и выскочил из палатки, побежал через поле.

Птичьей клеткой вспыхнула перед глазами его ковбойка, и Генка плеснул руками в сполохе света.

Я вылез из палатки и побежал следом за ним.

Ливень навалился на плечи, хотел расплю-

щить, растворить, вогнать в землю. Щербатым гребнем, частоколом стояли вокруг молнии — сочные, разветвлённые, как вилы. Гром бил — и небо вскидывалось в пене…

— Обходи! Обходи её… обходи!

Зачарованная вспышками, овца прыгала на одном месте, будто дожидалась, когда же влепит прямо в неё. Между молниями вдруг слышалось:

«Э-э-э-э-э-э-э…»

Я бежал и тоже подпрыгивал — «Дочк, Дочк, Дочк!..» — давил картофельную ботву. Она лопалась, хрустела, вскрикивала под ногами, подкидывала вверх, под молнию. Я ждал, как молния настигнет меня, ударит в затылок и — в землю. Я чувствовал эту пустую точку на затылке. Вот упаду, расколюсь со звоном, как бутылка, разбитая дробью.

Генка бежал шагах от меня в десяти. Голова его за картофельными кустами вдруг загоралась серебряной кочерёжкой.

— Заходи!.. Заходи!

Уах! — влип в поле дрожащий гвоздь — белая молния. Выбрызнула из земли недозревшая картошка. Овца, подпрыгнув, повисла над чёрной ботвой.

Я кинулся на неё, выставив руки, и она снова

прыгнула — шальной невиданный зверь, вроде единорога.

Я схватил её за шею, и тут же ослепительный огонь вывернул глаза, растянул их до ушей. Вскипел воздух, и голова моя закружилась над картофельным полем, плавно и мягко светясь…

— Башку ей прикройте, дядь! — кричал подоспевший Генка и лупил овцу по чём попало.

Оттянув с живота свитер — «Дочк, Дочк, Дочк!..» — я подсунул под него овечью голову, пятясь потянул ее к палатке — вот наткнусь спиной на столб молнии, стоящий в земле. И медленная молния, плавная, как масляная струя, потекла, подрагивая, прямо по щеке и, сухо расколовшись, угасла.

Мы затянули овцу в палатку. Шерсть на ней слиплась, припала к ребрам — овца казалась ягнёнком.

Сссссссссссс… — снова послышалось над головой. Вспыхнула молния, и я увидел, как бьётся в углу палатки прозрачными крыльями изогнутая коромыслом синяя стрекоза…

Скоро гроза вколотилась в землю, смягчила резкие удары ливнем, иссякла. Молниеносные тучи ушли. Иногда только раскидывался на небе сполох — небо передёргивалось и темнело.

— Пойдём к нам, дядь, — сказал Генка. — Обсохнешь хоть.

— Да ладно… У костра обсохну. Палатку собирать неохота.

Я взял ружьё и, посвечивая фонарём, пошёл проводить Генку да заодно поискать в сосенках сучков, пригодных для костра. Луч фонарика освещал пучки сосновых иголок. От ударов ливня они повернулись остриями к земле.

— Эй!.. — донеслось откуда-то.

Мы остановились, прислушиваясь, и даже Дочка, Генкина овца, замерла на тропинке.

— Эй, кто там с фонариком? — снова донеслось с другой стороны картофельного поля.

— Молчи, дядь, молчи! — шепнул Генка.

— Почему? — неуверенно спросил я.

— Кто его знает, чего он кричит…

Мы постояли немного, помолчали и снова пошли потихоньку краем поля. Рыхлой была земля под полёгшей травой, и слышно было, как жадно, взахлёб, булькая, журча, всасывает она воду. Лужи разлились под ногами. Глинистая тропинка была — скользкая рыба налим.

— Эй, с фонариком!..

— Эй! — ответил я.

— Помогите…

Голос тревожно оборвался, заглох в сыром воздухе.

— Дядь, — сказал Генка, — мне домой надо. А то поздно. Отец будет ругать.

— Давай, — ответил я. — Будь здоров. А я схожу узнаю, чего он там орёт.

Я включил фонарик и пошёл по меже, прямо через поле. Генка остался было на тропинке, но потом, обругавши для чего-то овцу, потянул её за собой, догоняя меня.

— Узнаю хоть, чего он там орёт, — сказал Генка, и мы побежали через картофельное поле.

За мутью, проплывающей быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна — плавно, как стеклянный поплавок от рыбацких сетей в волнах.

Плод на невидимом стебле — покачивалась луна в дрожащей пелене.

На бегу я светил фонариком, и перед нами прыгало круглое электрическое пятно, выхватывающее чёрные султаны картофеля и соцветия его, сочные после дождя, как сирень. Овца то путалась где-то сзади, то, как гончая, выскакивала вперёд и спотыкалась, дико оглядываясь.

В электрическом пятне, над волнами картошки, я увидел тёмную фигуру. Человек, очень длин-

ный, жердеобразный, кланялся земле и кричал, размахивая руками:

— Эй, с фонариком, беги шибче!..

Он горстями захватывал землю и скидывал её в одно место, насыпал земляной холмик. Неприятной, чем-то опасной показалась мне эта фигура, не хотелось к нему подходить, да и Генка тормозил меня за рукав.

— Ты кто будешь? — спросил я, остановившись шагах в пяти.

— Да Грошев я с Большой Волги! — закричал он, как будто я всех должен был знать на Большой Волге. — Охотимся мы здесь.

— А зачем звал-то?

— Молния друга зашибла! Помогай! Заваливай!

— Погоди, — не понял я. — Молния? А где ж друг-то?

— Да вот он, — сказал Грошев и ткнул под ноги, наклонился, ухватил земли в пригоршни.

Землёю он покрывал человека. Торчала наружу из холмика голова, и ясней лица видны были круглые картофелины, вырытые из земли. Страшным, обугленным показалось мне это лицо, и я не решался направить на него фонарик.

— Насмерть?

— Да не знаю я! — испуганно закричал Грошев. — Как молния лопнула, зашипел и лежит, а я-то в сторонке был, у сосенок.

— Что ж ты его хоронишь? Может, он жив?

— Так полагается. Полагается землёй засыпать. Посвети-ка.

Он нагнулся, и захлюпала земля под его руками, чмокнуло что-то в ботве.

— Это верно, дядь, — зашептал Генка. — Земля молнию из человека обратно высасывает.

— Засыпай, засыпай скорее, что стоишь!

Я скинул куртку, бросил ружьё, ковырнул ладонями землю. Взрыхлённая ливнем, она легко расступалась под руками, выламывалась жирными тяжёлыми комьями. Генка захлестнул овечью верёвку петлёй на руке и быстро-быстро стал выгребать землю из-под кустов картошки.

— Коля, вставай! Коля! — бормотал Грошев, обращаясь, как видно, к человеку, лежащему в земле.

Мгновенно прошиб пот. Я не видел в темноте, куда бросаю землю, и не разбирал, где земля, где картошка. Генка прерывисто дышал рядом, и подпрыгивала овца на соседней меже.

Горстями, комьями безостановочно кидали мы землю. Грошев сгибался-разгибался, как колодез-

ный журавель.

— Давай, давай! — подгонял он и тут же сбивчиво начинал объяснять, как было дело: — Кругом блестело, кругом. Ну гроза! А я-то в сторону глядел. Вдруг смотрю — лежит… Куда она ударила? В голову или нет?

— Земля молнию высосет, — шептал Генка и вдруг громко кричал: — Дочк, Дочк, Дочк!..

«Э-э-э-э-э…» — отвечала Дочка и дёргала верёвку, рвалась домой.

— Хватит, — сказал я. — Толку нет. Так мы его землёй задушим.

Со стороны я осветил фонариком лицо лежащего. Оно было черно, неподвижно. И глаза были закрыты. Надбровные дуги, вобрав свет, казались особо выпуклыми.

От сполохов свинцом блестела вокруг картофельная ботва. Было б странно, если б из неё поднялась сейчас живая птица с перьями, клювом, глазами.

— Надо сердце послушать.

— Какое сердце! — раздражённо закричал Грошев. — Пускай ток в землю уйдёт.

— Видишь — не уходит.

— Что ж делать? Что ж делать? В деревню, что ль, бечь! Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда

я дену-то его, если не встанет?

Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадёжно — слушать под ней, как слушать отпиленную чурку.

Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка — всхлипывала, пищала дождевая вода, пропитывая землю.

— Дядь, дядь! — закричал Генка. — Ведь он одетый! Одежда не пускает ток!

— Фу, чёрт!.. Разгребай, разгребай скорее… Надо раздеть…

Я схватился за пуговицу, рванул… Где нож?

— Как же я забыл! — стонал Грошев. — Раздеть надо… Где нож? Режь, разрезай китель.

— Ген, посвети… Да нет, сюда свети!

Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, коробилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.

— Оставь сапоги… Сюда свети.

Мы разорвали, разрезали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землей.

Сейчас, сейчас, ещё немного, и всё будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет,

вберёт в себя вместе с дождевою водой.

— Надо железо приложить!

— Какое железо? Где оно? Засыпать полагается.

— Дядь, дядь, ружьё, оно железное.

Я поднял ружьё, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно заскрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.

— Хорошо, хорошо, сейчас оживёт, — говорил Генка. — Оживает, оживает…

— Поздно, — сказал Грошев. — Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.

— Води, дядь, води, он оживёт, вот увидите…

— Беги, Ген, в деревню.

— Да ещё не поздно. Води ружьём, дядь.

Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружьё.

— Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну, скорее!

— Надо искусственное дыхание, — сказал я.

— Какое дыхание! — раздражённо вдруг крикнул Грошев. — Засыпать полагается! — И тут же обмяк. — Ну, делай, делай дыхание-то.

— Да я и сам не знаю, как его делать.

— Руками же надо разводить! — умоляюще сказал Генка. — Быстро-быстро!

Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, ещё надавил, отпустил.

Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать её к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.

— Сейчас оживёт, — убеждал Генка. — Ещё, ещё…

— Раз-два… — стал приговаривать я.

— Раз-два… Раз-два… — поддержал Генка. — Дыши, дыши…

Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?

— Вставай, дядь, вставай, — приговаривал Генка.

— Землёй надо засыпать, — бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.

— Раз-два… раз-два… — твердил Генка и не давал нам остановиться.

Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.

— Что я бабе его скажу? — спросил он.

— Тише, тише… Он дышит!

В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.

Где-то далеко на шоссейной дороге за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжёлые капли падали на землю с листьев картошки.

Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники — вместе прятались от грозы, ловили овцу.

— Придумай что-нибудь, — попросил Генка. — Придумай, дядь. Он оживёт.

— Можно воздух вдуть, — нерешительно сказал я.

— Вдувай! Вдувай! — сразу обрадовался Генка. — В нас воздух живой. Он войдёт в него и оживит.

— Да уж поздно.

— Вдувай, дядь, — просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.

Грошев настороженно слушал нас. Овца легла на землю, задёрганная верёвкой.

— Ну, посвети.

Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щёки, вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.

Гак! — вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.

Николай дрогнул, повёл рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:

— Чтой-то?

Час прошёл или больше, как кончилась гроза?

У палатки горел уже костёр. Дым от него шёл влажный, утяжелённый, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.

Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землёй лицо, тяжко дышал, закашливался дымом.

Грошев снял брюки и размахивал ими над огнём.

Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.

— Я прямо не верил, что всё обойдётся, — весело сказал Генка.

Он восхищённо глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.

— И папиросы-то намокли, — хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.

— А мы их посушим! — обрадовался Генка.

Николай вяло махнул рукой — дескать, ладно, чего там.

Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить.

Под взмахами загудели сучья, располыхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.

— Сбоку молния ударила или как? — спросил я Николая.

— Прям под ноги.

— Тогда б ты не встал. Она тебя тряхнула только и об землю бросила, — возразил Грошев.

— Говорю я — под ноги, — повторил Николай.

— Ух, жара! — сказал Грошев, отскочил от костра. — Ташкент!

— Это ещё не Ташкент, — ответил Генка, протягивая к огню руки. — Сейчас-сейчас, разгорятся…

— Генка-а-а! — послышалось недалеко. — Ге-

на-а-а-а!

— Батя! — испуганно вскочил Генка. — Батя меня ищет!

Он дёрнул овцу за верёвку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.

— Иду-у-у! — закричал он.

— Идёшь? — слышался сердитый голос. — Ты куда провалился, а?

— Эй, дядя Паша! — крикнул я. — Иди к огню!

— Тебя мамка ждёт или не ждёт? — закричал дядя Паша, не обращая на меня внимания. — Ты где был, а?

В голосе его звучала такая гроза, что я схватил фонарь и поспешил за Генкой.

— Мамка кричит, что тебя молния убила! Ты думаешь об ней или нет?

— Бать, бать… — толковал в темноте Генка. — Я думаю… Правда думаю…

— Эй, дядя Паша, да погоди ты! — сказал я, догнавши их на тропинке.

— Тебя мамка ждёт или нет? — кричал дядя Паша. — А ты костер жгёшь! Я те дам костра!

Тут дядя Паша действительно дал костра и добавил овечьей верёвкой. Генка сразу, не сходя с места, заревел басом.

— Да погоди ты! — закричал я, ослепляя дядю

Пашу фонарём. — Генка не виноват. Тут человека молнией зашибло, а он помогал!

— Чего? — кричал дядя Паша, не признавая меня. — Тебя не спрашивают! Если тебя не ждут, так ты жги костёр, а парня не приваживай!

— Да тут несчастье случилось!

— А ну пошли домой! Тебе мамка даст! Все глаза проплакала!

— «Проплакала»! — неожиданно возразил Генка. — Небось телевизор смотрит.

— Ты поговори, поговори! — кричал дядя Паша и быстро потащил и Генку и овцу его в темноту. — Костёр они жгут! И так весь лес спалили!

Я остался на месте и долго ещё слышал, как дядя Паша ругал сына:

— Тебя мамка ждёт или нет?

Почему-то он особенно напирал на то, что Генку ждала именно мамка, а он вроде бы и не ждал.

— Бать, бать... — послышался в последний раз Генкин голос. — Я больше не буду...

Грошев всё махал брюками над костром.

— Я-то в сторону глядел, — объяснял он Николаю. — Потом смотрю — тебя нет. А ты в картошке лежишь!

— Пыхнула только, — ответил Николай. — А дальше не помню.

Грошев махнул брюками — с костра взлетел пепел, закружились его хлопья, словно моль, серые мотыльки. Сосновые искры потянулись в небо, остановились высоко над костром.

— Дома, — сказал Грошев, — я б сейчас телевизор включил. Семечек насыплю в блюдо и весь вечер сижу.

Он махал брюками и отскакивал от костра, когда искра попадала на голые колени.

— Ну гроза была! Только пыхнула — тебя нет! А ты в картошке лежишь.

— Прям под ноги ударила, — добавил Николай.

— Я давай тебя засыпать. Сыплю, сыплю, а ты не отходишь. Тут этот прибежал с фонариком. Искусственное дыхание, говорит, надо. Ты не врач, а?

— Китель бы мне зашить, — сказал Николай.

Я залез в палатку, устроился рядом с ним, подложил под голову рюкзак.

Грошев перестал махать брюками, надел их, присел на корточки у костра.

— Ну и денёк сегодня был! — сказал он. — Ну и денёк! И ведь утром всё началось. Кудлатый какой-то выскочил из тумана — прямо на меня! Руками машет и кричит: «Леший я, леший!» Морда страшная!

— Да, — вспоминал Николай, — верно. Утром всё началось.

— Что ж, — спросил я, — и ты, Николай, видел лешего?

— Видать-то не видел. Слышал только, как он рычит.

— А я видел, — зашептал Грошев и оглянулся тревожно на тёмный за спиною лес. — Кудлатый, белый. Прямо на меня выскочил. Я хотел врезать ему с правого ствола — осечка! С левого — опять осечка!

Николай, засыпая, дёргался, будто колола его под локти и под колени электрическая искра. Жар костра доходил до палатки, горячил лицо.

— Леший! — всё вспоминал Грошев, глядя в огонь. — Да что же это такое, а?

— Так, — ответил я, уже задрёмывая. — Так, наверное, явление природы.

Листобой

Ночью задул листобой — холодный октябрьский ветер. Он пришёл с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.

Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья.

Раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья берёзы, растущей под окном.

К утру берёза эта была уже раскрыта настежь. Сквозь ветки её текли и текли холодные струи листобоя, чётко обозначенные в сером небе битым порхающим листом.

Паутина, растянутая в ёлочках строгим пауком-крестовиком, была полна берёзовых листьев. Сам хозяин её уже скрылся куда-то, а она всё набухала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.

Найда

Найда — это имя так же часто встречается у

гончих собак, как Дамка у дворняжек. Верная примета: гончая по имени Найда всегда найдёт зверя.

Когда я приезжаю в деревню Стрюково к леснику Булыге, у крыльца встречает меня старая Найда, русская пегая. Её белая рубашка расписана тёмными и медовыми пятнами.

— Ей скоро паспорт получать, — шутит Булыга. — Шестнадцать осеней.

Не годами — осенями отмечают возраст гончих собак. Лето и весну они сидят на привязи, и только осенью начинается для них настоящая жизнь.

Про молодую собаку говорят — первоосенница. Про старую — осенистая.

Найда немало погоняла на своём веку и заработала на старости лет свободную жизнь.

Молодые гончие Ураган и Кама на привязи, а Найда бродит где хочет.

Да только куда особенно ходить-то? Всё исхожено. И Найда обычно лежит на крыльце, приветливо постукивая хвостом каждому прохожему.

В октябре, когда грянет листобой и начнётся для гончих рабочая пора — гон по чернотропу, — Найда исчезает.

Целый день пропадает она в лесу, и от дома

слышен её глухой голос — то ли гонит, то ли разбирает заячьи набродыы.

Заслышав её, Ураган и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадоренные гонным голосом Найды.

К ночи возвращается Найда, скребётся на крыльце, просится в дом.

— Куда-а? — хрипло кричит от стола Булыга. — В дом? Там сиди!

Но после всё-таки открывает дверь, впускает Найду.

Покачивая головой, кланяясь, она переступает порог и, прихрамывая, идёт к печке. Мякиши — так называют подошвы собачьих лап — сбиты у неё в кровь.

Найда ложится в тёплом углу у печки и спит тревожно, дёргается, лает, перебирает лапами во сне — гонит, видно, осенистая.

Гонит, гонит…

По чернотропу

— Эй, давай-давай! Догоняй-добирай!

Мы с Булыгой бежим по лесу, кричим-поём, разжигаем собак.

— Где он? Где он? Где он? — на высокой ноте

стонет Булыга.

— Вот он! Вот он! — поддерживаю я.

Собаки уж и сами разожжены. Огромный камнелобый Ураган проламывается по кустам, глаза его приналиты кровью; узкокостная, извилистая Кама носится вокруг и нервно дрожит, фыркает, припадая к палому листу.

Вот Кама подаёт голос, короткий, неуверенный. Эту первую фразу гона даже и нельзя назвать лаем. Это возглас. Так охнула бы женщина, уронившая кувшин с молоком: «Ой!»

— Ой-ё-ё-ё-ёй! — сразу подхватываем мы с Булыгой, и где-то в кустах хрипло рявкает Ураган, прочищает горло, утомлённое летним глупым, безгонным лаем.

Кама заливается сплошной трелью, голос её возвышается с каждой фразой, к ней подваливают старая Найда и Ураган — звенит, бьётся, колотится меж ёлок, разливается по чернотропу, по застывающему предзимнему лесу голос гона.

— Напересёк! — кричит Булыга.

— Напересёк! — отвечаю я и бегу куда-то, уж и сам не знаю куда: напересёк, на поляну, на просеку, в березняк, где таится в кустах, где мчится мне навстречу взматеревший осенний беляк.

Веер

На рябине, что росла у забора, неведомо откуда появилась белка.

Распушив хвост, сидела она в развилке ствола и глядела на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях.

Белка побежала по стволу и повисла на ветке, качнулась — перепрыгнула на забор. Она держала во рту гроздь рябины.

Быстро пробежала по забору, а потом спряталась за столбик, выставив наружу только свой пышный, воздушный хвост.

«Веер!» — вспомнил я. Так называют охотники беличий хвост.

Белка спрыгнула на землю, и больше её не было видно, но мне стало весело. Я обрадовался, что поглядел на белку и вспомнил, как называется её хвост, очень хорошо — веер.

На крыльце застучали сапоги, и в комнату вошёл лесник Булыга.

— Этот год много белки, — сказал он. — Только сейчас видел одну. На рябине.

— А веер видел?

— Какой веер? Хвост, что ли?

— Тебя не проведёшь, — засмеялся я. — Сразу догадался.

— А как же, — сказал он. — У белки — веер, а у лисы — труба. Помнишь, как мы лису-то гоняли?

Лису мы гоняли у Кривой сосны.

Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, и мы никак не успевали её перехватить.

Потом я выскочил на узкоколейку, которая шла с торфяных болот, и увидел лису. Мягкими прыжками уходила она от собак. В прыжке она прижимала уши, и огненный хвост стелился за нею.

— А у волка хвост грубый и толстый, — сказал Булыга. — Называется — полено.

— А у медведя хвостишко коротенький, — сказал я. — Он, наверное, никак не называется?

— Куцик.

— Не может быть!

— Так говорят охотники, — подтвердил Булыга. — Куцик.

Этот куцик меня рассмешил. Я раскрыл тетрадку и стал составлять список хвостов: веер, труба, полено, куцик.

На рябину тем временем вернулась белка. Она снова уселась в развилке ствола и оглядывала ягоды, свесивши свой пышный хвост — веер.

Был конец октября, и белка вылиняла уже к зиме. Шубка её была голубая, а хвост — рыжий.

— Мы забыли зайца, — сказал Булыга.

А ведь верно, список хвостов получался неполный. Зайца забыли.

Заячий хвост называется — пых.

Или — цветок.

Ночные налимы

С первыми холодами в Оке стал брать налим.

Летом налим ленился плавать в тёплой воде, лежал под корягами и корнями в омутах и затонах, прятался в норах, заросших слизью.

Поздно вечером пошёл я проверить донки.

Толстый плащ из чёрной резины скрипел на плечах, сухие ракушки-перловицы, усеявшие окский песчаный берег, трещали под сапогами.

Темнота всегда настораживает. Я шёл привычной дорогой, а всё боялся сбиться и тревожно глядел по сторонам, разыскивая приметные кусты ивняка.

На берегу вдруг вспыхнул огонь и погас. Потом снова вспыхнул и погас. Этот огонь нагнал на меня тревогу.

Чего он там вспыхивает и гаснет, почему не

горит подольше?

Я догадался, что это деревенский ночной рыбак проверяет удочки и не хочет, видно, чтоб по вспышкам фонаря узнали его хорошее место.

— Эй! — крикнул я нарочно, чтоб попугать. — Много ли наловил налимов?

«Многолиналовилналимов…» — отлетело эхо от того берега, что-то булькнуло в воде, и не было больше ни вспышки.

Я постоял немного, хотел ещё чего-нибудь крикнуть, но не решился и пошёл потихоньку к своему месту, стараясь не скрипеть плащом и перловицами.

Донки свои я разыскал с трудом, скользнул рукой в воду и не сразу нащупал леску в ледяной осенней воде.

Леска пошла ко мне легко и свободно, но вдруг чуть-чуть напряглась, и неподалёку от берега возникла на воде тёмная воронка, в ней блеснуло белое рыбье брюхо.

Пресмыкаясь по песку, выполз из воды налим. Он не бился бешено и не трепетал. Он медленно и напряжённо изгибался в руке — ночная скользкая осенняя рыба. Я поднёс налима к глазам, пытаясь разглядеть узоры на нем, тускло блеснул маленький, как божья коровка, налимий глаз.

На других донках тоже оказались налимы.

Вернувшись домой, я долго рассматривал налимов при свете керосиновой лампы. Их бока и плавники покрыты были тёмными узорами, похожими на полевые цветы.

Всю ночь налимы не могли уснуть и лениво шевелились в садке.

Шакалок

Около клуба мне повстречался уличный деревенский пёс по прозвищу Шакалок. Он радостно кинулся ко мне, подпрыгивая от восторга.

Я дал Шакалку кусочек хлеба и пошёл по своим делам, а Шакалок побежал за мною.

Мы прошли чуть не всю деревню и встретили почтальона дядю Илюшу. Дядя Илюша отдал мне газету «Труд», и мы распрощались. Шакалок побежал теперь за почтальоном.

Дядя Илюша заходил в каждый дом, а Шакалок терпеливо ждал его на улице. Скоро им повстречался завскладом Колька Кислов, и дядя Илюша остался без собаки. Шакалок бежал теперь за Колькой.

Так целыми днями Шакалок менял хозяина и бегал то за тем, то за другим. А когда не бывало

на улице человека, Шакалок торчал у магазина, поджидая кого-нибудь, за кем можно побежать. Шакалок был пепельно-рыжий пёс, с розовым носом и разными глазами. Бегал он вприпрыжку.

Но вот в деревню Стрюково приехал новый учитель. Он покормил Шакалка городской колбасой, и тот не отставал теперь от учителя ни на шаг. Даже поджидал его у школы.

Раз я встретил учителя на улице. Он торопился в школу, а за ним деловито бежал Шакалок. Мы поздоровались, и я порадовался, что Шакалок нашёл хозяина.

Я пошёл дальше и вдруг почувствовал, что кто-то лизнул мне руку.

Шакалок-то бежал за мною.

Колышки

Ночью в лесу у костра на меня напал страх.

Я глядел в огонь и боялся поднять голову: казалось, кто-то смотрит на меня из темноты.

Костёр медленно загасал. В лесу было тихо. Только вдруг в тишине слышался тоненький треск и короткий шёпот. Кто-то шептался обо мне, и казалось, я даже разбираю одно слово: «ко-лы-шки…»

«Какое дикое слово! — думал я. — К чему оно?»

Взяв топор, я обошёл вокруг костра. Тень двигалась по стволам деревьев, а за спиной кто-то шептался, шушукался.

— Эй! — закричал я. — Чего вы там шепчетесь! Идите к огню…

Испугавшись громкого голоса, надо мной в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится там и шепчется листобой.

Снежура

Листобой пригнал снеговую тучу.

Не доходя деревни, улеглась она на верхушки ёлок, раскинула пятнистые лапы, свесила серую рысью морду. Потом загребла лапой — из лесу посыпались на деревню листья, а с ними одинокие большие снежинки.

В полете снежинки слепливались друг с другом и падали на землю, как узорные блины.

Туча цеплялась за верхушки деревьев, а листобой подталкивал её, гнал, торопил.

Нехотя подползла туча к деревне — густыми волнами повалил снег. Сразу накрыл он огороды, крыши домов.

Несколько антоновских яблок, которые случаем остались на дереве, превратились в белые пухлые лампы.

Прошла туча, и показалось, что наступила зима.

Но уже через минуту снег стал таять. Проступили под ним жёлтые лужи, выползла дорожная грязь, увядшая картофельная ботва.

Побелевшее было поле опять запестрело, и через полчаса кое-где только остались снежные пятна.

Я побежал из дому, нагрёб под берёзой снегу и слепил первый в этом году снежок.

Найда вышла на крыльцо поглядеть, что я делаю.

— Эй, Найда, Найда, лови! — закричал я и хотел залепить в неё снежком, а он уже растаял. В руке от снежка осталось несколько берёзовых листьев.

Октябрьский снег — это ещё не снег. Снежура.

Лось

Кукла, белоснежная лайка, нашла в чернолесье лося.

Гончие сразу подвалили к ней и, когда мы вы-

скочили на поляну, уже обложили лося кругом, заливались, хрипели, исходили яростью.

Наклонив голову к земле, он мрачно глядел на собак и вдруг выбрасывал вперёд ногу — страшное живое копьё.

Один удар пришёлся в берёзку — она рухнула, как срубленная топором.

Мы с Булыгой долго бегали вокруг, ругались, трубили в рога, но никак не могли оторвать собак от лося.

Этого лося хорошо знают деревенские жители. Они боятся его, считают, что он «хулиган», «архаровец». Когда-то он будто погнался за молодой бабой, нападал на коров, приходил много раз в деревню и подолгу стоял у Миронихина дома. Чуть ли не спрашивал: «А где Мирониха?»

Один раз он и меня сильно перепугал.

Затаившись, ждал я на лесном болоте уток, когда вдруг услышал в орешнике треск сучьев и тяжёлое дыхание «архаровца».

Багровый на закате, огромный, ободранный, тонконогий, он вышел на поляну и стал в десяти шагах, глядя на меня.

Я поглубже ушёл в ёлку, а он всё глядел на меня, раздувая ноздри, шевеля тяжёлой губой. Чёрт его знает, о чём он думал.

Листья

К утру иногда затихнет, но к вечеру снова расходится и свистит, шастает по деревьям, швыряется листьями надоедливый листобой.

Берёзки на опушке давно уже сдались ему; без листьев сразу стали они сиротливыми, растерянно стоят в пожухлой траве.

А осины совсем омертвели. Вытянув крючья веток, они ловят чужие листья, как будто никогда не имели своих.

Я поднял осиновый лист. Обожжённый бабьим летом, лист горел, как неведомая раковина. Огненный в центре, он угасал к краям, оканчивался траурной каймой.

В глубине леса нашёл я клёны. Защищённые ёлками, неторопливо, с достоинством роняли они листья.

Один за другим я рассматривал битые кленовые листья — багряные с охристыми разводами, лимонные с кровяными прожилками, кирпичные с крапом, рассеянным чётко, как у божьей коровки.

Клён — единственное дерево, из листьев которого составляют букеты. Прихотливые,

звёздчатые, они ещё и разукрасились таким фантастическим рисунком, какого никогда не придумает человек.

Рисунок на листьях клёна — след бесконечных летних восходов и закатов. Я давно замечаю: если лето бывало дождливым, малосолнечным, осенний кленовый лист не такой молодец.

Кувшин с листобоем

Сырой землёй, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листобой.

На речном обрыве, где ветер особенно силён, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобоя и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил её воском.

Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашенную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.

Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землёй, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.

От Красных ворот
Повесть

С братом Борей, дорогим моим братом Борей, мы плыли на лодке по реке Сестре.

Я ленился. Сидел на корме, шевелил босою ногой, подталкивал полуживых подлещиков, пойманных на манную кашу. Подлещики полуживые шевелились у моих ног в воде, которая всегда набирается во всякую приличную лодку.

Я-то ленился, шевелил полуживых подлещиков, а Боря — мой дорогой брат — серьёзно наваливался на вёсла.

Боря спешил, торопился Боря, он боялся опоздать на автобус.

В том месте, где река Сестра проходит под каналом, то есть в том самом удивительнейшем месте, где пересекаются река и канал, и русло канала в бетонной оболочке проходит над живою рекой, — в этом самом месте я увидел на берегу реки небольшого роста беленькую собачонку.

Собачонка бежала по берегу, а мы с Борей плыли по реке.

Я ленился, Боря спешил, собачонка бежала.

От нечего делать, просто так, из чистого баловства я поманил собачонку пальцем, а после вытянул губы и издал специальный собачий звук, тот звук, которым всегда подманивают собаку. Звук этот записать буквами довольно трудно, он похож на эдакий всасывающий поцелуй. Если пытаться изобразить этот звук буквами, получится что-то вроде «пцу-пцу».

И вот я проделал это самое «пцу-пцу» и сидел себе лениво на корме.

Маленькая беленькая собачонка услыхала этот немыслимый звук, поглядела на меня с берега и вдруг бросилась в воду.

Ничего подобного ожидать я никак не мог.

Это ненормальное «пцу-пцу» я произнёс нарочно, юмористически. Я подманивал собачонку, прекрасно понимая, что она подойти ко мне никак не может. Это самое «пцу-пцу» подчёркивало разницу наших положений: я — в лодке, а собака — на берегу. Нас разделяла бездна, то есть вода. Никакая нормальная собака в воду не полезет, если её не подтолкнёт хозяин.

Маленькая беленькая собачонка оказалась ненормальной. Она кинулась на первое приглашение, не раздумывая преодолевала бездну. Она плыла ко мне.

Когда она подплыла к лодке, я схватил её за шкирку и втащил в судно. Маленькая беленькая собачонка чудовищно отряхнулась среди полуживых подлещиков.

Брат мой Боря бросил вёсла. Он должен был что-то сказать. Но он молчал, он не знал, что сказать. Моё беспардонное «пцу-пцу», реакция собачонки, её плаванье, втаскиванье за шкирку и чудовищное отряхиванье — всё это произошло мгновенно. Боря не знал, что сказать, а сказать что-то было надо. Старший брат в таких случаях всегда должен что-то сказать.

Я не знаю, что сказали бы в таком случае другие старшие братья, но мой гениальный брат думал недолго. Строго осмотрев собачонку, он сказал:

— Гладкошёрстный фокстерьер.

Брат мой Боря спешил, торопился Боря. Мигом подогнали мы лодку к тому месту, где стоял на берегу её хозяин. Мигом отдали хозяину трёшку, мигом добавили ещё рубль, мигом связали удочки и покидали в мешок подлещиков.

И вот мы уже бежали на автобус. Маленькая беленькая собачонка бежала за нами.

Автобус мчался по шоссе, мы бежали вдоль дороги. И нам, и автобусу надо было сойтись в одной точке, у которой уже толпился народ. Эта

точка называлась «Карманово».

Автобус всё-таки нас опередил. Он уже стоял, а мы ещё бежали, но шофёр-добряк видел нас, бегущих, и не торопился отъехать.

Мы добежали, мы ввалились в автобус, мы сбросили рюкзаки, мы уселись на эти особенные автобусные диванчики, мы устроились, и все пассажиры устроились, и мы могли уже ехать. Шофер почему-то медлил. Может быть, он прикуривал?

Я глянул в открытую дверь автобуса и увидел на улице, на обочине шоссе, маленькую беленькую собачонку, чью породу так верно определил Боря. Она смотрела в автобус. Шофёр медлил или прикуривал. Мы уже сбросили рюкзаки и сидели на особенных автобусных диванчиках. Мы отирали мгновенный пот. Боря уже не спешил, он не опоздал. Шофёр все прикуривал. Собачонка смотрела в автобус, на меня.

Просто так, от нечего делать, по-лентяйски я сделал губами тот самый немыслимый и беспардонный звук, то самое «пцу-пцу», о котором я уже рассказывал. Маленькая беленькая собачонка ринулась в автобус, мигом спряталась под тот особенный автобусный диванчик, на котором сидел я, и затаилась у моих ног.

Пассажиры автобуса заметили это, но сделали вид, что ничего не заметили. Шофёр прикурил, двери закрылись, и мы поехали.

Брат мой Боря должен был что-то сказать. Моё вторичное малопардонное «пцу-пцу», которое привело к известному результату, удивило его. Удивило его и поведение маленькой беленькой собачонки, которая сидела сейчас у моих ног под тем особенным автобусным диванчиком.

Брат мой Боря, мой единственный братик, сказал:

— Гладкошёрстные фокстерьеры, — сказал он, — встречаются реже, чем жесткошёрстные.

Так и не говорил Боря ничего более, пока мы тряслись в автобусе. Он долго оставался автором этих двух гениальных фраз.

Но когда мы сели в поезд, в электричку, в городе Дмитрове и когда маленькая беленькая собачонка устроилась у моих ног под той особенной деревянной лавочкой, Боря сказал фразу малогениальную.

Я вначале её даже не услыхал, я надеялся, что он не станет её повторять, я думал, он понимает, что ему никогда в жизни не надо говорить малогениальных фраз.

Но Боря-чудак всё-таки повторил её.

— А что скажет отец? — повторил он.

Что скажет отец, знали, конечно, все. Знал я, и знал мой брат Боря. Все жители нашего дома у Красных ворот знали, что скажет отец.

Отец мой, мой дорогой отец, которого давно уже нет на свете, не любил домашних животных. Он не любил никаких домашних животных, кроме, конечно, лошадей. Он обожал лошадей, и страсть к лошадям погубила в нём возможные страсти к другим домашним животным. Он не любил никаких домашних животных, и особенно свиней.

Отец мой в юности, далеко-далеко, в той деревенской своей юности, когда он и не знал, что такое город, в той юности отец имел лошадей.

Сам он их, конечно, не имел, их имел его отец, то есть мой дед. А мой отец пас этих лошадей и гонял их в ночное. На ночь уводил он их из деревни в лес или в поле и пас их, а на рассвете пригонял в деревню. Он не должен был при этом спать, он должен был пасти лошадей. Но он мечтал поспать.

И он привязывал лошадей за верёвку к собственным рукам и спал, а они паслись и таскали моего отца на этой верёвке по лугам и полям. А он спал. Ему даже нравилось так спать на траве, когда пасущиеся лошади таскают его на верёвке.

Однажды он проснулся, подёргал за верёвку и почувствовал, что лошади здесь, только как-то они «туго стоят». Отирая свои глаза, он взялся за верёвку и, перебирая её руками, пошёл к лошадям. И он увидел, что верёвка привязана к дубу, а лошадей нету. Лошадей не было, их украли цыгане, а верёвку привязали к дубу, пока спал отец мой на траве.

Эта история была решающей и роковой в его жизни.

Потеряв лошадей, отец мой — тогда ещё очень молодой человек — напугался. Были утрачены две лошади — кормильцы огромной семьи, и отец не решился явиться под глаз своего отца — моего деда. Он сбежал и после долгих странствий оказался в Москве, где и встретил мою маму.

Потом-то отца моего простили, потом-то из Москвы он пытался помочь моему деду, и всё-таки эта история была роковой. Никакая московская помощь не может заменить двух лошадей — кормильцев огромной семьи.

Итак, отец мой не любил никаких домашних животных и особенно свиней. Он обожал только лошадей, но он не имел права обожать их вблизи, он их обожал издали. Сердце его радовалось, когда по улицам Москвы проезжала конная милиция.

Отец смеялся от души, когда видел конную милицию. Его удивляло, как же это так — милиция и вдруг лошади, — это несовместимо. Но это совмещалось на улицах Москвы, особенно когда играли футбольные команды ЦДКА — «Динамо». Тогда бывало отчего-то особенно много конной милиции.

Когда играли «Спартак» — «Торпедо», никакой конной милиции не бывало вовсе. Отчего это происходило, москвичи не понимали.

Отец обожал лошадей. Страсть к другим домашним животным совершенно отсутствовала в его душе, и всем ясно было, что скажет отец, когда увидит маленькую беленькую собачонку, которую он пока не видел и которая сидела пока в электричке Дмитров — Москва у моих ног.

Отец не сказал ничего.

Он даже как будто не заметил маленькой беленькой собачонки. Он был потрясён теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете. И ещё он был потрясён событиями, которые происходили в нашей семье.

Потрясённый этими событиями, отец не заметил никакой маленькой беленькой собачонки. То есть никто не заметил, что он её заметил, кроме, конечно, меня. Я-то прекрасно понял, что отец

собачонку видит, но ему, потрясённому многими потрясающими событиями, просто не пристало её замечать.

Все ожидали, что отец начнёт говорить насчёт собачьего духу, которого чтоб не было, а он подошёл ко мне и негромко сказал:

— Сам.

Повернувшись ко мне спиною, он прошёл в кабинет.

Ожидая, что отец скажет насчёт духу, которого чтоб не было, никто вначале не понял, что он имел в виду, говоря «сам». Это слово не слишком связывалось с домашними животными.

Но я всё понял. Я понял, что «сам» — это я сам. Раньше я был не сам, а теперь сделался сам в связи с теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете и в нашей семье.

Раньше я был младший ребёнок, а теперь сделался «сам», и маленькая беленькая собачонка — первый признак моего нового положения. А раз я сделался «сам», я имею право заводить хоть маленькую беленькую собачонку, хоть жеребца, но всё это — на мне. Сам пою, сам кормлю, сам воспитываю, сам за всё отвечаю. Сам.

Отец сказал «сам», повернулся и прошёл в ка-

бинет, а родственники минуты две думали, что означает его фраза, столь короткая и простая. А на третью минуту все отвлеклись от меня, от слова «сам» и от маленькой беленькой собачонки, которая стояла в коридоре, тесно прижавшись к моей ноге.

На третью минуту мы были забыты. Все в нашей семье были заняты событиями, которые происходили тогда в мире и в нашей семье. В мире происходили тогда события, которые всем известны, а в нашей семье женился Боря. Три дня оставалось до его свадьбы.

Нас позабыли, нас отправили спать, а сами на кухне долго ещё обсуждали то, что должно было произойти через три дня.

Глубокой ночью Боря вошёл в комнату, где я пытался уснуть и где спала, посапывая, у меня под кроватью маленькая беленькая собачонка.

— Как её звать-то? — спросил Боря. — Как ты хочешь назвать эту собачонку из группы терьеров?

— Знаешь, — сказал я, — мне хочется назвать её Миледи.

— Миледи? — удивился Боря.

— Миледи, — признался я.

Я тогда очень любил эту книгу, «Три мушкетёра», и давно уже решил, если у меня будет собака,

назвать её Миледи.

— Миледи, — сказал Боря. — Красивое имя. Только извини, братишка, это имя собаке никак не подходит.

— Почему же? — замирая, спросил я.

— Потому что это явный Милорд.

С братом Борей, дорогим моим братом Борей творились чудеса. Боря бледнел на глазах, он бегал по городу и по квартире, он разговаривал по телефону на английском языке. Меня и собачонку он вовсе не замечал, и я понял, что надо потерпеть, надо переждать, пока кончится его гениальная свадьба и Боря придёт в себя и вернётся ко мне и к маленькой беленькой собачонке.

Боря бледнел, звонил по-английски, а я присматривался к собачонке, которая внезапно получила наименование Милорд.

Я всю жизнь терпеть не мог маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками.

Розовые, розовые, розовые глазки!
Из-за вас
в который раз
хожу на перевязки.

Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи.

Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньончики.

Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам — ирландским и гордонам, я уважал дратхааров, преклонялся перед западно-сибирской лайкой.

Впрочем, Милорд не был таким уж маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньончиком.

Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали чёрные и коричневые пятна. Одно ухо — чёрное, а вокруг глаза расширялось коричневое очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок — осмысленные, карие, с золотинкой.

И всё-таки для моих широких собачьих воззрений Милорд был мелковат. Его можно было назвать словом «кобелёк», и это меня огорчало. Чего уж там — «кобелёк», надо бы — «кобель».

Боря, братик мой дорогой, по телефону говорил на английском языке для секретности обстановки. Но мне ясно было, что говорит он со своей воздушной невестой, которая этот язык

понимает, а мне надо пока обождать. И я ждал, размышляя, совпадает ли Милорд с широтой моих собачьих воззрений? Не шампиньончик ли он? Всё-таки я приходил к выводу, что он хоть и кобелёк, но не шампиньончик.

Странно всё-таки это получилось, что у меня объявился Милорд.

Мое беспардонное «пцу-пцу» почему-то показалось ему столь замечательным, что он, не раздумывая, бросился в воду. Не обещал ли я ему чего-нибудь лишнего, когда исторгал этот немыслимый звук?

Но что, собственно, обещает собаке человек, когда произносит «пцу-пцу»? Да ровно ничего, кроме сухарика и лёгкого потрёпывания за ухо. И Милорд получил это сразу же, в лодке. На всякий случай он побежал за мной к автобусу, ожидая, не перепадет ли ему ещё чего-нибудь.

И ему перепало второе «пцу-пцу», решающее. И он ринулся в автобус.

Он выбрал меня, он порвал с прошлым. И я принял его.

Судьба точным движением свела нас в одной точке.

Самое же удивительное было то, что отец сказал «сам». Это слово подтверждало точное движение

судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда Милорду был нужен я, мне — он и когда отец не мог ничего возразить.

Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой Боря разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до безумных размеров. Мы гуляли у Красных ворот.

У Красных ворот стоял наш дом — серый и шестиэтажный, эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных ворот.

Я гордился тем, что живу у Красных ворот.

В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих:

— Ты где живёшь?

— На Земляном или на Садовой, — отвечали прохожие.

— А я у Красных ворот.

Это звучало сильно.

Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давно-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю,

а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле.

Не было, не было Красных ворот, и всё-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом.

Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку.

Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты.

Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Лёнечка играл на гитаре «чёсом» «Свадебный марш» Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Мироныч.

Было много гладиолусов.

Невеста с божественным именем Ляля была воздушна.

Крик «горько» бушевал как прибой, плавно переходя временами в «Тонкую рябину».

Боже, кого только не было на этой сногсшибательной свадьбе! Были, конечно, и Голубь, и Литвин. Был величайший человек нашего дома, а впоследствии дипломатического мира, блистательный Сережа Дивильковский. Была Танька Меньшикова, были Мишка Медников и Вовочка Андреев… Нет, постой, Вовочки вроде не было. А

кто же тогда играл на аккордеоне-четвертинке?

А вот Бобы Моргунова не было. Боба должен был бы быть на моей свадьбе, которая впоследствии не состоялась.

Ну уж а Витька-то был. Как же не быть Витьке-то по прозвищу Старик?! Был Витька, был!

Со двора в открытые окна врывался свист шпаны. Шпана свистела весь вечер, но это было слишком. Я уже вынес ей три бутылки портвейна, сала и пирогов.

После полуночи послышались крики:

— «Мальчик весёлый»! «Мальчик весёлый»!

Это на эстраду вызывали меня. Это означало, что «Тёмная ночь» и «Бесамемуча» уже отгорели. Требовался «Мальчик весёлый», и я вылетел под свет свадебных прожекторов.

Маэстро Соломон Мироныч ударил вступление, гитарист-хулиган прошелся «чёсом», Боря ласково улыбнулся мне.

Эту песню про весёлого мальчика меня заставляли петь всегда. Считалось, что я пою её изумительно и особенно с того места, где начинается «Ай-я-яй». Эту песню я люто ненавидел и особенно с того места, где начиналось «Ай-я-яй».

Но вступление было сыграно, Боря улыбнулся, а я никогда в жизни не мог его подвести.

Лихо надета набок папаха,

Эхо разносит топот коня, –

начал я тоненьким голосочком, в котором чувствовался некоторый грядущий топот копыт, –

Мальчик весёлый из Карабаха,

Так называют люди меня.

И далее следовало чудовищное по своей безумной и неудобоваримой силе «Ай-я-яй».

Меня слушали недоверчиво и тупо, как вообще слушают подростков-переростков, но я-то понимал, что на предпоследнем «яй» слушатели лягут. И слушатели это недоверчиво понимали и тупо хотели лечь, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они легли.

И они ещё лежали, когда я предложил им:

Пейте, кони мои!

Пейте, кони мои!

Лежащих надо было поднимать, надо было их напоить, и им самим хотелось подняться и напиться, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они поднялись и напились, и каждый второй из них чувствовал себя вороным конём.

Рухнул аплодисмент, кони кинулись к влаге, мелькнуло несколько гладиолусов, а я уже и сам-

то ничего не понимал. Понимал только, что уже утро, рассвет, что, держа в руках бутылку мадеры, меня и Милорда ведёт к себе ночевать Лёнечка, известный в те годы в Москве гитарист-хулиган.

Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он уехал к своей воздушной невесте, к которой мы так спешили тогда с подлещиками и с Милордом. А мне этого не сказали, что Боря уехал навечно, я думал, что ненадолго, как будто в военный лагерь, на переподготовку. И я его ждал ежедневно, потому что жить без него я никогда в жизни не мог.

Иногда Боря вдруг приезжал и ласково смотрел на меня, расспрашивал про Милорда и про те другие важные дела, которые мне предстояли, но родители быстро перехватывали у меня брата и долго разговаривали с ним, и Боря уезжал.

И всё изменилось в жизни, всё изменилось, но я ещё не понимал, что всё изменилось, я толковал себе, что Боря как бы в военном лагере на переподготовке.

А Боря жил теперь у Ляли. И это было далеко от Красных ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре.

И если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу налево — можно дойти пешком до Смо-

ленского бульвара. А если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу направо — тоже можно дойти до Смоленского бульвара.

В метро и в троллейбус с Милордом меня не пускали, и мы ходили по Садовому — то налево, то направо — и всегда добирались до Смоленского бульвара.

Самое удивительное, что никакого бульвара на Смоленском бульваре не было. Там, на Садовом кольце, стояли только серые и жёлтые дома. И всё-таки он был, был там бульвар. Были и деревья и листья, только не было их видно, как не было видно и наших Красных ворот.

Боря меня ласково встречал, и Ляля кормила воздушным обедом, а мне уже пора было домой, на обратную дорогу оставалось полдня.

От Смоленского бульвара я шёл по Садовому кольцу к Красным воротам, и мне казалось, что я потерял брата. Тогда я ещё не понимал, что брата потерять невозможно.

Милорд — вот кто меня веселил.

Он был умён, а следовательно, интеллигентен. Ни о чём я не просил его дважды, и он меня ни о чём не просил и никуда не просился. Он просто жил рядом со мной, как небольшая тень у правого ботинка.

Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал Милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению, он просто сидел рядом с босою ногой, которая постепенно становилась обутой.

Далее мы двигались вместе — я и Милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата, а теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился Милорд.

Произошла замена, и я пока не понимал, что лучше: самому двигаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается.

Я всё-таки желал двигаться у Бориного ботинка, и одновременно пускай бы у моего ботинка двигался Милорд.

Но этого мне не было дано, и спасала только мысль о военной переподготовке.

После завтрака мы с Милордом отправлялись во двор.

Утром во дворе совершенно не было никакой шпаны, и мы с Милордом вдвоём гуляли у фонтана.

От нечего делать я учил Милорда стоять у меня на голове.

Дело это было сложным. Прыгнуть прямо ко мне на голову Милорду не удавалось — не допрыгивал, и в конце концов я подсаживал его на верхнюю гипсовую розу фонтана, и Милорд перебирался с неё ко мне на голову. В те годы я носил довольно-таки крепкую кепку, которая помогала в наших опытах.

С Милордом на голове гулял я у фонтана, поджидая хоть какой-нибудь, хотя бы мелкой шпаны.

Но тут с третьего этажа моя тетушка начинала громко через форточку на весь двор называть по имени моё имя. Она всячески намекала на те важные дела, которые мне предстояли и которые в будущем должны были провести резкую грань между мной и уличной шпаной.

Голова и ботинок — вот предметы, которые я предоставил Милорду, но частично голова моя была занята и другими предметами. Я готовился в институт.

Все в нашем дворе, конечно, понимали, что в институт мне в жизни не поступить. Понимал это я, понимал это и брат мой Боря, понимали школьные учителя, разве только Милорд ничего не понимал. Но, пожалуй, даже и он догадывался, что человек, который носит на голове гладкошёрстного фокстерьера, вряд ли поступит

в педагогический институт.

Но жил на свете Владимир Николаевич Протопопов, который не понимал, что я не поступлю. Он понимал, что я поступлю, и мне было неловко знать, что я провалюсь и подведу Владимира Николаевича Протопопова.

Владимир Николаевич был великий учитель. Превратить двоечника в троечника для него было пара пустяков. Один только вид Владимира Николаевича — его яростная борода и пронзительный взгляд — мгновенно превращал двоечника в троечника.

Когда же Протопопов открывал рот и слышались неумолимые раскаты, новообретённому троечнику ничего в жизни не оставалось, кроме последней мучительной попытки превращения в четвёрочника.

— А дальше уже от Бога, — решал обычно Владимир Николаевич.

Брат мой Боря, тяжелейший в те времена двоечник-рецидивист, рассказывал, как Владимир Николаевич Протопопов впервые вошёл к ним в класс поздней осенью сорок шестого года.

Дверь их класса вначале сама по себе затряслась.

Она тряслась от волнения и невроза. Она чув-

ствовала, что к ней кто-то приближается, а кто — не понимала. У неё дрожали зубы, её бил озноб, и с грохотом наконец дверь распахнулась.

Мохнатейшая шапка-ушанка, надвинутая на самые брови, из-под которых блистали пронзительные стальные глаза, возникла в двери — и явился Протопопов.

Он был, как я уже подчёркивал, в шапке, а на правом его плече висел рюкзак. Кроме того, он был в чёрном костюме и в галстуке, но именно шапка и рюкзак вспоминались впоследствии, а галстук и костюм позабылись.

Стремительным и благородным каким-то полушагом-полупрыжком Владимир Николаевич достиг учительского стола и грозно провещился:

Как с древа сорвался предатель-ученик…

Ученики, которые успели встать, чтоб поприветствовать учителя, остолбенели у парт своих, те же, что встать не успели, так и замерли в полусидячем-полустоячем положении.

Владимир Николаевич между тем впал в тяжелейшую паузу. В глазах его было предельное внимание. Он явно следил, как срывается ученик-предатель с воображаемого древа и летит

в бездну.

Бездна эта была бездонна, и поэтому пауза могла тянуться сколько угодно. И всем ясно было, что, пока летящий предатель не достигнет чего-нибудь, обо что можно вдребезги расшибиться, Протопопов будет следить за его полётом.

И тут послышался страшный удар. Это Протопопов обрушил с плеча на стол свой рюкзак.

И всем ясно стало, что предатель достиг чего-то и расшибся вдребезги. Это была мгновенная и страшная смерть.

Протопопов протянул было руку к шапке, хотел было снять её, но раздумал.

После смерти образовалась пустота.

В пустоте же этой медленно начинало что-то копошиться, зашуршало что-то, а что — было непонятно.

— Диавол прилетел, — прошептал Протопопов. — К лицу его приник.

И Владимир Николаевич отвернулся от этой картины, ему неприятно было видеть всё это. Но объяснить происходящее было всё-таки необходимо, и он сделал это крутыми и сильными словами:

… Дхнул жизнь в него, взвился с своей

добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной…

Владимир Николаевич пошарил многозначительно в рюкзаке и вытащил из него австрийский обоюдоострый штык, потом достал буханку хлеба и снял, наконец, шапку. Взрезал штыком буханку и начал есть хлеб.

Ученики окончательно окоченели.

Они не поняли ничего, кроме того, что столь знакомое им слово «ученик» неприятно сочетается со словом «предатель». А некоторые ребята попроще и дело поняли просто: если они будут плохо учиться — «диавол» будет в них «жизнь дхать». Борода же Владимира Николаевича, в которой исчезала краюха хлеба, всем без исключения представилась вратами, ведущими в «гортань геенны гладной».

Владимир Николаевич, поедая хлеб, лукаво поглядывал на учеников и бормотал, кивая кое на кого из класса:

Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни…

Окоченевшие ученики немедленно почув-

ствовали себя гагарами, и многим мучительно захотелось, чтоб наслажденье битвой жизни сделалось им доступно.

Владимир Николаевич разглядывал класс и кое-кому неожиданно подмигивал. Подмигнул он и моему брату Боре. И Боря тогда понял, что ещё не всё потеряно, что ему, может быть, удастся вырваться из семейства гагар.

Некоторые же ученики, наверно, из тех, кому Протопопов не подмигнул, сделались недовольны, что учитель на уроках хлеб ест. И тогда Владимир Николаевич встал и мощно раздробил недовольство:

> А судьи кто? – За древностию лет
> К свободной жизни их вражда непримирима…

Владимир Николаевич совершил чудо.

Он вырвал моего брата Борю из семейства гагар-рецидивистов и направил Борины стопы в более высокие отряды пернатых, туда, поближе к уровню вальдшнепов и лебедей.

Он совершил чудо, а сам ушёл из школы, в которой учился мой дорогой Боря, а затем я.

Радость моих родителей по поводу того, что Боря выбрался из гагар, омрачалась тем, что я

ещё болтался в гагарах. Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло, и он взялся за это тяжелейшее дело.

Поздним вечером, часов в одиннадцать, я выходил из дому. Я шёл к Владимиру Николаевичу Протопопову.

От Красных ворот, которые стояли над метро и над нашим домом, я шёл по Садовой-Черногрязской к Земляному валу, там сворачивал налево, и вот уже школа в Гороховом переулке. Здесь-то и дробил Владимир Николаевич твердыню моего гагарства, приобщал меня к уровню полёта вальдшнепов.

Делал он это ночью. Днём у него не было никакого времени, и, кроме того, он считал, что ночью гагарство моё дает слабину.

Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради.

Заприметив меня, он смеялся весело, от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-таки тяжёлых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель.

Настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал сверхкрепчайший чай и набивал трубку

«Золотым руном» в смеси с табаком «Флотским».

И мы начинали пить чай.

Владимир Николаевич учил меня, как набивать трубку и как заваривать сверхкрепчайший чай, и ему нравилось, как я справлялся с этой человеческой наукой.

Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему, как мог, помогал.

В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока: мне, потенциальному двоечнику и другу гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше, и грамотней меня.

Одним махом Протопопов убивал многих зайцев.

Он не только выжимал до предела скудные мои знания, не только напрягал внимательность, обострял ответственность и возбуждал решительность, но и внедрял в меня некоторые сведения из проверяемых мною же тетрадей. А когда я поднаторел, Владимир Николаевич убил ещё одного зайца: я немного всё-таки облегчал гору его тетрадей.

Он доверял мне даже ставить отметки — двойки и четвёрки. Тройки и пятёрки он ставить не велел. И в этом заключалась любопытная его

мысль.

Он, конечно, понимал, что мне, как другу гагар, двойки несимпатичны. Я и вправду их очень не любил и всегда старался «натянуть на тройку». Мне казалось преступным ставить двойки бедным гагарам из другой школы. Если уж я ставил двойку — это был трагический, но, увы, бесповоротный факт. Оставалось только снять шапку.

Тройки Протопопов за мною перепроверял, а пятерки всегда считались от Бога, и тут Владимир Николаевич должен был глянуть сам.

Ну а четвёрка — пожалуйста. Четвёрку он мне доверял, тут наши мнения никогда не расходились, и я гордился этим.

Проверив тетрадки, я раскладывал их на четыре кучки — двойки, тройки, четвёрки и пятёрки.

— Учитель! — шутил тогда Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком. — Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…

И тут он перепроверял за мной тройки и пятёрки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал:

— Гагарство… — И ногтем подчеркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение.

Глупость моя или недоразумение никогда не

сопровождались протопоповским кулаком. Кулак был от радости, от счастья, а тут вступал в силу ноготь. Он упирался в то место тетради, где я допустил гагарство, а если я ничего не понимал, сопровождался жёсткими ногтеобразными словами.

Потом я засыпал наконец на кожаном учительском диване и, просыпаясь иногда, видел, как сидит мой учитель за столом, пьёт чай, курит трубку и всё проверяет, проверяет бесконечные тетради, и сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда.

Как-то зимней метельною ночью и на меня напала бессонница, а в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение, и я написал стихи:

Метели летели,
Метели мели,
Метели свистели
У самой земли…

Владимир Николаевич смеялся, как ребёнок, колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил, в каком-то чудовищном мгновенном плясе пронёсся по учительской, напевая:

Летели метели

В розовом трико!

Я был потрясён. Меня поразило, как Владимир Николаевич неожиданно восплясал. Удивляло и то, что кто-то уже написал про метели, значит, озарение моё было не в счёт и всё это пахло недопустимым гагарством.

Были однажды поздние дни мая.

Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвёл к окну. В сизом школьном окне виднелись пасмурные в утренних сумерках ветки тополя, скользкие от росы листья.

Мы смотрели в окно.

Владимир Николаевич задумался и даже немного обнял меня, чего никогда раньше не делал. Потом спохватился и ударил кулаком в грудь.

— Был утренник, — сказал он. Помолчал. Продолжил: — Сводило челюсти…

Я уже ожидал удара в челюсть, но снова получил в грудь.

… И шелест листьев был как бред.

Синее оперенья селезня

Сверкал за Камою рассвет.

Крепкий удар, завершающий строфу.

Так Владимир Миколаевич Протопопов вколачивал в меня поэзию.

Итак, в нашем дворе все понимали, что в институт мне сроду не поступить.

Понимал это я, понимал это мой брат Боря, понимали школьные учителя. Не понимал только Владимир Николаевич Протопопов. Он понимал, что я поступлю, и я поступил.

Шквал и шторм обрушились тогда на меня. Сердце моё трещало от семейного счастья, грудь гудела от протопоповских кулаков, шпана свистела в окна, брат мой Боря ласково улыбался, гитарист-хулиган играл «чёсом», у рояля безумствовал маэстро Соломон Мироныч, а на голову мне то и дело вспрыгивал Милорд, который к этому моменту научился летать.

Надо сказать, что проблема полёта домашних животных никогда особенно не занимала меня, а в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени.

Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с Милордом к фонтану.

К нам присоединилось и некоторое третье лицо — тонкий кожаный поводок, который я пристёгивал к ошейнику собаки. Дома пристёгивал

поводок, у фонтана отстёгивал.

Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел.

Это кожаное тоненькое, но крепкое звено Милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее.

Как только я отстёгивал поводок у фонтана, Милорд немедленно принимался его грызть.

Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у Милорда кожаное изделие.

Уступчивый обычно Милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьеры вообще славятся мёртвой хваткой, и Милорд поддерживал эту славу изо всех сил.

С мёртвой хватки и начались необыкновенные полёты Милорда.

Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мёртво. Так и сяк старался я расцепить его зубы и спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычанье и мои крики в

стиле: «Отдай! Отцепись!»

Оконные зрители раздразнили меня, я дёргал поводок всё сильнее. Милорд же всё сильнее упирался и сквозь зубы рычал.

Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее — Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли.

Низко, над самой землёю летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал.

Я кружился всё быстрее, Милорд подымался в воздухе всё выше и скоро достиг уровня моей груди.

Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух ещё выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой.

Зрители остекленели в окнах.

Никогда в жизни ни одна собака не летала ещё в нашем дворе вокруг фонтана.

Наконец чудовищная центробежная сила разжала мёртвую хватку, Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном.

Он врезался задом в окно первого этажа, кото-

рое, впрочем, было затянуто крепкой стальною противофутбольной сеткой.

Отпружинив от сетки, Милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок, и я снова закрутил его над фонтаном.

Необыкновенные полёты гладкошёрстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались тёмные типы с просьбою «повертеть Милорда». Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам.

Я раздразнивал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли.

Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мёртвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большей же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мёртвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальною сеткой.

А там, за этим окном, всегда, и даже летом, готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в её окно своей летающей собакой.

Но, хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в её окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полёте, и как же, наверно, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно её летит по воздуху задом гладкошёрстный фокстерьер.

Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда улетая от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мёртвую схватку с чудовищной центробежной силой.

Пришёл месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института.

«Под своды» — это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов,

куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал огромнейший Главный зал. А в Главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма.

Прохлада и простор — вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурносеребряный свет, заливающий его пространство, подчёркивал северность этого храма науки.

А на галереях, усложнённых пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было ещё много сводов, а под сводами этими… Боже! Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имён занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться

безумно трудно.

Ну вот хотя бы — Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Пётр, хотя бы, Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лёшка Мезинов, ну Эрик Красновский… Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имён, так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чёртовой матери детскую и юношескую литературу. Да ведь и как забыть эти лица, освещённые вечным пасмурным светом, льющимся с наших северных небес в глубину Главного зала?! Вот, скажем, Алик Ненароков? И не только он! А Гришка-то Фельдблюм? А Валерка Агриколянский?

А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Бог мой, да не я ли отдал в своё время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю… Впрочем, хватит слёз и глаз, но вот ещё одно имя — Марина Кацаурова.

Именно из-за неё притащил я в институт Ми-

лорда.

Посреди Главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мёртвою фокстерьерской хваткой — и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врезался в почётнейшую доску, на которой было написано: «Славные сталинские соколы-стипендиаты».

Запахло отчислением.

Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Фёдор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось моё поведение. Среди прочих оборотов были в нем и такие слова: «...и тогда этот студент кинулся собакой в доску».

— «И тогда этот студент, — читал мне Фёдор Михайлович, многозначительно шевеля бровями, — кинулся собакой в доску».

И Фёдор Михайлович развёл величаво философские брови свои.

— Что же это такое-то? — сказал он. — «Кинулся собакой». Вы что же это — грызли доску? Тогда почему «кинулся собакой в доску»? Надо бы — «на доску». Или студент был «в доску»? Что вы на это скажете?

Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора.

— Впрочем, — размышлял Фёдор Михайлович. — Следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава Богу, цела… Но поражает словесная фигура: «…и тогда этот студент кинулся собакой в доску». Что же это такое?

— Извините, мне кажется, что это — хорей, — нашёлся наконец я.

— Хо-рэй? Какой хо-рэй?

— Четырёхстопный.

— В чём дело? О каком вы хо-рэе?

— «И тогда этот студент кинулся собакой в доску»… Я полагаю, что это хорей, Фёдор Михайлович, но с пиррихием.

Фёдор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.

— Божественный хо-рэй! — воскликнул он. — Божественный хо-рэй! И он ещё рассуждает о хо-рэе! Подите вон, знаток хорэя, я не желаю больше думать о собаке и доске!

Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощён ли я.

— О, закрой свои бледные ноги! — воскликнул тогда декан, и, бледный, закрыл я дверь деканата.

Оказалось всё-таки, что я прощен, но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привёл классический пример одностишия — «О, закрой свои бледные ноги». Наверно, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих.

Больше я Милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому, он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать — собака есть собака, а студент есть студент.

К концу сентября Милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашёл ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт.

В первое воскресенье октября я повез его в лес, на охоту.

Была тогда странная осень.

Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то запоздало — ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной крапинки

в осинах. Сами берёзовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они ещё такие зелёные, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.

Я шёл вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его.

Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень, а следом — утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе — первой шла утка, а за нею — селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно немыслимо-зелёной весенней селезневой головы, только по взлёту и полёту можно догадаться.

Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг.

Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето.

Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтоб Милорд понял в конце концов, что

не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам.

Было любопытно, как он поведёт себя, когда я подобью утку. Сообразит, что её нужно подать из воды, или нет? Я был уверен, что сообразит.

Наконец какой-то селезень зазевался. Он только ещё начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.

Селезень бил крылом по воде совсем неподалёку, надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело Милорду, и прыгнул.

Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которой я оттолкнулся, призавязла немного, трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину, и пока я перелетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу.

Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать: спасать сапог или бежать к селезню, который всё ещё бил крылом по воде.

Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезня и положил к левой обутой ноге.

А к полудню попали мы в лес — настоящий

матёрый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев — сосны, сосны, а на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, унизанный синими морозными ягодами можжевельник.

Я разложил костёр. Мне хотелось накормить Милорда утиным супом, но, пока я возился да раздувал огонь, Милорд исчез.

Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно напугался, свистел и кричал, бегал по лесу и, когда вернулся к костру, услыхал далекий собачий лай.

Это был голос Милорда, и шёл он из-под земли.

И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями — нора, ведущая в глубь бугра.

Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслята и рыжики, которые мешали слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли.

Лай вдруг прервался, послышалось рычанье. Так точно рычал Милорд, когда вцеплялся в поводок, и я понял, что он отдался мёртвой хватке, вцепился под землёй в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. Несколько часов лежал я на

земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты, а если б и была, то какого черта и где копать?

— Милорд! — кричал я иногда в отчаянии. — Кончай эту ерунду!

Конечно, он меня слыхал, но бросать барсука, а скорее всего это был барсук, не собирался.

— Ухожу! Ухожу на электричку! — в отчаянии кричал я, но он понимал, что я никуда не уйду, так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день, в общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймёт, что я и вправду ухожу. Пусть выбирает: я или мёртвая хватка.

Я затоптал с яростью костёр. Громко топая, пошёл я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы.

Милорд появился внезапно и как ни в чём не бывало, просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови. Но он не обращал на это никакого внимания и только лишь веселился, что догнал меня.

Я всё-таки подтащил его к ручью, слегка омыл

морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом.

Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото, напрямик.

В одном особенном каком-то зелёном и сыром месте Милорд вдруг высоко подпрыгнул. Опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он всё прыгал на месте.

Это была гадюка. Чёрная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею.

На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и Милорд тут же лизнул меня в пятку.

«Слава Богу, — подумал я. — Не успела укусить».

Я пошёл умываться, и Милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись.

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой к Земляному валу. Милорда я держал на руках, он лизал меня в подбородок.

— Держите его крепче, — сказал ветеринар. — Зажмите пасть.

Я прижал Милорда к клеёнчатому столу, сжал

изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу.

А мама моя названивала в ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец, нашёлся человек, который рекомендовал марганцевые ванны.

Каждое утро Милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну.

А я двадцать дней подряд бегал с ним по Садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я Милорда.

Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре Милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и в конце концов бегал нормально. Всё вроде бы пошло по-старому, изменилось одно: он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком.

Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошёрстный фокстерьер.

Я переживал ужасно. Я понимал, что всё пройдёт и когда-нибудь Милорд позабудет ту чу-

довищную боль от ветеринарной иглы. А Милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол.

Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клёна.

Дворничиха тётя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и Милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит.

Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину. Но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая.

Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с Милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны.

Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахару или сухарик, и в полном восторге мы находили его.

Не знаю уж, что помогло — время или листья, но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал — пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт, и надо было бы прогулять и уехать с Милордом куда-нибудь за город,

на Москву-реку, в Уборы, надо было бы перерыть там и перебрать все опавшие листья.

Но я — по глупости — пошёл в институт, а когда вернулся — Милорд встретил меня во дворе.

Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куска два сахару, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Его ведь все знали во дворе и все любили, а на улицу Милорд без меня никогда не выходил.

Я обедал ещё, когда услыхал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени моё имя.

Я выбежал во двор.

— Мужик! — кричала мелкая шпана. — Мужик в серых брюках! Пристегнул его на поводок! Пристегнул и потащил!

— Туда, туда по Садовой!

От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой-Черногрязской к Земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана.

— Вон он! Вон он! Вон он! — кричали они.

Я бежал и не видел нигде Милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины, движение огромного города обгоняло меня, тысячи и сотни мужиков в серых брю-

ках разлетались в стороны. Я понимал, что всё кончено и я больше никогда в жизни не увижу Милорда, и всё-таки бежал, а навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к Земляному валу. От Красных ворот.

Полынные сказки
Повесть о давних временах

Это было…

Давно это было.

Это было, когда я ещё любил болеть. Но только не сильно болеть. Не так болеть, чтоб тебя везли в больницу и вкалывали десять уколов, а тихо болеть, по-домашнему, когда ты лежишь в постели, а тебе чай с лимоном несут.

Вечером мама с работы прибегает:

— Боже мой! Что случилось?!

— Да так, ничего… Всё в порядке.

— Чаю надо! Крепкого чаю! — волнуется мама.

— Не надо ничего… оставьте меня.

— Милый мой, милый… — шепчет мама, обнимает меня, целует, а я постанываю. Замечательные были времена.

Потом мама садилась рядом со мной на кровать и начинала мне что-нибудь рассказывать или рисовала на листочке бумаги домик и корову. Это всё, что она умела нарисовать, — домик и корову, но я никогда в жизни не видел, чтоб кто-нибудь так хорошо рисовал домик и корову.

Я лежал и стонал и просил:

— Ещё один домик, ещё одну корову!

И много получалось на листочке домиков и коров.

А потом мама рассказывала мне сказки.

Странные это были сказки. Я никогда и нигде таких потом не читал.

Прошло много лет, прежде чем я понял, что мама рассказывала мне про свою жизнь. А у меня в голове всё укладывалось как сказки.

Шёл год за годом, пролетали дни.

И вот этим летом я сильно заболел.

Обидно болеть летом.

Я лежал на кровати, глядел на макушки берёз и вспоминал мамины сказки.

Сказка про серые камни

Это было давно… очень давно.

Смеркалось.

По степи мчался всадник.

Глухо били в землю копыта коня, увязали в глубокой пыли. Облако пыли подымалось за спиною всадника.

У дороги горел костёр.

Четыре человека сидели у огня, а в стороне от них лежали в поле какие-то серые камни.

Всадник понял, что это не камни, а стадо овец.

Он подъехал к костру, поздоровался.

Пастухи угрюмо смотрели в огонь. Никто не ответил на приветствие, никто не спросил, куда он держит путь.

Наконец один пастух поднял голову.

— Камни, — сказал он.

Всадник не понял пастуха. Он видел овец, а камней не видел. Хлестнув коня, он помчался дальше.

Он мчался к тому месту, где степь сливалась с землёй, а навстречу ему подымалась вечерняя чёрная туча. По земле стелились под тучей облака пыли.

Дорога подвела к оврагу с глубокими склонами. На склоне — красном и глинистом — лежали серые камни.

«Это уж точно камни», — подумал всадник и влетел в овраг.

Тут же накрыла его вечерняя туча и белая молния воткнулась в землю перед копытами коня.

Конь метнулся в сторону, снова ударила молния — и всадник увидел, как серые камни обратились в зверей с острыми ушами.

Звери скатились по склону, кинулись под ноги коню.

Конь захрапел, подпрыгнул, ударил копытом — и всадник вылетел из седла.

Он упал на землю и ударился головой об камень. Это был настоящий камень.

Конь умчался. За ним стелились по земле вдогонку длинные серые камни. Только один камень остался на земле. Прижавшись к нему головой, лежал человек, который мчался неизвестно куда.

Утром нашли его молчаливые пастухи. Постояли над ним, не сказали ни слова.

Они не знали, что в тот самый момент, когда ударился всадник об камень головой, — на свете появился новый человек.

И всадник мчался, чтоб увидеть этого человека.

За минуту до смерти он думал:

«Кто же родится? Сын или дочь? Хорошо бы дочь».

Родилась девочка. Её назвали Ольга. А попросту все её звали — Лёля.

Сказка об огромных существах

Был жаркий июльский день.

На лугу стояла девочка. Она видела перед собой зелёную траву, по которой рассыпаны большие одуванчики.

— Беги, Лёля, беги! — услышала она. — Беги скорее.

— Боюсь, — хотела сказать Лёля, но сказать не смогла.

— Беги, беги. Ничего не бойся. Никогда ничего не бойся. Беги!

«Там одуванчики», — хотела сказать Лёля, но сказать не смогла.

— Беги прямо по одуванчикам.

«Так ведь они же звенят», — подумала Лёля, но быстро поняла, что сказать такую фразу ей никак не удастся, — и побежала прямо по одуванчикам. Она была уверена, что они зазвенят под ногами.

Но они оказались мягкие и не звенели под ногами. Зато звенела сама земля, звенели стрекозы, звенел серебряный жаворонок в небе.

Лёля бежала долго-долго и вдруг увидела, что перед нею стоит огромное белое существо.

Лёля хотела остановиться, но остановиться не

могла.

А существо огромное манило незнакомым пальцем, притягивало нарочно к себе.

Лёля подбежала. И тут огромное существо схватило её и подбросило в воздух. Тихо замерло сердце.

— Не бойся, Лёля, не бойся, — послышался голос. — Не бойся, когда тебя подкидывают в воздух. Ты ведь умеешь летать.

И Лёля вправду попробовала летать, замахала крыльями, но далеко не улетела, снова опустилась на руки. Тут она увидела широкое лицо и маленькие-маленькие глазки. Чёрненькие.

— Это я, — сказало огромное существо — Марфуша. Не узнаёшь? Беги теперь назад.

И Лёля побежала назад. Она снова бежала по одуванчикам. Они были тёплые, щекотались.

Она бежала долго-долго и увидела новое огромное существо. Голубое.

— Мама! — крикнула Лёля, и мама подхватила её на руки и подбросила в небо:

— Не бойся. Ничего не бойся. Ты умеешь летать.

И Лёля полетала уже подольше и, наверное, могла бы летать хоть сколько угодно, но ей самой захотелось опуститься поскорей в мамины руки.

И она опустилась с неба, и мама с Лёлей на руках пошла по одуванчикам к дому.

Сказка о какой-то штуке с золотым носом

Это было… давно это было. Это было, когда Лёля научилась летать.

Она летала теперь каждый день и всегда старалась приземляться в мамины руки. Так было надёжней и приятней.

Летала она, когда выходила на улицу, но и дома хотелось иногда полетать.

— Что с тобой поделаешь, — смеялась мама. — Летай.

И Лёля взлетала, но в комнате летать было неинтересно — мешал потолок, взлететь высоко не удавалось.

Но всё-таки она летала и летала. Конечно, если нет возможности летать на улице — надо летать в доме.

— Ну всё, хватит летать, — говорила мама. — Ночь на дворе, спать пора. Летай теперь во сне.

Ничего не поделаешь — Лёля ложилась спать и летала во сне. А куда денешься? Если нет возможности летать на улице или в доме — надо летать во сне.

— Хватит летать, — сказала однажды мама. — Научись как следует ходить. Иди.

И Лёля пошла. А куда пошла — она не знала.

— Иди смело. Не бойся ничего.

И она пошла. И только отошла, как над головой у неё что-то глухо зазвенело:

— Дон! Дон!

Лёля испугалась, но тут же не испугалась.

Она подняла голову и увидела: высоко на стене висит какая-то штука с золотым носом. Она качала этим носом, а лицо у ней было круглое, белое, как у Марфуши, только уж очень много глаз.

«Это что за штука с золотым носом?» — хотела спросить Лёля, но спросить не удалось. Язык как-то пока не поворачивался. А поговорить хотелось.

Лёля набралась духу и спросила у этой штуки:

— Летаешь?

— Так, — ответила штука и махнула носом. Страшновато махнула.

Лёля снова напугалась, но тут же снова и не напугалась.

«А не летаешь — ну и ладно», — хотела сказать Лёля, но сказать ей это опять не удалось. Она просто махнула на штуку рукой, а та в ответ — носом. Лёля снова рукой, а та — носом.

Так они и махали некоторое время — кто носом, а кто рукой.

— Ну ладно, хватит, — сказала Лёля. — Я пошла.

Она пошла дальше, и вокруг неё стало темно. Она шагнула в темноту, прошла два шага и раздумала идти дальше. Всё-таки неловко было перед этой штукой, которая не летает, а только качает золотым носом. Может, она всё-таки летает?

Лёля вернулась назад, постояла, посмотрела: нет, никак не летает. Качает носом — и всё.

И тут Лёле самой захотелось взлететь к этой штуке и схватить её за нос, чтоб зря не болтался.

И она взлетела и схватила за нос.

И нос золотой перестал качаться, а Лёля опустилась вниз, к маме на руки.

— Это — часы, Лелесь, их трогать нельзя.

«А чего они всё время носом болтают?» — хотела спросить Лёля, но язык снова не повернулся. А поговорить о часах хотелось.

— Летают? — спросила она.

— Нет, они не летают, — засмеялась мама. — Они ходят или стоят.

Сказка о крыльце и завалинке

А уж это было, когда Лёля перестала стенные часы за нос дёргать.

Она решила теперь ходить и стоять. Как часы.

И она всё время ходила и стояла, ходила и стояла. Дойдёт до часов, постоит.

— Хожу и стою, — говорила она. — Хожу и стою.

Часы тикали в ответ, помахивали золотым носом, который назывался маятник. Но Лёля забыла про маятник, она теперь думала, что это не только нос, а ещё и такая нога золотая. Этакая нос-нога. Вот часы и ходят этим носом-ногой. А дёргать за нос-ногу нельзя — часы станут. А дёрнуть хочется. Ну ладно, пошли дальше.

Она пошла дальше, и тут же вокруг неё стало темно. И она опять вернулась к часам. Жалко всё-таки, что нельзя их дёрнуть за нос и за ногу.

«А вот меня можно», — подумала Лёля и дёрнула сама себя за нос, а потом села на пол и дёрнула за ногу.

Часы на все эти штучки не обратили никакого внимания.

И Лёля снова пошла вперёд, в темноту. И уви-

дела в темноте светлую щель, из которой шёл свет. И так получилось, что Лёля сунула в неё свой нос. И конечно, щель могла каждую секунду прищемить ей нос, потому что была дверная. Но не прищемила.

«Не прищемляет, — подумала Лёля. — Повезло».

И она толкнула дверь и вышла на крыльцо.

Свет, зелёный и золотой, ослепил её, а за светом — зелёным и золотым — она увидела луг и одуванчики и очень обрадовалась. Так обрадовалась, как будто раньше их не видала. Но раньше-то её приносили сюда на руках, а теперь она сама дошла. Это важно — дойти самому до того, до чего хочешь.

Лёля села на крыльцо и стала глядеть на то, до чего дошла сама.

«Дошла до одуванчиков, — думала она. — Добралась. А трудновато было. Коридор такой тёмный, да ещё эта щель дверная. Зря я совала в неё нос. Больше никогда не буду».

Так сидела она и так примерно думала и любовалась тем, на что глядела.

«А на чём это я сижу?» — подумала вдруг она. И перевела взгляд на крыльцо. Уютное это было крыльцо, тесовое, с резными колонками, с на-

весом, чтоб не капал дождик на того, кто сидит на крыльце.

Она постучала по резной колонке, и тихо-тихо ответило ей крыльцо.

— Это крыльцо, — послышался сзади мамин голос.

«Крыльцо, — думала Лёля. — Крыльцо. Хоть и не крыло, а, наверно, летает. Пускай летит, а я буду на нём сидеть и глядеть на луг и одуванчики».

Но крыльцо никуда не летело.

«Ну и ладно, — подумала Лёля. — Зато на нём сидеть хорошо. Буду всегда на нём сидеть».

Теперь каждый день она подходила к часам, шла потом по коридору и садилась на ступеньку крыльца.

Она очень полюбила своё крыльцо и называла его — крылечко.

Рядом с нею часто сиживал котёнок Васька, подходил поросёнок Федя.

— Почеши-ка мне пузо, — говорил вроде бы поросёнок и тёрся об её ногу.

И Лёля чесала ему пузо.

Почему-то, кстати сказать, она сразу поняла, что поросёнок Федя не летает. И дело тут не в крыльях. Крылья можно приделать и к поросёнку. А просто те, кто чешет пузо, летать никак не могут.

Или летай, или пузо чеши.

Так сидела Лёля на крылечке, размышляя о пузе, о поросёнке и о полётах.

«Конечно, Федя не летает, — думала она. — Но, пожалуй, на нём можно сидеть. Как на крылечке».

Лёля сошла с крылечка, подошла к поросёнку и только хотела усесться на него — а Федя убежал.

«Стой, Фёдор!» — хотела сказать Лёля, но сказать не успела и плюхнулась в траву. Она не огорчилась, что поросёнок убежал, — она обрадовалась, что можно на траве сидеть.

— Иди-ка сюда, Лелесь, — послышался голос.

Лёля оглянулась и увидела, что неподалёку от неё сидит мама. И сидит она не на крыльце, не на траве и, конечно, не на поросёнке Феде, а на чём-то совсем другом.

— Иди сюда, иди. Садись рядом со мной на завалинку. Она не летает.

Но Лёля уже сама поняла, что завалинка не летает, ясное дело — она ведь заваливает, дом снизу заваливает, чтоб ветер под дом не пробрался, а с ветром — мороз и снег.

Хорошая была завалинка, обшитая серыми досками. И на ней можно было сидеть, и не только сидеть, а даже бегать по завалинке вокруг дома.

И Лёля бегала по завалинке, стучала босыми пятками по серым доскам, а потом сидела и глядела на луг и одуванчики.

«Сидеть можно и на стуле, — думала Лёля. — Сидеть и глядеть в стену. Но разве сравнится стул — с крыльцом и завалинкой, а стена — с лугом и одуванчиками? Да никогда в жизни».

И тут Лёля поняла, что главное — это не то, что на крыльце можно сидеть, главное, что у неё есть это крыльцо и завалинка, и луг, и одуванчики.

А сидеть можно на чём угодно.

Да хоть на стуле, да хоть на поросёнке Феде, если вовремя сказать ему:

— Стой, Фёдор!

Сказка о Соседней комнате

Наконец-то Лёля поняла, что она живёт в доме. А дом стоит на большой поляне. А за поляной видны другие дома. И в них живут люди.

А тот дом, в котором живёт сама Лёля, называется — школа.

— А вон те дома тоже школы? — спрашивала она, когда научилась толком спрашивать.

— Да нет, там просто — дома.

— А это наш дом?

— Наш.

— Он — дом?

— Дом.

— А где же школа?

— Да вот она. Наш дом и есть школа. Здесь дети учатся.

Так Лёля поняла, что живёт не в простом доме, а в школе.

Школа начиналась с крыльца, и, поднявшись по ступенькам, надо было пробежать через коридор, в котором всегда было темновато, — тут и попадёшь в сторожку, в которой жил школьный сторож дед Игнат.

Из сторожки в глубину школы вели две двери.

Одна — налево, другая — направо.

И налево была комната Лёли, а в ней было три окна.

В одно окно было видно, как бегают ребята на школьном лугу, в другое — крыши домов, тех простых домов, не школ. У них были соломенные крыши, а пыльная дорога вилась между домами. По дороге ходили кони, ездили на телегах люди.

А в третье окно видна была сирень, и большей красоты, чем эта сирень, на свете не было.

Когда цвела сирень, всё вокруг было полно сирени — и окна, и небо в окнах.

Была в Лёлиной комнате кровать с яркими серебряными шарами, а на ней лежало сразу три подушки. А внутри-то у подушек был пух! Утиный, гусиный и куриный пух! Вот это да! Этого Лёля никак не ожидала, что у подушек внутри пух.

Но пух, в конце концов, ерунда. Пух в подушках, стол да стулья есть в каждом доме, а вот такой огромной жёлтой и высокой штуки, что стояла у стены, не было нигде.

Штука называлась — кафедра.

На кафедру можно было взобраться и речь говорить.

И Лёля забиралась на кафедру и говорила речь.

— А в подушках — пух! — говорила она. — Утиный, гусиный и куриный! Вот как!

И стенные часы слушали Лёлю, удивляясь насчёт подушек.

Кафедра была покрашена жёлтой масляной краской. Не какой-нибудь простой краской, а — масляной.

— У нас кафедра покрашена масляной краской! — толковала Лёля с кафедры стенным часам. — Вот как!

А в кафедре в специальном ящичке кое-что лежало.

Там лежали тетради, ручки и перья!

И было ещё кое-что! Чернила!

Вот это уж да! Чернила! Вот так вот!

А рядом с Лёлиной комнатой была — Соседняя. И рядом с Соседней комнатой нельзя было плакать.

Когда Лёля была ещё совсем маленькая и лежала ещё в колыбели, ей хотелось поплакать.

Но как только она начинала это дело, тут же к ней подходил кто-нибудь и говорил:

— Тише… тише… не плачь… нельзя… там — Соседняя комната.

«Что за ерунда? — думала Лёля. — Всюду можно плакать, а тут нельзя! Загадка какая-то!»

И тогда она решила раз и навсегда перестать плакать, раз уж рядом была Соседняя комната. И перестала, и во всей своей будущей жизни не плакала. И плакала только тогда, когда удержаться было невозможно.

Так жила Лёля рядом с Соседней комнатой и не плакала, а только приглядывалась, что в этой комнате происходит.

И вот что она заметила.

Она заметила, что какие-то маленькие люди ходят в эту комнату. Туда-сюда. Придут — уйдут. Опять придут.

А в комнате за стенкой всё время что-то творилось. То была тишина, то вдруг начинался шум, гвалт и крики. Такие крики, что, если б Лёля заплакала, в Соседней комнате никто бы и не услыхал. И вот когда в Соседней комнате слышались крики — Лёля немного плакала, чтоб отвести душу; стихали крики — смолкала и она.

И всегда там был слышен один и тот же голос — ровный и спокойный, весёлый и звонкий. И Лёля знала, что это самый лучший голос на свете — голос её мамы.

Когда Лёля научилась ходить, она, конечно, сразу пошла в Соседнюю комнату.

И только она открыла дверь, только заглянула,

как сразу поняла — Комната Волшебная!

Она увидела такие вещи, такие странные вещи, которым названия подобрать было невозможно!

Потом-то оказалось, что названия у всех этих вещей есть.

Доска — так называлась длинная и чёрная штука на ножках. На доске можно было писать мелом, а потом тряпочкой мел стирать.

Парты — так назывались те удивительные вещи, которые стояли в три ряда посреди комнаты. На этих партах и сидели маленькие люди — ученики. И много ещё было удивительных вещей — и глобус, и шкафы с книгами, и карты, и указки, и счёты. И вся эта комната со всеми вещами называлась — класс, а Лёлина мама была учительница.

Она, оказывается, учила учеников.

И Лёля долго думала, чему же мама их учит?! А потом сообразила, что мама учит летать!

Когда в классе тишина — это мама их учит, а когда начинается шум — это значит они все разом полетели.

И Лёля представляла себе, как маленькие ученики дружно летают над партами — кто кувыркается в воздухе, кто смеётся, кто кричит и просто так машет руками.

А выше всех и лучше всех летает над доской её мама!

Сказка о Главном Человеке

И, конечно же, мама её была Главным Человеком в мире.

Это было ясней ясного.

Когда мама гуляла с Лёлей по лужайке около школы, им часто встречались люди — большие и маленькие.

Маленькие крутились вокруг мамы. Забегут спереди и кричат:

— Татьяна Дмитриевна, здравствуй!

А после обегут вокруг и снова:

— Здравствуй, Татьяна Дмитриевна!

И так бесконечно: здравствуй да здравствуй!

Много их бегало и здоровалось.

А большие люди не бегали и не кричали, а только кланялись и снимали шапки. И Лёлина мама кланялась в ответ.

Однажды на дороге им попался уж очень большой и широкий человек. Тёмная материя окутывала его с ног до головы, а на голове стояла высочайшая чёрная труба.

Но только из трубы дома дым подымается кверху, а тут клубился внизу. И Лёля догадалась, что это не дым, а курчавейшая борода.

Мама остановилась. Остановился и человек с трубой на голове.

И мама поклонилась первая. А человек с трубой не поклонился, он помахал рукой в воздухе и протянул к маме эту руку.

Он тянул и тянул руку, и Лёля не понимала зачем.

Лёлина мама, кажется, должна была что-то сделать, а не сделала ничего. Она взяла Лёлю на руки и прошла мимо человека с трубой на голове.

— Кто это? — шепнула Лёля, когда они прошли мимо.

— Это — батюшка поп.

«Ого! — подумала Лёля. — Батюшка поп! А чего он руку-то тянул?»

— Чтоб я её поцеловала.

«А что ж ты её не поцеловала-то?» — хотела спросить Лёля, но не спросила, а только подумала.

И мама ответила:

— Да так, не хочется что-то.

И Лёля поняла, что батюшка поп хоть и главный человек, а мама, как ни крути, всё-таки главнее.

Сказка про деда Игната

А это было уже после того, как Лёля поняла, кто на свете главный человек.

Она узнала, что на свете много-много людей и множество вещей, а у её мамы немало учеников — и Марфуша, и Максим, и другие ребята. И мама их вовсе не учит летать, она учит их читать и писать.

И это большая разница. Читать и писать — одно, а летать — другое.

И всё-таки Лёля понимала, что читать и писать — это всё равно как летать, только немного по-другому.

И жил ещё в школе дед Игнат.

Большой и сильный дед. Он рубил дрова.

Размахнётся топором и так крякнет, что чурка пополам разлетается.

Потом дед собирал дрова в охапку и тащил в школу, и Лёля тащила за ним одно полено.

Дед Игнат бросал дрова на пол, и они грохались с грохотом, и дед говорил:

— Ну вот и приехали…

И Лёля бросала своё полено. И грохоту было поменьше. Но всё-таки был.

Дед Игнат топил печки. А их в школе было две — русская и голландская. И русская была больше голландской и дров съедала больше.

Затопив печку, дед Игнат глядел на стенные часы, доставал колокольчик и громко звонил.

И тут открывались двери класса — и все ученики разом выбегали в сторожку. А самая старшая и самая добрая ученица Марфуша подхватывала Лёлю на руки. И все ребята, и Марфуша с Лёлей на руках бежали на улицу, рассыпаясь по поляне, но дед Игнат скоро снова звонил в колокольчик, и все возвращались в школу. И как только ребята вваливались гурьбой в сторожку, дед говорил:

— Ну вот и приехали!

Это была его любимая фраза.

Пойдёт на улице дождик — дед говорит:

— Ну вот и приехали.

Вскипит самовар:

— Ну вот и приехали.

Приедут гости:

— Ну вот и приехали.

Однажды Лёля сказала деду, что крыльцо и завалинка всё-таки летают. Только глубокой ночью, когда все спят. Дед Игнат не поверил, чесал в затылке, удивлялся.

А Лёля в этот день легла спать нарочно порань-

ше. И заснула. Спать-то она спала, а всё равно всё видела и слышала.

— Эй, завалинка, — сказало крыльцо. — Ты спишь?

— Не, — ответила завалинка, — подрёмываю.

— Давай полетаем.

— Давай.

И они сорвались с места и полетели летать над деревней.

А дед Игнат как раз возвращался домой.

Увидел он, как летают над деревней крыльцо и завалинка, — сильно удивился. А когда появилась в небе школьная кафедра, покрашенная масляной краской, дед сел в траву и сказал:

— Ну вот и приехали.

Сказка о Полыновке

А вокруг деревни, в которой жила Лёля, повсюду — на полях и на дорогах — бушевала полынь.

В жаркие июльские дни запах полыни пропитывал и солнце, и воздух, и облака.

И дожди были здесь полынные. И грозы.

И называлась деревня — Полыновка.

Полыновцы любили полынь.

Вениками из полыни подметали они свои дома, и горький полевой запах стоял в каждом доме.

Как хороша была полынь, как красива!

Другие травы зелёные были да травянистые, а полынь-то — серебряная. Листья её, рассечённые ветрами, серебрились под солнцем, а на верхушке полынного стебля маленькие, а золотые горели зернины. И запах, невозможный запах — горький и радостный.

Лёле всегда хотелось набрать полыни, поставить в комнату как букет.

— Нельзя, Лёля, нельзя, — говорила мама. — Полынь — горькая. Не надо нам в доме горечи.

Лёля не знала, что такое горечь, и радовалась, что горечи в их доме нет и что веник всё-таки из полыни.

Интересные и очень простые люди были полыновцы. Они и сами были какие-то полынные — тихие, степные, полевые.

Гордостью села были девушки.

В праздничные дни они выходили на улицу в белоснежных длинных рубашках, которые назывались «панар». Подолы их были чудесно, причудливо расшиты. А пояса! Какие пояса! Это не были даже пояса, а бесконечные сложные украшения из разноцветных шерстяных ниток.

К поясам подвешивали девушки серебряные колокольчики, на шее висели ожерелья в пять рядов из разных монеток, и когда девушки выходили гулять — звон стоял на всю Полыновку.

И много жило в Полыновке разного народу, но раньше всех и лучше всех Лёля узнала Марфушу.

Умница была Марфуша, настоящая умница. В школу она приходила в белой вышитой рубашке и в красном фартуке.

В семье, кроме неё, было ещё пятеро детей, и ничем не отличались они от других полыновцев, кроме одного. У всех детей были прекрасные белые валенки.

Отец Марфуши валенки валял. Рядом с их домом был сделан навес, и длинные стояли столы, которые были завалены валенками, самыми

разными — белыми и серыми, детскими и взрослыми. Вся Полыновка ходила зимою в валенках, которые свалял Никифор-батей. Так звали Марфушиного отца — Никифор-батей.

«Батей» — это удивительное слово добавляли полыновцы к имени взрослого мужчины, отца семейства, и ничего особенно оно не означало, а просто означало — «дядя», но звучало здорово:

— Здравствуй, Никифор-батей!

А мать Марфушину звали Алёнакай. И это слово «кай» добавляли полыновцы к имени взрослой женщины, означало оно просто «тётя», а звучало серьёзно и уважительно:

— Здравствуй, Алёнакай!

Дома у Марфуши было множество дел, она и отцу помогала и матери, но душа её всегда была в школе. Она прибегала в школу, как только у неё случалась свободная минута. Она помогала Татьяне Дмитриевне: мыла окна, подметала пол и нянчилась с Лёлей. Марфуша мечтала стать учительницей.

А другим важным учеником был в школе Максим. В школу он попал поздно и был старше всех ребят. Мать его была почти совсем слепая, и Максим помогал ей и тесто месить, и хлебы печь. Делал он это очень хорошо. И вообще всё на свете

Максим делал очень хорошо: и самовар ставил, и печь топил, и дрова колол, но самое удивительное — он умел нарисовать человеческую руку. А уж это всем известно, кто умеет нарисовать человеческую руку — настоящий художник.

И Максим, и Марфуша, и вообще все полыновцы любили блины. Пшённые блины!

Что за чудо были эти блины — ноздрястые, пушистые!

Есть их надо было прямо со сковородки да макать в сметану и кислым запивать молоком.

В праздничные дни полыновцы приносили в школу Татьяне Дмитриевне простоквашу и сметану в глиняных кувшинах и завёрнутые в чистое полотенце пшённые блины.

На блины собирались в школу ребята. Приходила Марфуша, приходил Максим.

— Хочешь сказку под блины? — спрашивала у Лёли Марфуша.

— А какую сказку?

— Расскажу я сказку длинную, — серьёзно говорила тогда Марфуша, — не простую сказку — блинную. Ну, какую хочешь сказку? На один блин или на два?

— Давай на три.

— Ну так слушай сказку в три блина длиной.

Сказки свои Марфуша рассказывала очень-очень давно, и прошло много лет, прежде чем я их услышал, а потом прошло ещё много-много лет, прежде чем я стал их вам рассказывать. Сейчас уже нет на свете Марфуши, а я ещё есть. Поэтому слушайте Марфушину сказку, как я её вам расскажу.

Марфушина сказка в три блина длиной

Жила-была на свете мышка. Она очень любила блины.

Вот как-то испекла она три блина.

Съела первый блин, а он получился комом — встал у неё в горле — ни взад ни вперёд. Первый блин всегда комом.

«Ну ладно, — думает мышка, — съем второй блин. Второй первого прошибёт».

Съела она второй блин, а он тоже комом встал.

«Не прошибает, — думает мышка. — Съем третий».

Съела третий — и третий делу не помог.

Выскочила мышка из норки, бегает по лесу, приговаривает:

Утрясайтесь, блинчики,

Растрясайтесь, пшённые!

Добежала она до старого дуба, который рос на опушке.

Встала под дубом и подпрыгивает на одном месте, чтоб блинчики поутряслись.

Услыхал дуб, как мышка блинчики уговарива-

ет, и смешно ему стало. «Вот, — думает, — какая глупая мышка. Шугану-ка я её».

Уронил он жёлудь, да так ловко, что прямо в мышку попал.

Тут первый блинчик и проскочил от страху.

— Что такое? — пискнула мышка. — Что это падает?

Усмехнулся дуб: какая глупая мышка попалась! Шевельнул ветвями и шепнул:

— Небо!

Тут от страху и второй блинчик проскочил, а сама мышка бросилась бежать со всех ног.

— Эй, девушка! — крикнула ей крыска. — Куда бежишь?

— Ой, крыска-сестрица! Небо падает! Понимаешь? Падает небо! Такой здоровенный кусок на меня упал! Бежим!

Напугалась крыска, дунула за мышкой следом. Бежит и думает:

«Уж если небо кусками падает — куда от него убежишь?»

— Эй, грызуны! Куда бежите? — крикнул им заяц.

— Незнамо куда, — ответила крыска, — где небо не падает.

— А чего оно здесь, падает, что ли?

— А ты чего, сам, что ли, не видишь?

Глянул заяц на небо — ого! О-го-го! Падает! Прямо на зайца! И пустился заяц бежать!

Так бежали мышка, крыска и заяц и всем рассказывали, что небо падает. И скоро уже бежали за ними и волк и лиса.

Бегали они, бегали, опять к старому дубу прибежали.

Стоят под дубом, кричат:

— Небо! Дорогое наше небо! Не падай! Умоляем!

— Вы чего это раскричались? — строго спросил их старый дуб.

— Да как же, дяденька, не кричать да не плакать, ведь небо падает.

— Ах вы, чудаки-чудаки, — сказал дуб. — Это вы падёте, и я упаду, а небо будет стоять вечно.

Тряхнул дуб ветвями — посыпались жёлуди. Кому по лбу жёлудь попал, кому — по загривку.

Кинулись звери кто куда — врассыпную. И тут уж, конечно, у мышки и третий блинчик проскочил.

Сказка о полынном языке

Полыновцы часто рассказывали сказки своим детям. Но самое удивительное, что и сказки рассказывали и так просто между собой они говорили на особом, на полынном языке. Казалось, что слова и сами звуки их голоса пронизаны степным ветром, пропитаны полынью.

Давно-давно, в древние времена, пришли сюда люди с Севера, со скалистых морозных гор. Они остановились посреди бескрайней степи — поразила их степь, залитая солнцем, обрадовал запах полыни.

Они остались жить в степи, и у дороги родилась деревня — Полыновка.

А вокруг были русские деревни, русские города. Земля русская приютила полыновцев, стала для них родной землёй.

Вот так и получилось, что рядом с русским народом жил другой народ — полыновцы. По-настоящему народ этот назывался — мокша, а земля вокруг — Мордовия.

Вот уж кому было трудновато, так это Татьяне Дмитриевне. Она-то была русская и учила полыновцев грамоте и письму на русском языке,

потому что на полыновском в те далёкие времена не было книг.

Вот, к примеру, на уроке Татьяна Дмитриевна спрашивает ученика:

— Где твоя тетрадка?

А он отвечает:

— Кати коса…

«Какая коса? — думает Татьяна Дмитриевна. — Куда её катить? Нет уж, не буду я катить свою косу».

А коса у ней была — большая, красивая коса, которую она иногда укладывала вокруг головы, а иногда выпускала на плечи.

— Где же твоя тетрадка? Куда ты её девал?

— Кати коза…

Этого ещё не хватало — козу катить!

А на полынном языке «кати коса» означает — «не знаю где», а «кати коза» — «не знаю куда».

Много ещё было странных и красивых слов у полыновцев, и Лёля все эти слова понимала. Она с детства говорила сразу на двух языках.

И было удивительное слово — «ломань».

На полыновском языке это слово означало — «человек».

И Лёля думала: почему же человек — «ломань», ведь люди не ломаются, они так крепко и гордо

ходят по дороге?

Однажды она увидела старую бабушку. Совсем сгорбилась бабушка, еле шла по дороге, опираясь на клюку.

— Бабушка, бабушка, — подбежала к ней Лёля. — А ты — ломань?

— Ломань, доченька, ломань. Я ещё человек.

Лёля смотрела ей вслед и долго думала и поняла, что жизнь может и вправду ломать человека, и главное, чтоб не сломала.

Так в Лёлиной голове сливались два языка — русский и полыновский, они помогали друг другу. Иногда Лёля чего-то не понимала на русском, зато понимала на полыновском.

Но мы дальше всё будем рассказывать на русском.

А то ещё, чего доброго, нам скажут: «кати коза», а мы схватим какую-нибудь козу да и покатим её не знаю куда.

Сказка о солдатике

— Ну вот и приехали, — сказал однажды дед Игнат, входя в комнату.

Своими крепкими заскорузлыми пальцами он держал за ухо какого-то чернявого мальчонку. Более чумазого мальчонки Лёля пока в своей жизни не встречала. А ещё он был — кудрявый!

— Цыганёнок! — сказала Татьяна Дмитриевна. — Отпусти его, Игнат.

Дед отпустил, и в тот же миг цыганёнок прыгнул к окну и вылетел бы на улицу, если б дед не успел ухватить его за ухо.

— Откуда ты? — спросила Татьяна Дмитриевна. — Как тебя звать?

— Ква-ква! — ответил цыганёнок. — Ква-ква-ква!

И тут он вытащил из-за пазухи лягушку. Лягушка прыгнула — Татьяна Дмитриевна вскрикнула, а кудрявый снова прыгнул к окну, и лягушка за ним.

Но дед Игнат снова поймал и мальчишку и лягушку. Лягушку отпустил за окно, а мальчика оставил в школе.

Кудрявый наконец понял, что выпрыгнуть за

окно ему не дадут.

— Отпусти ухо, дед, — сказал он. — Не буду прыгать.

Дед Игнат отпустил ухо, и кучерявый протянул руку Лёлиной маме и сказал:

— Мишка.

— Откуда ты? — спросила Татьяна Дмитриевна. — Откуда ты взялся?

— С войны, — ответил Мишка. — Я — бродячий солдат.

В тот же день повели Мишку в баню.

— Не хочу мыться! — кричал бродячий солдатик. — Не хочу париться!

Но его отмыли, дали штаны и новую рубашку.

Спать Мишку уложили в сторожке, у деда Игната.

И как только настала ночь и дед Игнат захрапел — Мишка тут же и убежал.

Но и дед Игнат храпел нарочно. Он решил поглядеть, куда бежит бродячий солдатик. А Мишка добежал до ближайшего стога, закопался в него и заснул.

— Пускай себе спит, — решил дед Игнат, вернулся в сторожку, залез на печку и захрапел уже по-настоящему.

С тех пор и жил цыганёнок Мишка в деревне

Полыновке, а спал где хотел — то в сторожке, то в стогу сена.

Откуда он здесь взялся — никто никогда не узнал. Наверно, потерялся, отстал от родных цыган, бродящих по полынной степи.

Сказка о том, как Мишка уходил на войну

— А ну-ка пойди сюда, — сказал Мишка Лёле, когда увидел её, и он поманил девочку пальцем.

— Не пойду, — сказала Лёля.

— Иди-ка сюда, иди.

— Не пойду, у тебя там — жаба!

— Где?

— Да вон там.

— Тут, что ли? — спросил Мишка и сунул руку за пазуху. — Да нету здесь ничего. Иди, не бойся.

Но Лёля не пошла к Мишке. Пускай не думает, что она дура. Она ясно видела, что за пазухой у него кто-то шевелится.

— Ну ладно, — сказал Мишка. — Это не жаба, а простая лягушка. Смотри, я её отпущу.

Мишка вытащил из-за пазухи лягушку и бросил её в лужу.

— Иди теперь ко мне, не бойся.

И Лёля подошла к Мишке. А у него за пазухой была вторая лягушка. И он вытащил её и сунул Лёле прямо в нос.

И Лёля, конечно, закричала изо всех сил и от-

прыгнула. А Мишка хохотал на всю деревню.

— Ну ладно, — сказал он, отхохотавшись. — Иди снова сюда.

— Не пойду, — сказала Лёля. — Ты — обманщик.

— Да ладно, иди, нету больше лягушек.

— Не пойду, и всё.

— Обижаешь, — сказал Мишка. — Ладно. Я сам уйду в солдаты. Уйду на войну.

— Как это так? — удивилась Лёля.

— А вот так! — сказал Мишка и повернулся спиной. — Вот видишь — ухожу.

Он сделал два шага и остановился.

— Ухожу в солдаты. На войну. А там меня убьют. И все будут плакать. И всё это из-за тебя.

И Мишка снова повернулся к Лёле спиной и пошёл в солдаты. На войну. И Лёле сделалось жалко, что он уходит в солдаты. Он хоть и обманщик, а — весёлый человек. Жалко его убивать.

— Эй, Мишка, — сказала она вдогонку. — Не уходи в солдаты.

Сказка об игре в яйца

— Ну, ладно, — сказал Мишка. — Пока не уйду… а теперь давай яйца катать.

— Как так?

— А вот так, — сказал Мишка и достал из кармана куриное яйцо. — Видишь это яйцо? Оно варёное. А можно играть и неварёными, неважно. А вот смотри — мяч.

И он достал из кармана мячик, сшитый из разных тряпок.

— Теперь кладём яйцо на землю и отходим в сторону. И кидаем мяч. Кто попадёт в яйцо — тот его и съест. Понятно?

— Понятно, — сказала Лёля.

— Ну кидай, — сказал Мишка и протянул Лёле мяч.

Лёля взяла мячик и кинула. Мяч полетел куда-то в сторону, совсем не туда, где лежало яйцо.

— Так, — сказал Мишка, — промазала. Теперь моя очередь.

Он размахнулся и кинул так ловко, что сразу попал в яйцо. Мишка подбежал, схватил яйцо, мигом содрал с него скорлупу и сунул яйцо в рот. С удивлением смотрела Лёля, как Мишка быстро

ест яйцо.

— Ну давай теперь ты своё яйцо, — сказал Мишка.

— Какое яйцо?

— Как это какое? Твоё яйцо. Моё мы проиграли и съели. Теперь твоя очередь ставить на кон яйцо.

— А у меня нету яйца.

— Как это нету? У деда Игната за печкой-то, в корзинке. Беги и неси.

— Нет, не могу, — сказала Лёля. — Дед Игнат заругает.

— Ах, ты не можешь?

— Не могу.

— Совсем-совсем не можешь?

— Совсем-совсем.

— Ну тогда я ухожу в солдаты. — И Мишка повернулся к Лёле спиной и пошёл в солдаты.

— Стой, Мишка, — сказала Лёля, — не уходи в солдаты. Я принесу.

Она побежала в школу, взяла из кошёлки яйцо. Яйцо положили на землю, и Лёля, конечно, снова промахнулась, а Мишка сразу попал. От удара яйцо треснуло, потому что было сырое. Но Мишка его быстренько выпил.

— Беги, неси новое.

И Лёля побежала.

Когда Мишка выиграл девять яиц и Лёля побежала за десятым, он крикнул ей вдогонку:

— Эй, Лёля-Лелесь! Надоели несолёные яйца. Неси вместе с яйцом и соли! И хлеба краюху!

И Лёля, конечно, всё принесла.

— Разделим по-братски, — сказал Мишка и разломил кусок хлеба пополам, посыпал солью.

А Лёля задумалась и сказала потом:

— Наверное, ты мой степной брат.

— Как так? — спросил Мишка.

— А так. У каждого человека есть свой степной брат. Мне Марфуша рассказывала.

Марфушина сказка про степного брата

Жила когда-то в деревне Полыновке девочка. Жила она в бедном доме вместе со своей матерью. И не было у неё ни братьев, ни сестёр. А про степного брата она ничего не знала.

Вот заболела мать. А в доме ни хлеба, ни пшена — вода холодная. Напилась мать воды и говорит дочке:

— Иди, доченька, в поле. Позови на помощь своего брата.

— Какого, — девочка говорит, — брата?

— Степного.

Вот пошла девочка в поле, стала там и говорит:

— Братец, братец мой степной, отзовись!

И вдруг слышит шёпот издалека:

— Стё…ё-ё…па… Стё-ё-па…

Обрадовалась девочка, что отозвался брат.

— Стёпа, братец, матушка наша хворает, а в доме нет ничего — только вода холодная.

И тут заволновалась степь, раздвинулись кусты полыни, и показался высокий и странный человек. Он был весь серебряный, как полынь. Одежды — серебряные и волосы. Обнял он девочку и говорит:

— Я Стёпа — твой брат степной.

Вот пришли они домой, и брат быстро наколол дров, согрел воды. А потом сходил к соседям, отдал свой серебряный кафтан за мешок картошки да бутыль постного масла. Наварили они картошки, и матушка пошла на поправку.

Так и стали они жить втроём, матушка, да дочка, да степной брат Стёпа.

А зима была долгая. Скоро кончилась картошка да постное масло, пошёл Стёпа к богатым соседям, променял сапожки серебряные на мешок муки. Так и дожили до весны, и ничего серебряного больше у Стёпы не осталось — только волосы да серебряный зубик.

— Дальше нам не прожить, — сказал Стёпа. — Пойду-ка я на вольные земли. Заработаю денег, а осенью вернусь.

Видят мать с дочкой — делать нечего. Поплакали.

Пошла девочка провожать степного своего брата.

Дошли до реки, остановился Стёпа и говорит:

— Видишь эту ветлу? Это я её посадил. Вон какие листья серебряные. Где бы ни был — я с ветлой этой связан. Вспомнишь обо мне — приходи сюда, посиди под ветлой.

Зашумела ветла, и девочка обрадовалась, что брат оставил ей своё дерево.

— А это — рубашка, — сказал брат и достал из дорожного мешка белую рубашку, расшитую красными узорами. — Эту рубашку я для тебя берёг. Никому не давай её, потому что она — чудесная. А ещё я оставлю тебе свой зубик серебряный.

— Да как же так?

— А очень просто. Зажмурь-ка глаза. Раз, два…

Открыла девочка глаза — и не увидела брата, исчез. А про зубик серебряный она ничего не поняла. Пришла домой, а мать и говорит:

— Ой, какой у тебя зубик серебряный! Откуда?

Дни шли за днями, а от брата никакой весточки. Девочка с серебряным зубиком часто приходила на берег речки, садилась под братской ветлой, слушала шуршание листьев.

Однажды она заметила, что на ветле появились сухие ветки. Листья с них опадали. Заволновалась девочка с серебряным зубиком.

— Плохо брату. Одиноко. Пойду-ка я на вольные земли, помогу брату.

А мать не пускает, за руки держит.

— Пустите, матушка. Вон у ветлы ветки сохнут!

Видит мать — делать нечего, сохнут ветки. Нарядила дочку в рубашку, расшитую красными узорами, заплакала, и упали девочке на грудь две слезы.

— Милая, — сказала мать. — От смерти, от болезни, от беды спасут тебя мои слёзы. Береги их. И в речке не купайся. И зубик серебряный никому не показывай, а то отнимут. Давай лучше воском его залепим.

Так и сделали. Залепили серебряный зубик воском, и пошла девочка на вольные земли. Вот идёт тёмным лесом, а навстречу — тётка Вирява, косматая, губы красные.

— Здорово, девочка. Далёко путь держишь?

— На вольные земли.

— И я с тобой!

— Идём.

Шли они, шли, а солнце печёт. И вот пришли к речке.

— Давай, девочка, искупаемся, — Вирява говорит, — а то жарко.

Вышли они на песчаный бережок, разделись. Залезла девочка в воду, а грудь рукой прикрывает. Вирява сбросила лохмотья, схватила чудесную рубашку, хотела надеть.

— Ой, матушка, тётка Вирява мою рубашку

схватила!

И тут послышался голос матери:

— Сейчас, сейчас, дочка! Бегу тебя выручать. Откручу Вирявe голову!

Напугалась тётка, откинула чудесную рубашку, снова надела свои лохмотья. Пошли они дальше.

Долго шли, а солнышко всё печёт. И вот пришли к другой реке.

— Давай ещё разок искупаемся, — Вирява говорит. — Я уж теперь рубашку не трону, я твоей матери боюсь.

Разделась Вирява, полезла в воду.

— Ох, как в речке хорошо, — говорит. — Ох, полегчало!

Не выдержала девочка с серебряным зубиком, разделась, полезла в воду. Плещется, а грудь прикрывает, как бы слёзы материнские не смыть. Заметила это Вирява и давай ей воду на грудь плескать. И смыла материнские слёзы.

Выскочила на берег, схватила чудесную рубашку. Заплакала девочка, закричала, да только на этот раз мать не отозвалась.

Нарядилась тётка Вирява в чудесную рубашку и сразу стала красавицей. Скачет на одной ноге, хохочет, вон, мол, я какая! Что делать? Пришлось девочке лохмотья её надевать.

Пришли они на вольные земли, а навстречу — степной брат. Не узнал он девочку в тёткиных лохмотьях, а вот рубашку чудесную сразу узнал.

— Ты кто такая? — спрашивает Виряву.

— Как это кто? Я сестра твоя родная. Али не узнаёшь?

— Не похожа что-то, — сказал Стёпа. — А ну-ка открой рот.

Разинула тётка Вирява рот, а там и нету серебряного зуба!

Засмеялся Стёпа, схватил Виряву за ухо:

— Ты куда мою сестру подевала?

— Ой, пусти, пусти! — Вирява закричала. — Ухо оторвёшь!

— Оставь её, Стёпа, — сказала девочка с серебряным зубиком, отлепила воск и улыбнулась брату.

Обрадовался брат, целует сестру.

— Сестрица, — говорит. — Как я рад, что ты пришла. Так мне было грустно, одиноко. Теперь ты будешь мне помогать.

Так и стали жить брат и сестра на вольных землях. Он землю вольную пахал, хлеб растил, а она ему во всём помогала. А Виряву-то тётку брат за уши хорошенько потрепал, рубашку чудесную отобрал да и отпустил с миром.

Осенью вернулись они домой с богатыми подарками. Хлеба привезли вдоволь, соли, керосину.

— Ну теперь-то уж вы хорошо проживёте зиму, — сказал степной брат. — А мне возвращаться пора.

— Куда это возвращаться?

— Туда, туда, в степь.

— Ой, да что ты?! Зачем? — заплакала девочка с серебряным зубиком. — Останься со мной.

— Нельзя, никак нельзя, сестрица милая. Я ведь — степной человек, полынный. Да ты не горюй. Плохо на душе станет — приходи в степь, позови, я всегда тебе отзовусь.

Поцеловал он девочку — и пропал в степи.

— Отзовись, братец! — крикнула девочка, и степь сразу отозвалась:

— Стё-па… Стё-па…

С тех пор девочка чуть не каждый день ходила в степь и брат всегда отзывался ей. А уж когда ей совсем плохо на душе было, он выходил из полыни, чтобы обнять сестру.

Сказка о том, как пришла осень

Пришла, пришла к полыновцам осень.

Золотая, конечно, осень.

А ведь на земле не бывает другой осени — всегда золотая.

Полыновцы были в поле. С утра до ночи убирали они урожай, готовились к зиме. И девочки и мальчики помогали родителям — и дрова возили, и картошку копали, лён да коноплю готовили для пряжи, солили огурцы.

А в школе было пусто. Никто в школу не приходил.

Давно прошёл знаменитый день 1 сентября, а уроки никак не начинались.

Татьяна Дмитриевна очень огорчалась. Ходила по дворам, уговаривала отдать детей в школу.

— Да вот ещё дров наготовим… — отвечали полыновцы.

Что было делать? Надо было ждать, и Татьяна Дмитриевна ждала.

Всё-таки она уговорила кое-кого отдать детей в школу.

Особенно неохотно отдавали в школу девочек. Ведь надо было кому-то зимою пряжу прясть

да полотно ткать. Занимались этим девочки. У полыновцев ведь всё было своё — домотканое.

Татьяна Дмитриевна готовила школу к началу занятий — мыла, чистила, скребла, а помогали ей дед Игнат и Лёля.

— А Мишка-то где? — спросила Татьяна Дмитриевна. — Что-то его не видно.

Дед Игнат махнул рукой.

— Что такое? Куда он девался?

— Ушёл, — сказала наконец Лёля.

— Куда ушёл?

— В солдаты.

— Как? Что такое?!

А дело было так.

Дед Игнат истопил баню, потащил туда Мишку.

— Не хочу мыться! — кричал солдатик на всю деревню.

Но дед Игнат крепко держал его за ухо. Отмыл солдатика, отпарил.

— Ухожу, — сказал Мишка. — В солдаты!

— Не уходи, Мишка, — просила Лёля.

— Хватит, надоело. Возьму-ка вот этот пустой мешок. Буду складывать в него военную добычу.

И Мишка ушёл с мешком под мышкой. Лёля бежала за ним до самой околицы.

— Когда же он ушёл? — спросила Татьяна Дмитриевна.

— Вчера.

Бродячего солдатика нашли на опушке леса. Он спал, лёжа на мешке. А мешок был плотно набит чем-то, а чем — неизвестно.

— Что у тебя в мешке? — спросила Татьяна Дмитриевна.

— Не могу знать, — по-солдатски ответил Мишка. — Это — военная тайна.

Так они и пошли в деревню с мешком за плечами, в котором лежала военная тайна.

Листья с деревьев сыпались им под ноги, шуршали под ногами. Осень пришла в Полыновку, золотая осень. А ведь на свете не бывает другой осени — всегда золотая.

А в мешке-то у Мишки были орехи. Настоящие лесные осенние орехи. Мишка собрал их, пока был на войне.

И когда начались в школе занятия, тайна военная быстро раскрылась, потому что все ученики щёлкали на переменках Мишкины солдатские настоящие лесные осенние орехи.

Сказка о том, как в школе начались занятия

А занятия в школе начались уже поздней осенью.

С утра дымили в деревне печи, пахло блинами, пирогами.

А в школе пахло мелом, поздними белыми цветами, новыми чернилами, чёрной доской.

Под доской сидел за столом человек с бородой. Это был лавочник Чернов. Борода у него была густая, глаза тяжёлые. Чернова в деревне побаивались — лавочник, человек богатый. Рядом с Черновым сидел за столом и батюшка поп, тот самый, с трубой на голове, которому Татьяна Дмитриевна руку не целовала.

Руку-то не целовала, а всё равно должна была показывать батюшке уважение. Школа была церковноприходская. Люди, которые приходили в церковь, назывались прихожане, а дети прихожан приходили в школу. Татьяна Дмитриевна должна была подчиняться попу. И она вроде бы ему подчинялась, а в душе не подчинялась никогда.

И вот начался первый урок.

Батюшка поп встал, и все ученики сразу встали.

— Господи, помилуй! — сказал поп, да так громко, что у многих учеников поджилки задрожали.

Батюшка начал читать молитву, ученики вытаращили на него глаза и, конечно, ничего не понимали. Молитву-то он читал на церковном языке, а они-то знали свой язык — полынный.

Голос попа становился всё громче, громче, и ученики совсем оробели.

К торжественному дню они все принарядились. Все были в белых штанах и рубахах, на ногах сияли новенькие лапти.

Стоял среди них и солдатик Мишка. Татьяна Дмитриевна заставила и его прийти в школу, в первый класс. Мишке тоже сшили штаны и рубаху, и дед Игнат перед началом занятий его как следует причесал.

Молитва наконец кончилась. Все вздохнули с облегчением, и батюшка поп сказал;

— А сейчас устроим перекличку. — Он взял тетрадь, которая лежала на столе, раскрыл её и вдруг гаркнул: — Антошкин Иван.

Ученики снова перепугались, а больше всех перепугался Ваня Антошкин, маленький мальчик,

который тоже пришёл в первый класс. Он никак не ожидал, что сразу после молитвы батюшка поп назовёт его имя.

— Антошкин Иван! — снова повторил батюшка.

Ваня окончательно побледнел, сморщил нос и вдруг заплакал. Татьяна Дмитриевна подошла к нему и шепнула на ухо:

— Не бойся, Ванечка. Встань и скажи: я.

Но Ванечка плакал безудержно.

— Вот ведь история, — сказал батюшка лавочнику. — Ревёт чадо, а чего ревёт?

— Напугалось чадо, батюшка, — сказал Чернов. — Вот и ревёт. Вы уж потише, батюшка, чадо какое-то пугливое попалось.

— Гм… чадо пугливое… Ну чего ты ревёшь, чадо? Встань и скажи: я.

Ванечка встал, а сказать ничего не мог.

— Ну, — сказал батюшка. — Кто тут Иван Антошкин, можешь ты ответить? Ты Иван Антошкин или я?

Ванечка на миг перестал плакать, подумал немножко, действительно, кто же тут Иван-то Антошкин, и сказал наконец, ткнув себя пальцем в грудь:

— Мон.

Тут все, конечно, засмеялись. «Мон» — это было на полынном языке, а надо было отвечать на русском.

Батюшка поп махнул рукой и продолжал перекличку:

— Киреев Ефим.

— Я.

— Несмеев Григорий.

— Я.

Наконец дело дошло до солдатика.

— Михаил, — прочёл батюшка поп, хотел было продолжить и остановился. — Михаил… Что ещё такое? Михаил, а дальше пусто. Где его фамилия?

— У него нет фамилии, — сказала Татьяна Дмитриевна. — Он — найдёныш.

— Какой ещё найдёныш? Где фамилия? А ну встань, Михаил.

Мишка встал. Батюшки он особенно не напугался и поглядывал, далеко ли до окна, чтоб выпрыгнуть в крайнем случае.

— Кто ты таков, Михаил? Откуда?

— Я — бродячий солдат, — ответил Мишка.

— Этого ещё не хватало, — сказал батюшка, — то чадо пугливое, то солдат бродячий. Нечего ему в школе делать.

— Вот и хорошо, — сказал Мишка. — Я бы и сам

давно ушёл на войну, да Татьяна Дмитриевна не пускает. Ну пока! Привет! Пишите письма, а я пошёл.

— Сядь, Михаил, на место, — сказала Татьяна Дмитриевна. — Ты будешь учиться.

— Да он же некрещёный! — взревел батюшка. — Фамилии не имеет.

— Пусть учится, — спокойно ответила Татьяна Дмитриевна.

— Брррродячий солдат… — забурчал батюшка поп. — Ладно, пусть сидит. Немедленно придумать ему фамилию и окрестить.

Сказка о фамилии

А Лёля сидела всё это время в сторожке у деда Игната. Она слышала, как плакал Ваня Антошкин и как Мишку-солдатика чуть не выгнали из школы.

Наконец дверь класса отворилась, и батюшка с лавочником вошли в сторожку. Дед Игнат и Лёля поклонились. Дед Игнат схватил колокольчик, зазвонил. Подталкивая друг друга, ученики выбежали на улицу — началась переменка.

Только Ваня Антошкин на улицу не пошёл, сел на скамейку рядом с Лёлей. Он всё ещё немножко дрожал.

— Вань, Вань, — сказала Лёля. — Хочешь картошечки печёной?

— Угу, — потихоньку сказал Ванечка.

Лёля достала ему из печки картофелину, и Ванечка всю переменку эту картофелину потихоньку жевал.

Дед Игнат снова зазвонил в колокольчик, ученики собрались в классе. Вошла в класс и Лёля, села в самом дальнем уголке, у стены.

— Начнём урок, — сказала Татьяна Дмитриевна. — И начнём вот с чего. Придумаем все вместе

Мише фамилию.

— Давайте, давайте, — развеселились ребята. Им, конечно, раньше никогда придумывать фамилии не приходилось.

— Назовём его Найдёнов, — сказала Марфуша. — Он ведь нашёлся, пускай будет Найдёнов.

— Его дед Игнат привёл, — сказал Максим. — Пусть будет Дедов или Игнатов.

— Ну уж нет, — сказал солдатик. — Не хочу я быть Игнатовым. Он меня за ухо таскал. Да и вообще, зачем мне фамилия? Мне и Мишки хватит.

— Имени хватит, я согласна, — сказала Татьяна Дмитриевна. — Но всё-таки принято, чтоб у человека была фамилия. Сам подумай, у всех есть фамилия, а у тебя нет. Нехорошо. Хочешь, возьми мою?

— А какая у тебя фамилия? — спросил Мишка.

— Колыбина.

— Мне эта фамилия не подходит.

— Да почему же?

— Да она… какая-то не солдатская. Нет, я какой-нибудь другой буду.

Тут все стали вспоминать, какие есть в деревне фамилии, и много набралось фамилий у полынного народа: Алемаевы, Антошкины, Чекаловы, Сараевы, Несмеевы, Лапштаевы, Тулаевы, Кире-

евы, Кулясовы и много ещё других фамилий, но ни одна из них Мишке не понравилась.

— Не знаю, что с тобой и делать, — сказала Татьяна Дмитриевна. — Ничего тебе не нравится.

— Ничего, — согласился Мишка.

— Эй, Мишка! — послышался вдруг голос Лёли из дальнего угла. — Ты ведь орехи любишь.

— Конечно, люблю. Недавно целый мешок набрал.

— Вот и возьми себе фамилию — Орешкин.

— Орешкин? — задумался Мишка. — Вроде — неплохо звучит. По-солдатски.

И все ученики согласились, что звучит неплохо — Орешкин! Здорово звучит! По-солдатски!

Так и стал Мишка-солдатик Михаилом Орешкиным.

А уже потом, через несколько дней, когда Татьяна Дмитриевна на уроке по русской истории рассказала о великом полководце Суворове, Мишка потребовал, чтоб ему сменили фамилию и звали теперь — Суворов!

— Я — Суворов! — кричал он на переменках. — А вовсе никакой не Орешкин.

А ещё через несколько дней он потребовал, чтоб его звали Михаил Кутузов, и нарочно прищуривал глаз, потому что великого полководца

Михаила Кутузова ранили в глаз на войне.

И ребята звали его то Суворовым, то Кутузовым, но как ни прищуривал глаз бродячий солдатик, он всё равно остался на всю жизнь Мишкой Орешкиным.

Сказка об уроке русского языка

А после того, как Мишке придумали фамилию, начались в школе серьёзные уроки.

И первым был урок русского языка.

Это был, конечно, самый трудный урок для полыновских ребят, потому что некоторые не знали по-русски ни слова.

Первым делом Татьяна Дмитриевна нарисовала на доске круглую человеческую голову, с ушами, а без глаз.

— Это что такое? — спросила она.

— Пря! — закричали ребята на полынном языке. — Пря это.

— А по-русски — голова. Ну, повторим все вместе: го-ло-ва!

— Го-ло-ва! — закричали ребята теперь уже на русском языке.

Тут Татьяна Дмитриевна взяла мел и нарисовала на голове глаз.

— А это что такое?

— Сельме! — закричали ребята на своём языке.

— А по-русски — глаз. А ну-ка повторим все вместе.

— Глаз! Глаз! Глаз! — закричали ребята на рус-

ском языке. — Ухо! Ухо! Нос! Нос!

Потом стали изучать новые слова: рука, ладонь, палец, ноготь.

И особенно трудным оказалось слово «ноготь».

— У лошади — копыто, — объяснила Татьяна Дмитриевна. — У коровы тоже — копыто, а у нас — ноготь, ногти.

Наконец ребята запомнили и это слово.

В самом конце урока Татьяна Дмитриевна подошла к Ване Антошкину.

— Это что у тебя, Ванечка? — сказала она и ласково положила руку ему на голову.

— Голова, — прошептал Ванечка.

— Молодец, хорошо. А это что?

— Глаз.

— А это?

— Рука.

— А это что такое? — спросила Татьяна Дмитриевна и потрогала ноготь у Ванечки на руке.

Ванечка покраснел и молчал.

— Ну вспомни, у лошади копыто, а у человека…

— Копыт, — сказал Ванечка, и тут все ребята, конечно, засмеялись.

Дед Игнат зазвонил в колокольчик: перемена! Все побежали на улицу. Мишка-солдатик

ухватил за нос Ефимку Киреева и кричал на всю деревню:

— Нос! Нос! Нос!

— Ухо! Ухо! — кричал в ответ Ефимка, стараясь ухватить солдата за ухо.

А Ванечка Антошкин сидел в сторожке у деда Игната и плакал.

— Вань, Вань, — говорила Лёля. — Не плачь. Тят аварьде. Не плачь. Понимаешь?

— Горе у меня, — сквозь слёзы шептал Ванечка. — «Копыт» сказал.

— Не беда, — успокаивала его Лёля. — Хочешь картошечки печёной?

Ванечка на миг перестал плакать, подумал немного и сказал:

— Угу.

Сказка о сосновой лампе

И пошли школьные дни один за другим — день за днём, урок за уроком.

Всё глуше становилась осень, всё ближе приближалась она к зиме. Зарядили дожди, заныли степные ветры.

А в школе дед Игнат топил с утра обе печки, было тепло, уютно. Трещали в печках дрова, скрипели перья, слышался голос Татьяны Дмитриевны.

В школе вообще-то было три класса — первый, второй и третий, а классная комната одна. И все три класса занимались в одном классе. Иногда какой-нибудь класс переселялся в сторожку к деду Игнату и занимался там, прямо у печки. Но чаще всего все сидели в одной комнате, но путаницы на уроках не было. Пока один класс решал задачки, второй писал, а уж с третьим Татьяна Дмитриевна занималась устно.

Лёле было, конечно, интересней всех, потому что она училась сразу во всех трёх классах. То подсядет к ребятам, которые решают задачки, то посмотрит, кто как пишет, то послушает, о чём рассказывает мама. Незаметно училась Лёля

читать и писать.

Максим и Марфуша учились уже в третьем классе, хорошо знали русский язык. Они помогали Татьяне Дмитриевне. Когда учительница выходила из класса, старшими ребятами командовал Максим, а младшими Марфуша. Командовать-то они командовали, да только никто их особенно не слушал.

Всё дольше длились осенние ночи, всё ближе приближалась зима. Раньше осень незаметно двигалась к ней, а теперь зима сама пошла навстречу.

Вечерами загоралась в школе зелёная лампа. Это была керосиновая лампа с абажуром из тонкого стекла особого какого-то зелёного цвета — лесного цвета, соснового.

Под лампою сидела у стола Татьяна Дмитриевна, проверяла тетради, рядом с нею пристраивалась Лёля, смотрела картинки в книжках, рисовала домики и коров. Дед Игнат покашливал в сторожке. Потом вдруг хлопала на крылечке дверь — появлялась Марфуша, а за нею Максим, и снова собирались в школе почти все ученики.

Они рассаживались у стола вокруг учительницы. Сосновый и лесной свет падал на их лица, и так это было необыкновенно — сидеть вечером в

школе, рисовать или решать задачки.

Максим и Мишка-солдатик каждый вечер пекли в печке картошку. А вечер тянулся долго. Уже ни огонька не светило в деревне, а в школе всё ещё горело сосновое окно. И там, за столом, сидели ребята, смеялись и болтали, и дымила печёная картошка под сосновой керосиновой лампой.

— Ну вот и приехали, — ворчал дед Игнат и тоже присаживался поближе к сосновой лампе.

Печёная картошка веселила деда. Наевшись картошки, он смеялся вдруг, и дрожали его рыжие усы над прокуренной бородой. Молчаливый обычно, дед начинал бурчать себе под нос, и из бурчанья этого сама собой появлялась сказка. Сказки у него были особенные, всё больше про волков.

Много времени прошло с тех пор, и нет на свете деда Игната. А я ещё есть. Вот и слушайте сказку деда Игната, как я вам её расскажу.

Сказка про деда Игната и волка Евстифейку

Жили-были в полынных степях старик со старухой.

И были у них кошка-судомоечка, собачка-пустолаечка, овечка-тихоня и Басуля-коровушка.

А рядом с ними жил в овраге Евстифейко-волк. И этот Евстифейко большой разбойник был.

И вот настала зима, снег выпал, ударил мороз. Нечего стало Евстифейке есть. Вот приходит он к старику и говорит:

— Здорово, старик.

— Здравствуй, Евстифейко-волк.

— Ты, старик, отдай мне старуху, я её съем.

— Вот ещё чего выдумал. Мне старуху жалко.

— Тогда давай чего другое, а то у меня в животе бурчит.

Пристал Евстифейко, никак от него не открутишься. Делать нечего, отдал старик кошечку-судомоечку.

Проглотил её Евстифейко — опять к старику прибегает:

— Давай старуху — в животе бурчит.

Не хочется старику старуху отдавать — отдал собачку-пустолаечку.

Но Евстифейке и этого мало.

— Давай, — говорит, — старуху.

— Да что ты привязался? — старик говорит. — Не отдам.

— Давай и всё, — такой этот Евстифейко упорный оказался.

Нечего старику делать — пришлось овечку-тихоню отдать.

Проглотил Евстифейко тихоню, опять прибегает:

— Давай старуху.

— Дудки.

— Дак в животе играет.

Жалко старику старуху, не хочется отдавать. Отдал Басулю-коровушку. А корова-то здоровенная была да бодливая.

«Надеюсь, подавится», — думает старик.

Но Евстифейко и коровушку проглотил. И два дня он — это верно — не приходил к старику, а тут опять заявляется. Идёт, кое-как лапы переставляет, еле брюхо по земле волочит.

— Здорово, — говорит, — старик.

— Здравствуй, Евстифейко-волк.

— Да, вот они какие дела-то, — Евстифейко

говорит, — с животом-то с моим.

— А чего такое-то? — старик говорит, будто не понимает.

— Играет живот.

Прислушался старик — и верно, играет живот. И собачка там лает, и кошка мяучит, и корова мычит. Только овечки-тихони не слышно. Непонятно, в животе овечка или ещё где?

— Так ты чего? — старик говорит. — Старуху, что ли, хочешь?

— Ну да, — Евстифейко объясняет, — давай бабку, я её съем.

— Не дам бабку, — старик говорит, — лучше меня глотай.

— С удовольствием, — Евстифейко говорит, — проглочу. Я вообще-то давно хотел тебя проглотить, да только неловко говорить было. Поэтому я про бабку и намекал.

— Глотай меня, Евстифейко, — старик говорит. — Только скажи, где овечка-тихоня?

— Овечка-то? Так она у меня в брюхе.

— Ну, глотай, — старик говорит, — разевай пасть.

Вот Евстифейко разинул рот, старик разбежался и прыгнул. И Евстифейко его проглотил.

И вот очутился старик у волка в брюхе. Огля-

делся.

— А здесь ничего, — говорит, — неплохо. Темновато, правда, но уютно.

Пошёл старик по волчьему брюху бродить. Бродил, бродил, смотрит — кошечка-судомоечка сидит.

— Здорово, кошка, — старик говорит.

— Здравствуйте, батюшка.

— Ну как ты тут?

— Да так, — кошка отвечает, — тускло.

— Знаешь чего, — старик говорит, — давай будем Евстифейку переворачивать?

— Как? — кошка говорит.

— А так — перевернём весь живот волчий.

— Лады, — кошка говорит.

Ударили они по рукам и стали по волчьему брюху скакать. Старик кричит, а кошка мяучит. Скоро к ним и другие проглоченные прибежали — и собачка-пустолаечка, и Басуля-коровушка, и овечка-тихоня нашлась где-то в закоулках. Скачут да мычат!

Прободали волчий живот и выбрались все на волю. А уж старуха стоит, поджидает. Стали они бабку целовать.

А Евстифейко-то волк рядом ходит.

— Дайте, — говорит, — ниток-то суровых, брю-

хо зашить.

Ну дали ему суровых ниток, зашил он брюхо и укатился в овраги.

Сказка о праздничных стихах

Что-то глухо стукнуло в окно — и Лёля проснулась. Она открыла глаза и не сразу поняла, что произошло. В комнате было светло-светло. Странно, огромно и празднично.

Она подбежала к окну и сразу увидела — снег!

Снег выпал! Снег!

Под окном стоял Мишка-солдатик и лепил снежок. Прицелился, кинул и ловко попал, не в стекло, а в оконную раму. Вот, оказывается, какой глухой стук разбудил Лёлю.

— Ну погоди, Мишка! — крикнула Лёля через стекло и, даже не умывшись, побежала на улицу.

Она выскочила на крыльцо, слепила снежок и кинула Мишке прямо в лоб, да попала в деда Игната. Слепила было второй, но не успела долепить, как дед Игнат зазвонил в колокольчик — пора, пора, пора! Пора на урок!

И у колокольчика школьного был сегодня какой-то особенный снежный и праздничный звонок.

Выпал, выпал, выпал снег — и преобразилась деревня Полыновка, исчезли под снегом засохшие, пожухлые травы, светлыми стали тёмные

соломенные крыши, а из труб валил новый дым — снежный, зимний.

— Ну, ребята, — сказала Татьяна Дмитриевна, — сегодня у нас настоящий праздник! Выпал первый снег! Будем праздновать!

— Как праздновать? Как, Татьяна Дмитриевна? Блины, что ли, печь?

— Или пироги со снегом?

— Блины потом, — улыбнулась учительница. — И пироги потом. Первым делом будем читать праздничные стихи. На празднике обязательно надо читать стихи.

Ребята примолкли. Они, конечно, не знали, что на празднике надо читать стихи.

Татьяна Дмитриевна достала книжку и стала читать:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь…

И пока читала Татьяна Дмитриевна, в классе было тихо-тихо, а за окном белым-бело.

Ребята, конечно, поняли, что стихи эти особенные, действительно праздничные. Они поняли и слова «зима», «крестьянин», «лошадка». Сообра-

зили, что «дровни» — это сани, на которых возят дрова. Но три слова они не поняли: «торжествуя», «почуя» и «обновляет».

И Татьяна Дмитриевна стала объяснять:

— Торжествует — значит, радуется. Снег выпал. Теперь не надо на телеге грязь месить, на санках-то куда приятней катиться по снегу. Вот и мы сегодня радуемся, торжествуем, потому что в природе произошло великое событие — выпал снег! Ясно?

— Ясно! Ясно!

— Татьяна Дмитриевна! Давай торжествовать! — закричал солдатик.

— Давай! Давай! — подхватили все.

И тут поднялся в классе крик и гвалт: кто размахивал руками, кто пел, а кто кричал — в общем, все торжествовали как умели. А Татьяна Дмитриевна смотрела на это торжество и смеялась.

— Ну ладно, хватит торжествовать, — сказала она наконец. — Разберём теперь другие слова: «Его лошадка, снег почуя…» Так вот, лошадка почувствовала снег, почуяла, вдохнула снежный запах. Понимаете?

— Понимаем, понимаем! — закричали ребята.

— А ты, Ванечка, понял или нет?

— Понял, — тихо сказал Ванечка.

— А что ты понял?

— Лошадку.

— А ещё чего ты понял?

— Я лошадку понял.

— А как ты понял-то?

— А так, — сказал Ванечка. — Лошадка вышла из сарая и увидела снег и сделала вот так. — И тут Ванечка сморщил свой нос и стал нюхать парту.

Тут все, конечно, засмеялись, как Ванечка понял лошадку, и особенно было смешно, как он парту нюхает.

А Ванечка сморщил нос и только хотел было заплакать, но Татьяна Дмитриевна сказала:

— Ребята, скорей, скорей, посмотрите в окно.

И все кинулись к окну, а Ванечка подумал: «Потом поплачу» — и тоже побежал к окну.

А там за окном ехал на санях к школе дед Игнат. Он помахивал кнутом, а на санях, на дровнях, лежали дрова, и лошадка рысью плелась как-нибудь, а путь, по которому подъезжал к школе дед Игнат, и вправду обновлялся — первые санные следы ложились на первый снег.

И всё было в точности так, как читала стихи учительница, только особенного торжества не было видно на лице деда Игната.

Лошадь стала, дед Игнат слез с саней и, развя-

зывая верёвку, обхватившую дрова, бормотал что-то. Через стекло не было слышно, что он бормотал, но все ребята знали:

— Ну вот и приехали.

Сказка о снежных часах

А к большой переменке выглянуло вдруг солнце из снежных облаков — ослепительно засияла пришкольная поляна, та самая поляна, на которой весной было много одуванчиков.

— А теперь все пойдём на улицу, — сказала Татьяна Дмитриевна, — будем делать снежные часы.

— Как так? Какие часы?

— А так, — улыбнулась учительница. — У каждого из нас будут свои часы.

Ребята побежали на улицу, а за ними и Лёля. Снежные часы, да что же это такое?

В школе, конечно, были большие стенные часы, которые Лёля когда-то давно за нос хватала. Были ещё часы у батюшки попа и у мельника Аношкина. А больше в деревне ни у кого часов не было. И вдруг — снежные часы! Да что же это такое? Ребята думали, что они сейчас начнут лепить часы из снега — стрелки, цифры, маятник, но всё получилось по-другому.

Татьяна Дмитриевна взяла большой школьный циркуль и на ровной снежной поверхности начертила круг.

В центре его она воткнула палку, и тут же синяя солнечная тень от палки упала на снег.

— Эта тень и будет стрелкой, — сказала Татьяна Дмитриевна. — Она покажет, который час. А теперь нарисуем на снегу и циферблат.

Школьной указкой провела она от палки, стоящей посреди круга, тоненькие линии. Линии эти разделили круг, и в каждом делении написала учительница цифру. И синяя стрелка-тень попала на цифру «10». И ребята побежали в школу поглядеть на стенные часы — точно, десять!

Все, конечно, пришли в восторг. Снежные часы! Как здорово! Стали тут же выстругивать палочки покрасивей, расчерчивать снег циркулем, а кое-кто даже вылепил из снега и цифры.

— Татьяна Дмитриевна, посмотри мои часы! — кричал солдатик.

— Мои, мои посмотри!

Огромное количество снежных часов рассыпалось по поляне, и все они показывали одно и то же время — десять часов утра.

Самые красивые часы получились у Максима. Палочку, которая стояла в середине, он застругал ножом, как часовую стрелку, и тень получилась необыкновенной — как синее копьё лежал на снегу этот след солнца.

Лёля тоже сделала свои часы и долго ждала, когда же мама подойдёт, посмотрит. Но мама долго не подходила — под огромным небом на огромной поляне вела она урок. И как часовые стояли ученики рядом со своими часами. И Лёля стояла рядом со своими часами и радовалась, что у неё есть теперь часы и сделала она их сама.

Вдруг она заметила, что среди ребят не видно Вани Антошкина. Не дождавшись мамы, она побежала в школу. Так точно — Ваня сидел в сторожке, в уголке, и плакал.

— Они смеются… — сквозь слёзы сказал он. — А я лошадку понял.

— Пойдём скорей на улицу. Все ребята сделали свои часы, а ты ещё нет. Пойдём.

Она схватила его за руку и потащила на крыльцо.

— Понял я лошадку, — шептал Ванечка. — Понял.

Они вышли на улицу, и тут подошла к ним Татьяна Дмитриевна.

— Татьяна Дмитриевна, — сказал Ванечка, — я лошадку-то понял.

— Лошадку-то ты понял, а где твои часы?

Ванечка не успел сделать часы, и ясно было, что он сейчас снова заплачет.

— Вот его часы, мама, — сказала Лёля и подвела мать к своим собственным снежным часам.

— Хорошие часы, — сказала мама. — Молодец, Ванечка.

И она ушла в школу.

И тут Лёля увидела, что Ванечка сморщил нос и сейчас заплачет пуще прежнего.

— Это не мои часы, — сказал он. — Это ты их сделала. Сейчас буду реветь. У всех есть часы, а у меня нет.

— Да ведь я подарила тебе часы. Они твои теперь.

— А ты-то как же? Без часов.

— А я буду по школьным смотреть.

И Ванечка протёр глаза. С удивлением смотрел он на снежные часы, которые ему подарили.

Сказка о метельном празднике

Снега заносили полынную степь.

За снегами явились морозы. Трескучие да скрипучие, ветреные морозы.

Зимние вечера в Полыновке были ещё глубже, ещё дольше осенних, и каждый вечер загоралась в окнах школы зелёная сосновая лампа, и удивительно было среди тёмных и синих зимних ночей видеть в окошке такой тёплый и летний свет.

Как-то в субботний вечер разыгралась метель, и дед Игнат каждые полчаса забирался на колокольню, бил в колокол, чтоб не сбился с дороги случайный путник, не погиб, не замёрз в полынной степи.

У сосновой лампы собралось сегодня не так уж много народу, но были Марфуша и Максим, Татьяна Дмитриевна и Лёля. Зажгли вторую лампу, подвесили под потолком — ещё теплей и светлей стало в доме.

Вдруг под окнами зафыркала лошадь, послышался скрип полозьев.

Дверь распахнулась — и в комнату влетели снежинки, а за ними — две девушки. Не успел дед Игнат и слова сказать, как девушки обхватили

его, закружили деда по сторожке.

В длинных юбках, в меховых шубейках, в белых платках, разрумяненные метелью, весёлые — это были две любимые племянницы Татьяны Дмитриевны — Дуня и Ольга.

Дуня — темноволосая.

Ольга — русоголовая.

Бросив деда, подхватили они Лёлю, закружили по комнате.

– Ах милая,

любимая,

хорошая моя! –

припевала Дуня.

— Ну хватит, девочки, хватит, — улыбалась Татьяна Дмитриевна. — Скорей раздевайтесь да попьём чайку. Самовар давно кипит.

— Э, нет, чай потом. Вначале — пельмени! — сказала Ольга и развернула полотенце.

А в полотенце завёрнуты были, как будто маленькие костяные раковины, морозные пельмени. Девушки привезли с собой пельмени. Для веселья.

И правда, странное морозное веселье охватило Лёлю. В доме вдруг начался праздник. Праздник оттого, что приехали дорогие гости, что на ули-

це метель, а они все — близкие люди — сидят в тёплом доме и им светят сразу две керосиновые лампы.

Это был метельный праздник, праздник тёплого дома в злую погоду.

Скоро задымили на столе парком пельмени. Необыкновенные!

Пельмени, да метель, да у сосновой лампы! Лучшего на свете не бывает. Так думала Лёля, и она была права.

А после пельменей Дуня ушла в сторожку и принесла оттуда какое-то существо, завёрнутое в одеяло.

— Кто там у тебя? — спросила Лёля.

Ей показалось — в одеяле кто-то шевелится. Вроде даже маленький ребёнок, только какой-то особенный ребёнок. Сейчас вот вылезет да как закричит!

Дуня развернула одеяло, и какое-то странное существо с длинной коричневой и блестящей шеей показалось оттуда.

— Кто это?

По коричневой шейке тянулись к треугольному телу тонкие золотые жилки. Дуня тронула жилку пальцем — и звякнуло что-то, послышался тоненький звук.

Дуня дёрнула другую жилку — и существо вдруг задёргалось, запело, заговорило в её руках:

Трень-трень,
брень-брень,
тинь-тинь,
тень-тень
Во саду ли, в огороде
Лёлечка гуляла, –

запела Дуня.

А Лёля всё никак не могла понять, что же это за существо: живое оно или нарочно сделанное?

— Кто это? — снова спросила Лёля.

— Это балалайка.

— Ба-ла..?

— Балалайка.

— Она… живая? Сама родится?

— Нет, это музыкальный инструмент. Его сделали люди, чтоб помогал им песни петь.

— А почему же она в одеяле? Будто ребёнок?

— Чтоб не простудилась за долгую дорогу в метельной степи.

И Лёля поняла, что балалайка сделана из дерева и, оказывается, дерево тоже может простудиться. И она пожалела те деревья, что стоят сейчас в ле-

су под морозом. И захотела завернуть все деревья в одеяла, да только где же взять столько одеял? И тут Лёля решила, что, когда она вырастет, она научится прясть и ткать и станет шить одеяла для людей и деревьев. И прошло ещё много лет, прежде чем она поняла, что лучшее одеяло для дерева — снег.

А Дуня пела и играла, и Ольга русоголовая подпевала ей, и Марфуша подхватывала. И много они спели песен. А уж в самом конце запели они полынную песню:

Протянулась дороженька длинная,
А над степью небесная синь.
Наша горькая доля полынная,
Наша горькая воля – полынь.

А Лёля уже спала, ей снился лес, закутанный в одеяла, и так забавно выглядывали из этих лоскутных и клетчатых одеял головки сосен и ёлок.

На одну лишь секунду проснулась Лёля и услышала, что мама шепчется с Дуней. И Дуня шепнула маме:

— Появились «волчки»…

Сказка о волках и глупой корове

Да, снились Лёле в ту ночь лес и деревья, закутанные в одеяла, а между деревьями ходили «волчки». Не волки, а именно — «волчки». Они не были страшными. Они жевали пельмени, таскали с собою по лесу самовар, играли на балалайках. Хорошие были «волчки», симпатичные.

Сон есть сон. Сон отснился, сон забылся.

А глубокой зимой объявились в окрестностях деревни Полыновки — волки.

Волки, а не «волчки».

Волки выли. По ночам подходили к деревне особенно близко и выли в ближних оврагах, и страшно, что не было их видно, а только вой слышался, жуткий и гнусавый.

Дед Игнат залезал на колокольню, отбивал в колокол часы для путников, и замолкали волки, отходили от деревни. Но они, как видно, понимали, что колокол не для них, а для путников, и скоро возвращались и выли снова, и всю ночь слышался колокол деда Игната и волчий вой.

Лёля понимала, для чего волки подходят к деревне. Скучно и холодно там, в лесах и оврагах, а здесь-то теплей, здесь и колокол и сосновая

лампа. И Лёля думала: если б и она была волком, конечно, пошла бы к деревне.

Лёля не боялась волков.

У неё было оружие — палка с острым железным наконечником. Эту палку-копьё сделал для неё дед Игнат, и Лёля брала на улицу своё копьё. Она была уверена, что сумеет защитить и себя и своих друзей.

В кармане Лёля носила немного соли, чтоб бросить в случае чего волку в глаза. А уж если он сумеет проморгаться и раскроет всё-таки пасть, ту уж Лёля знала, что надо делать. Надо просто-напросто сунуть ему в пасть руку, и так глубоко сунуть, чтоб волк задохнулся.

С копьём в руке, с горстью соли в кармане смело гуляла Лёля по деревне, и волки на неё не нападали. Они, конечно, понимали, что справиться с Лёлей им не удастся.

Но однажды на неё напала корова Чекашкиных. Глупая корова, бодливая. Ни с того ни с сего она погналась вдруг за Лёлей, прижала её рогами к завалинке, и так ловко прижала, что Лёля оказалась между рогов.

Лёля не кричала и не звала никого на помощь. Она рассуждала.

«Я, конечно, свободно могу бросить горсть соли

корове в глаза, — рассуждала она. — Но стоит ли? Ослепнет корова, доиться перестанет. Как же будут жить Чекашкины без творога и молока?»

Корова-дура не знала, какая опасность нависла над нею и над Чекашкиными. Она ревела, вращая глазами, а Лёля терпеливо ждала.

«Перетерплю корову, — думала Лёля. — Надоест ей в конце концов к завалинке меня прижимать. Перетерплю, а то Чекашкиных жалко».

И корове наконец надоело так глупо стоять, прижавшись рогами к завалинке, она побрела восвояси.

Ни Чекашкины, ни их глупая бодливая корова так и не узнали никогда, от какой опасности спасла их Лёля.

Сказка о «Волчках»

Однажды вечером снова приехала Дуня. Притихшая, озабоченная, она улыбнулась Лёле и скрылась в комнате у Татьяны Дмитриевны.

Лёля сунулась было следом, но её быстро выставили в сторожку. Лёля сидела рядом с дедом Игнатом и слушала, как недовольно бормочет старик:

— Ну вот и приехали.

Лёле очень хотелось узнать, о чём шепчутся мама и Дуня. Она, конечно, никогда не подслушивала, но всё-таки, подойдя к двери, услышала, как Дуня сказала:

— Да они в санях сидят.

— Кто? — спросила мама.

— «Волчки».

— И сколько же их там?

— Двое.

Лёля отпрянула от двери, схватила своё копьё и прижалась к деду Игнату.

Дед Игнат ничего такого не слыхал, он думал о том, что скоро ему лезть на колокольню, бить в колокол. Он крякнул да зевнул, выкатил из кучки печёное яйцо и дал его девочке.

Если б дед Игнат не выкатил это яйцо — всё могло бы получиться по-другому. Но дед Игнат его выкатил.

Лёля взяла яйцо и стукнула слегка о край стола. Яйцо треснуло.

Тут из комнаты вышла Дуня. Ни слова не говоря, она прошла через сторожку, хлопнула дверью на крыльце.

«За „волчками“ пошла», — подумала Лёля и не ошиблась.

С улицы послышались голоса, снова стукнула дверь на крыльце, послышались шажки Дуни, а с ними тяжёлые чужие шаги.

Лёля торопливо сдирала с яйца скорлупу.

«Уши у них острые, — думала она, — клыки торчат, и они на балалайках играют».

Дверь отворилась, в сторожку вошла Дуня, а за нею виднелись тёмные непонятные фигуры.

Лёля глянула мельком, а не поняла ничего.

Она опустила поскорей глаза, чтоб не глядеть на «волчков».

Ей было страшновато глядеть, и она взяла щепотку соли, чтоб посолить яйцо.

И тут первый «волчок» — самый, наверно, клыкастый и самый ушастый — подошёл вдруг прямо к ней и сказал:

— Это кто тут яйцо ест?

И Лёля подняла глаза и увидела тут его глаза — огромные и страшные. И тут же кинула щепотку соли прямо в эти глаза. И самое удивительное — попала!

— Ай-я-яй! — закричал «волчок» и стал тереть глаза, и все закричали «ай-я-яй», и мама выбежала из комнаты, и Дуня заохала, только второй «волчок» стоял у двери и отчего-то хохотал.

Все кричали и мыли первому «волчку» глаза, а второй хохотал у двери.

— Да, Василь Петрович, — говорил он, — будь в следующий раз осторожней. Ох-ох, уморила девочка. Что ты ему кинула: соль или перец?

— Соль.

— И слава Богу, что соль. А то на Кавказе яйца с перцем едят. Хорошо, что мы не на Кавказе.

«Волчок» Василь Петрович ничего не говорил, а только мычал и тряс головой.

Сказка о «Волчках» (продолжение)

«Волчки» оказались бородатыми.

«Волчка», которому отмыли наконец глаза, звали Василь Петрович, а другого, который хохотал, звали Пётр Василич.

Василь Петрович с отмытыми глазами тоже стал хохотать, но к Лёле подходить не решался.

Потом мама и Дуня сели вместе с «волчками» за стол у сосновой лампы. Пётр Василич уже не хохотал, а достал из сумки какие-то тонкие книжки без картинок и стал что-то объяснять. Объяснял он длинно, и Лёля потихоньку засыпала на своей кровати, удивляясь, что «волчки» оказались не клыкастыми, а бородатыми. А «волчок» Пётр Василич ей определённо понравился.

Лёля заснула крепко и спала, спала, а ночью вдруг проснулась, потому что в комнате пели. Дуня тихонько играла на балалайке, а «волчки» вполголоса пели. Что была за песня, Лёля не поняла — грустная и немного страшная.

И Лёля окончательно заснула, а когда проснулась, было уже утро. Утренние лазоревые сумерки

освещали окно, а за окном снег утренний — молочный и голубой.

В комнате никого не было. Пропали загадочные «волчки» Пётр Василич и Василь Петрович, не было ни Дуни, ни мамы. В сторожке похрапывал дед Игнат.

Скоро пришла мама.

— Спи, галчонок, — наклонилась она к Лёле, — спи.

— А где же «волчки»?

— Не было никаких «волчков». Тебе это приснилось.

— Как же приснилось! Соли-то я ему в глаза насыпала. Василь Петровичу.

— Забудь о них, — тихо сказала мама. — Забудь и никому — ни гугу. Знаешь, что такое «ни гугу»?

— Знаю, знаю. А почему — ни гугу?

— Нельзя… Их заковали в цепи и сослали на каторгу, в Сибирь. И вот они разорвали цепи и теперь идут в город — самый большой, самый светлый. А там живут их друзья, книжники. Они пишут книжки о том, как добыть счастье бедным людям. Понимаешь?

— Не пойму, — сказала Лёля.

— Чего ты не поймёшь?

— Не пойму, как они цепи-то разорвали? Они

ведь железные.

— Уж не знаю, а только разорвали, — усмехнулась мама. — Ты не бойся. Они вовсе не волки. Это их прозвали «волчками», потому что у них нет своего дома. Они бродят по свету и читают людям хорошие книжки. Они думают о жизни народа и о том, как дать народу волю. Только рассказывать о них никому нельзя, а то их снова в цепи закуют.

Лёля, конечно, поняла кое-что. Одного не могла понять: зачем «волчков» заковывают в цепи и как они их разрывают потом? Зубами, что ли?

Целый день думала она о «волчках», о том, как идут они по бескрайней степи под снегом и метелью.

«Лишь бы волки настоящие на них не напали», — думала Лёля.

Сказка о трёх рублях

Лёлина мама получила жалованье — три рубля.

Рубли были большие, золотые. Мама ходила за ними к батюшке попу, приносила домой и прятала в шкатулку.

А шкатулка стояла на столике, у которого были тонкие ножки.

Узорная скатерть опускалась со столика, окутывала ножки, и Лёле казалось, что под столиком живёт Эдакий Усатенький. Стережёт три рубля.

А на шкатулке были вырезаны узоры. Звери и люди бродили между узоров, над ними летали волшебные птицы и пели, да только песен их не было слышно. А чтоб услышать, надо иметь волшебное ушко. И это волшебное ушко у Лёли как-то само собой получалось. Она подолгу сидела у шкатулки, глядела на зверей и узоры и слушала пение далёких птиц.

А три рубля, которые лежали в шкатулке, были, конечно, волшебные. Они подчинялись маме, а больше никому.

И если мама даст кому-нибудь золотой рубль — тот человек сразу станет молодым и красивым.

А кто сам возьмёт из шкатулки рубль — вечно будет несчастным.

И вот однажды в школу пришла старушка. Она была маленькая, сгорбленная. Вначале она сидела тихо в сторожке у деда Игната, а как только мама вышла из класса, старушка заплакала, упала на пол. Кое-как дед Игнат поднял старушку и усадил в уголок. Но та всё плакала и даже кричала, а Татьяна Дмитриевна слушала её и качала головой.

И Лёля поняла, почему старушка плачет. Она снова хотела быть молодой.

Татьяна Дмитриевна ушла в комнату и принесла оттуда большой золотой, волшебный рубль. И протянула его старушке.

И старушка взяла рубль, и тут же Лёля зажмурилась. Страшновато было увидеть, как старый человек становится молодым.

Зажмурившись, она представила себе, какой красавицей станет старушка — в синем платье, с золотыми волосами.

И Лёля открыла глаза — и сразу увидела красавицу в синем платье с золотыми волосами, да только это была её мама, а старушка осталась старушкой, только плакать перестала.

Она кланялась теперь, а дед Игнат выводил её

из сторожки на улицу.

— Приехали, приехали, — бормотал он ни к селу ни к городу.

— Почему же? — спросила тогда Лёля.

— Что почему же? — сказала мама.

— Почему она красавицей не стала? Ведь рублик волшебный.

Мама засмеялась.

— Волшебный, конечно, — серьёзно потом ответила она. — Но старушка просила его не для себя, а для своей внучки. Наверно, её внучка и вправду станет красавицей.

Лёле очень хотелось встретить когда-нибудь эту бабушку и её внучку, но они никак не попадались. Они жили в другой деревне.

Потом, когда прошло много лет, Лёля встречала в жизни разных красавиц и всегда думала, что это внучка, которой мама подарила волшебный рубль.

А Татьяна Дмитриевна много чего ещё делала на свои три рубля. Покупала книги и тетради для школы, платочки и валенки для Лёли, табак для деда Игната, штаны для Мишки-солдатика. Удивительно было, что всё это вмещалось в три рубля. Но всё вмещалось.

Сказка деда Игната про другие три рубля

— Грррхм… — сказал дед Игнат, когда выпроводил старушку. — Грррхм… Ну вот и приехали.

— Дед, а дед, — сказала Лёля.

— Грррхм, — отозвался Игнат.

— Что ты всё, дед, — грррхм да приехали. Хоть бы ещё слово сказал.

— Да ну… — сказал дед, — неохота… потом… когда-нибудь…

— Да расскажи сейчас, чего тянуть?

— Грррхм, грррхм, — кряхтел дед, кашлял и брякнул наконец: — Пётр Дуб.

— Какой Пётр Дуб?

— Такой… жадный…

— Ну, а дальше-то что?

— А ничего, — сказал дед Игнат, — ну его…

Но Лёля всё приставала к деду и так постепенно вытянула сказку из деда Игната. И сказка получилась такая.

Жил в деревне человек, которого звали Пётр. А прозвище у него было — Дуб.

Вот Пётр Дуб заимел три рубля. Сунул их в кар-

ман и пошёл гулять.

Пройдёт два шага, проверит — в кармане ли три рубля? Ага, в кармане. Пройдёт ещё два шага, опять проверит, где три рубля?

Ага, опять в кармане. И так он всё радовался, что три рубля были в кармане. А потом сунул руку в карман — нету! Где три рубля? Нету! Потерял.

Вот Пётр Дуб сел на бревно и стал плакать.

А тут по деревне мальчик бегал. Игнатко. Подходит Игнатко к Дубу-то к Петру и говорит:

— Ты что плачешь, дядька Дуб?

— А как, Игнатко, мне не плакать? Я ведь три рубля потерял. Бяда! Бяда-а-а-а!

— Не реви, дядька Дуб, — сказал Игнатко. — Я тебе их найду.

— Ой, найди, Игнатко! Я тебе копейку подарю.

Вот Игнатко пошёл искать и нашёл три рубля-то, под лопушком.

— На, — говорит, — тебе, дядька Дуб, три рубля, а мне теперь надобно копейку.

Обрадовался Пётр Дуб, схватил три рубля, затолкал в карман поглубже. А сверху в карман травы натолкал, чтоб не выпали.

— Нету, — говорит, — Игнатко, у меня копейки. Погоди, вот стану богатые покупки делать, стану дёготь покупать да гвозди, копейка-то останется,

я тебе её отдам.

Вот стал Игнатко к Дубу-то к Петру чуть не каждый день забегать:

— Когда, дядька Дуб, дёготь будешь покупать?

Хочется мальчонке копейку-то получить.

— Погоди, Игнатко, — Дуб говорит, Пётр. — Видишь, колёса к телеге правлю. Понаправлю — за дёгтем пойду, колёса мазать, там копейка и получится.

Бегал-бегал Игнатко, а колёса к телеге всё не прилажены, в сарае лежат. Не получается копейка.

— Ты хоть бы гвоздей-то купил, — Игнатко намекает.

— А ты сам-то посуди, Игнатко, — Дуб говорит. — На кой мне гвозди, ведь молотка нету.

Так бегал Игнатко взад-вперёд, а Пётр Дуб думает:

«Пускай бегает. А копейку жалко отдавать. На кой ему копейка? Ну его. Отдам копейку, а у меня не цельный рубль будет».

Но всё-таки в конце концов надоел ему Игнатко. И Пётр Дуб затеял спрятаться от Игнатки в погреб. Спрятался и сидит. Три рубля в кармане трогает. Проберётся в карман через травку и трогает.

А Игнатко, как прибежал, сразу догадался, что

Дуб в погребе.

— Эй, дядька Дуб! — кричит сверху. — Ты что, в погребе, что ли?

— Ну да, — Пётр Дуб отвечает.

— От меня, что ли, спрятался?

Пётр Дуб думал-думал, что сказать, и снова говорит:

— Ну да.

— А насчёт дёгтя и гвоздей-то как? — Игнатко спрашивает. — Не пора ли покупать?

Пётр Дуб думал-думал, что сказать, и говорит:

— Да ну.

Ушёл Игнатко, а Пётр Дуб вылез из погреба и думает:

«Зря я ему на вопросы отвечал. Уж теперь умру, а не отвечу. А уж ещё лучше, так это я сам как будто умер».

Вот Игнатко прибегает на другой день — нету Петра Дуба. Игнатко и в погреб покричал — нету. Заходит в дом. Вдруг видит — лежит на столе Пётр Дуб, весь белый. А в головах свечка горит!

Напугался Игнатко. Стоит ни жив ни мёртв.

«Умер, — думает, — дядька Дуб!»

А Пётр Дуб лежит и думает:

«Хорошо, что я догадался рожу мелом намазать. Догадливый я всё-таки. Не станет ведь Игнатко

с мертвеца копейку тянуть. Интересно, где мои три рубля, в кармане или нет?»

Тут стал Пётр Дуб потихоньку в карман через травку пробираться, а Игнатко-то видит: в кармане у мертвеца что-то шевелится.

— Ой-ё-ёй! — закричал Игнатко.

А Дуб-то как подскочит на столе.

— Где?! Где мои три рубля?!

Ударился Игнатко бежать.

А Пётр Дуб стоит на столе, мел с него сыплется, из кармана трава летит.

— Где, — кричит, — мои три рубля?

Нету.

Искал-искал Пётр Дуб три рубля — и в погребе смотрел, и там, где рожу мелом мазал, а так и не нашёл.

Сказка о сёстрах

Чуть в стороне от деревни, на самом краю обрыва, стоял самый маленький в Полыновке домик.

В нём жили две сестры.

Старшую звали Еленакай.

Высокая и худая, она всегда что-то говорила вслух, даже когда шла по улице. Голубые глаза её светились радостью, и ласково протягивала она руки встречным.

— Люди, — говорила она, — добрые люди, помогите друг другу, помогите жителям деревни Полыновки, всем, кто замерзает сейчас в степи, всем, кто растёт, голодает и мучается.

Странно было видеть эту чёрную фигуру, протягивающую руки к прохожим.

Слова свои Еленакай говорила очень тихо. Не все прохожие слышали их, но кто-то и слышал.

А сама Еленакай почти ничего не слышала, она только видела. Таких людей называют глухими. Но это неправильно. Глухие те, у кого глухое сердце.

Еленакай умела шить. Она была единственная портниха в деревне Полыновке. День и ночь стрекотала её швейная машинка, и все жители

деревни ходили в том, что сшила Еленакай, — и батюшка поп, и лавочник Чернов, и даже самый маленький ученик Ваня Антошкин.

Денег за свою работу Еленакай не брала. Она работала не за деньги и даже не для души. Она просто хотела одеть всех жителей деревни Полыновки, чтоб им не было холодно.

Лавочник Чернов, которому Еленакай сшила штаны, решил как-то заплатить ей. В чистое полотенце он завернул головку сахару и банку дорогого китайского чая и пошёл к сестрам.

Еленакай вначале не поняла, зачем он пришёл, и хотела угостить его морковным чаем. Но тут лавочник достал головку сахару и свой, в коробочке, чай и стал хлопать по коленям, показывая на штаны. Еленакай ведь была глухая, и лавочник жестами стал ей объяснять. Он хлопал себя по штанам и тыкал пальцами в сахар. Ты мне, дескать, штаны, а я тебе — сахар да чай. Вот, мол, какой я молодчага.

Добрая Еленакай долго его не понимала, а когда поняла, схватила головку сахару и кинула её в снег. Лавочник вылетел из дома, а вслед ему летела банка очень дорогого китайского чая.

— Люди живут не так, — говорила вслед Еленакай. — Люди живут не так.

Еленакай хлопнула дверью и скрылась в доме.

Лавочник Чернов, который упал в снег, поднялся на ноги и хотел было собрать то, что выкинула Еленакай в снег — головку сахару и банку очень дорогого китайского чаю.

Но тут на крыльцо вышла младшая сестра. А звали её Натакай.

— Ай-яй-яй! — сказала Натакай. — Лавочник Чернов, что ты ползаешь тут по снегу?

— Да это я так… спотыкнулся.

— Это ты принёс нам головку сахару и китайского чая?

— Я и принёс.

— А где же они, эта головка и этот чай?

— Да вот они… в снегу валяются.

— И пусть валяются, — строго сказала Натакай. — Короче — или забирай свой чай да сахар, или оставляй в снегу штаны.

Натакай была совсем не похожа на сестру. Она была маленькая и плотненькая, весёлая и черноглазая. Кроме того, она всё прекрасно слышала и слушала за двоих.

— Да я… это, — сказал лавочник, — хотел сахар за штаны…

— Иди-иди, — строго сказала Натакай, — иди и помни, что сказала тебе добрая Еленакай: люди

живут не так.

И лавочник ушёл и действительно думал о том, что сказала ему старшая сестра. Лавочник Чернов был не такой уж глупый, он понял, что Еленакай призывает его просто так отдавать людям чай и сахар.

«Нет уж, дудки, — думал Чернов. — Не дам никому даром ни сахару, ни чаю».

Так лавочник Чернов и не послушался совета. Он стал жить по-прежнему. И зря, конечно.

Когда лавочник ушёл, Натакай собрала то, что валялось в снегу, и сахар и чай она спрятала в очень и очень далёкий сундук. Она, конечно, знала, что Еленакай никогда не станет пить этот чай и грызть этот сахар. Но Натакай была мудрая младшая сестра. Она знала, что, если не брать ничего за работу, — им просто-напросто не прожить.

Всю долгую зиму, понемногу, подсыпала она в морковный чай настоящий китайский, подкладывала чуть-чуть сахарку, а добрая Еленакай ничего не замечала.

Сказка о жареном гусаке

А у батюшки попа был граммофон.

По вечерам из огромного поповского дома неслись волшебные неполынные звуки.

Ребятишки собирались у забора, слушали эти звуки и не могли их понять. А это был вальс «Амурские волны», его играл на пластинке духовой оркестр. Звучали медные трубы, а полыновцы не знали, что медные трубы есть на свете и что они могут звучать.

С неба сыпался и сыпался снег, звучали медные трубы, и полыновцы думали, что батюшка — огромный волшебник.

По праздникам приносили полыновцы в церковь тюки самотканых холстов да мешки хлебов. Батюшка, конечно, брал что хотел — и холст и хлеб, уносил домой. А Татьяна Дмитриевна покупала холст у попа и раздавала бедняцким семьям.

Километрах в пяти от Полыновки была деревня; в которой жили татары. Называлась деревня — Урлюдим.

И вот случилась в Урлюдиме беда.

Загорелся дом.

Сухой зимний ветер подхватил огненную солому с крыши, перебросил на соседнюю. И вспыхнул соседний дом. И так пять домов сгорели дотла.

Несчастные погорельцы бродили по соседним деревням, у кого ночевали, у кого хлеба просили.

Три татарина пришли к попу.

— Беда, батька, беда, — говорили они, стоя в снегу на коленях. — Помоги погорельцам.

Батюшка стоял на крыльце и почёсывал бороду. Татары просили денег, а денег давать не хотелось.

— Беда-то беда, — сказал он, — а денег-то нету.

— Ты дай сто рублей, — просил старший татарин. — А мы тебе вернём сто двадцать.

— Я вам сто, — сказал поп, — а вы — двести. Вот это разговор.

— Это плохой разговор, — сказал старший татарин. — Ты дай сто, а мы вернём сто тридцать.

— Ну нет, — сказал поп, — это не разговор.

Так торговались поп и три татарина и имели то плохой разговор, то хороший. Но для татар разговор получился плохой. Поп дал им сто рублей, а вернуть они должны были сто шестьдесят.

Делать было нечего — погорельцы взяли сто рублей.

А под Новый год пришли к попу три татарки.

— Спасибо, батька, за помощь, — говорили они, стоя в снегу на коленях, — спасибо, что помог бедным татарам. Вот тебе к празднику жареного гусака.

— Ладно, чего там, — отвечал поп. — Я всегда помогу ближнему. Пускай он и татарин.

Он взял гуся, завёрнутого в полотенце, и пошёл в дом. А там уж собралось за столом всё его семейство, да ещё гости приехали из села Болдова.

— Я гуся принёс, — сказал батюшка. — Сейчас есть будем. Татары гусака мне зажарили. Заводите граммофон.

Завели граммофон, и странные неполынные медные звуки охватили дом.

Стали разворачивать гусака, да гусак никак не разворачивался. Больно крепким узлом завязали татары полотенце.

— Погодите, дайте-ка я, — сказал поп, дёрнул за узел.

Полотенце распахнулось — и тут все остекленели от ужаса. На столе лежала волчья голова.

Сказка о ледянке

Лёля любила снег.

Ей нравилось, что снег пушистый. Холодный, а нежный. И немой. Не сравнить с дождём. Дождь говорливый, а снег — немой.

Каждое утро глядела Лёля в окно и видела одну картину.

Вот дед Игнат привёз на санях дрова. Скидывает дед на снег берёзовые чурки, а лошадка подёргивает спиной, чтобы освободиться от сосулек, намёрзших у неё на спине.

Вот дед Игнат привёз на санях дрова. Скидывает дед на снег золотые и влажные опилки, а с горы чёрными клубочками катятся к школе ребятишки, стучат лаптями по морозному крыльцу. И первой взбегает на крыльцо Марфуша, а уж последний это Ваня Антошкин.

Снова начинается урок, слышен ясный голос мамы, а с неба всё сыплется снег, заносит золотые опилки. Таинственно горит из-под снега берёзовое золото.

Лёля почти каждый день ходила на уроки, а иногда брала свою ледянку и бежала к оврагу, туда, где стоял самый маленький в деревне домик.

Натакай выбегала навстречу, хотела подхватить Лёлю, затащить к себе в дом.

— Погоди, Натакай! Я на ледянке покатаюсь.

Лёля садилась на ледянку и мчалась вниз по склону в глубокий и дикий овраг.

У Лёли была хорошая ледянка, очень быстрая. Её сделал дед Игнат. Он взял старое решето, обмазал его глиной, смешанной с коровьим навозом. А уж потом дно решета Лёля полила водой. Застыла на морозе вода, получилась стремительная ледянка. Так было ловко и весело кататься на ней с горы.

Иногда вдруг закручивалась ледянка, как ледяная юла, а Лёля крутилась вместе с ней и не понимала уже, где небо , где земля, и вылетала в сугроб.

— Хватит, Лёля, хватит, — говорила Натакай. — Смотри, ты вся в снегу!

— Натакай! Натакай! Ещё немножко. Смотри, как быстро я лечу!

И Натакай смотрела и улыбалась, а из домика выходила добрая Еленакай, протягивала руки к солнцу, к снегу, к девочке, которая кувыркалась в снегу.

— Еленакай! — кричала Лёля. — Покатайся со мной.

Еленакай никогда и никого не слышала, а вот Лёлю всегда понимала.

— Да что ты, Лёля, — сказала она. — Мне шить надо.

— Покатайся, ну пожалуйста, ну разочек.

Высокая и голубоглазая Еленакай оглянулась. Никого вокруг не было видно. Только её сестра Натакай подметала веником снег со ступенек из дома. Еленакай никогда не могла отказать, если её просили.

— Что поделать? — сказала Еленакай. — Покатаюсь с девочкой с горы в последний раз.

И Еленакай села на ледянку, взяла на руки Лёлю. Они понеслись под гору бешено и быстро. Замирало сердце от снежного ветра, а ледянка закрутилась — и они вывалились в снег.

Еленакай смеялась, выбираясь из снега. А потом взяла за руку Лёлю, и они стали подниматься в гору и тянули за собою ледянку.

— Давай ещё разок, Еленакай, — попросила Лёля.

Еленакай оглянулась — никого не было вокруг.

— Давай, — сказала она.

И снова они помчались, и Лёлю прижимала к своему сердцу добрая Еленакай.

Сказка про серебряного сокола, которую рассказала Натакай

А вот ещё какое было.

Жил солдат, служил солдат. Отслужил свой срок — отпустили его на родину. Пошёл солдат на родину. Идёт и думает:

«Вот иду на родину, а зачем иду? Ведь у меня там родимых нету — ни батюшки, ни матушки, ни братьев, ни сестёр. Всё одно — отпустили на родину, на родину и пойду».

Идёт путём-дорогою, а навстречу ему нечистый:

— Стой, служивый. Куда идёшь?

— На родину.

— Э, что тебе там делать! Ведь у тебя там родимых нету.

— Всё одно. Отпустили на родину — на родину и пойду.

— Постой-постой, — сказал нечистый. — Не спеши. Сослужи-ка мне, служивый, службу.

Задумался солдат, оглядел нечистого. Не понравился ему нечистый — рожа сладенькая, а грязная, ушки дрожат.

— Какая, — спрашивает солдат, — служба?

— У меня три сокола живут, в трёх разных клетях. Покарауль их, пока я за жалованьем слетаю. Вернусь, щедро тебя награжу.

— Ну что ж, — сказал солдат, — соколов стеречь — служба нехитрая. Согласен.

Вот отвёл нечистый солдата в свои палаты, а сам за жалованьем полетел.

Взошёл солдат в первую палату и видит — стоит там на полу медная клеть. А в той клети сокол бьётся. Крылья у него бурые, грудь красная, а глаза так медью сверкают, аж в кровь отдают.

Яростно глянул на солдата сокол, бросился на решётку.

— Ну-ну, — сказал солдат, — тихо, тихо, — и пошёл в другую палату.

А там в серебряной клети сидит белоснежный сокол. Тихо сидит да спокойно. Пригорюнился, видно. Только приоткрыл свои ослепительные серебряные глаза, глянул на солдата и снова их закрыл.

— Ну-ну, — сказал солдат, — отдыхай, — и пошёл дальше.

А в третьей палате в золотой клети солнечный сокол сидел. Он и вовсе не поглядел на солдата, оборотился к нему спиной, и как ни старался

солдат, а в глаза соколу заглянуть ему не удалось. Совестно отчего-то стало солдату.

— Так ты, это, не сердись, — сказал солдат солнечному соколу. — Служба такая.

Вот солдат вышел в сад, видит — берёза. Сел он под берёзу, стал цигарку крутить. И вдруг слышит:

— Солдатик…

Огляделся — не видно никого, а снова вдруг слышит:

— Солдатик, а солдатик!

— Чего? — говорит солдат, а сам всё головой крутит — и не видно никого.

— Солдатик, сослужи мне службу.

— Сослужил бы, — говорит солдат, — да не знаю, кто ты таков. Потому что не вижу.

— Ты меня видишь, только не поймёшь. Это я с тобой говорю, берёза, под которой ты сидишь.

— А! Ага! Вон чего! Так это ты, что ли, берёзка, со мною говоришь? Так выходит?

— Ну да, это я, берёза, с тобою и говорю.

— Во ведь как бывает! — сказал солдат. — Ну давай, берёза, говори дальше.

— Вот я и говорю, — сказала берёза. — Ты как служишь-то? За деньги или по душе?

— Я-то? — сказал солдат. — Я-то, брат берёза, за

деньги служу.

— Жалко… — вздохнула берёза и замолчала.

Солдат посидел, покурил и говорит:

— Ты чего, берёза, молчишь-то?

— Да ведь ты за деньги служишь, — сказала берёза. — А откуда у дерева деньги? Мне-то бы надо по душе сослужить.

— Неужто у тебя ни копейки нету? — спросил солдат.

— Нету, солдатик.

— Да, — сказал солдат, — обидно. Ну ладно, говори свою службу. Сроду я дереву не служил. Попробую.

— Так ведь ты теперь нечистому служишь. Гляди — деньги потеряешь.

— Ладно. Помалкивай, — сказал солдат, — не твоё дело. Говори службу. А то разболталась, деньги мои считает. О какой службе просишь?

— А вот какой. Ты пойди вон в ту деревню, что на горке, и найди там дедушку Николая. А что тебе скажет дедушка — исполни. Понял?

— Ладно, — сказал солдат, — понял не понял — не твоё дело. Некогда мне с вами, с берёзами, лясы точить. Сиди тут, в земле, и жди, а то болтает с каждым встречным солдатом.

Вот солдат пошёл в деревню, что на горке. Вдруг

видит — навстречу дедушка.

— Здорово, дед.

— Здравствуй, солдатик.

— Не ты ли Николай?

— Я и есть. А что?

— Да там берёза одна растёт. Ну такая, белая. Так вот, велела спросить, чего мне делать?

— А, — сказал дедушка Николай. — Берёз-то на земле много, и сосны есть. А делать тебе я и не знаю что. А ты делай, что сердце прикажет.

Сказал эдак дедушка-то и пропал с глаз.

«Вот незадача, — подумал солдат, — что сердце прикажет? А чего оно приказывает? Не пойму. Кажется, попить хочет».

Напился солдат из ручья, пошёл дальше. А сердце новый приказ командует: перекусить. Достал солдат буханку хлеба с луковицей, исполнил приказ. Так и добрался до палат нечистого.

Вошёл в медную палату. И тут же забился в клети кровавый сокол. Бьётся, бушует, рвёт когтями решётку, с яростью глядит на солдата.

«А ведь жалко красавца, — подумал солдат, — сидит в клети — света белого не видит. Отпущу».

Раскрыл он клеть — и вырвался сокол на волю. Да только первым делом напал на солдата, щёки ему до крови исцарапал — и вылетел в окно.

Заплакал солдат, сел на пол.

«Вот они, — думает, — приказы сердца. Эх, солдатская доля!»

Поплакал, пошёл на улицу, в сад. Глядит — а на берёзе сокол кровавый сидит, яростно сверкает оком, того гляди, кинется на солдата.

— Ну ты, потише, — сказал ему солдат. — У меня ружьё картечью заряжено. Вмажу, если надо. — И сел под берёзу.

— Солдатик, а солдатик, — услышал он голос, — сполнил службу?

— Сполнил, сполнил, — ответил солдат. — И дедку видел, и всё исполнял, да только вот лицо моё расцарапали.

— Не беда, — сказала берёза. — Я тебе его соком полью.

И вот вдруг видит солдат: берёза-то зашевелилась, и там, где развилка была, показалась вдруг голова девичья, а вслед за головою — плечи. И вышла вдруг из берёзы девушка по самую грудь. И закапал с берёзы сок и прямо на солдатские раны. И они тут же заживать стали.

«Во как! — думает солдат. — Ну и ну!»

А девушка, которая из берёзы вышла, глядит на солдата ласково:

— Молодец, солдат.

— Молодец не молодец, — говорит солдат, — а ты давай, вылезай дальше.

— Не могу, — девушка говорит.

— Это почему же ты не можешь?

— Не знаю.

— Эх, бабы! — сказал солдат. — То они не знают, то они не могут. Ладно. Пойду второго сокола выпускать. Совсем, серебряный, сгорюнился. Как бы не помер.

Пришёл солдат в серебряную палату, раскрыл клеть. А сокол серебряный только глазом на него взглянул, а из клети не летит. Взял тогда солдат его на руки, вынес на волю.

— Давай, давай, — сказал он, — лети. Вот она, воля серебряная.

Хлопнул сокол крылом, взлетел тяжело и сел на берёзу.

А девушка-то берёзовая охнула да и вышла из берёзы по пояс.

— Ну, не ожидал, — сказал солдат, — давай дальше-то.

— Не могу, — сказала девушка и улыбнулась.

— Да, — сказал солдат, — придётся, видно, третьего сокола отпускать.

Пошёл в золотую комнату. А сокол солнечный и не смотрит на него. Раскрыл солдат клетку,

схватил сокола за крыло — руку обжёг. Схватил за другое — оледенил его сокол. Никак не схватить сокола, никак из клети не вытащить. Бился-бился солдат, обмотал руки тряпками да и ухватил всё-таки сокола, поволок на улицу.

Всё лицо солдатское обожгло жаром, да и через тряпки руки ожгло-охолодило.

А потом уж, когда на улицу вышли, оглянулся всё-таки на солдата сокол, прожёг ему глаза золотым взглядом, тут и ослеп солдат. Пал на землю, а сокол из рук его в небо ушёл.

Не стал плакать солдат, когда понял, что ослеп. Что толку слепому плакать? Вот лежит солдат на земле и вдруг слышит:

— Солдатик, а солдатик, ты живой?

— Живой вроде, — солдат говорит. — А ты-то как? Вышла из берёзы?

— Вышла.

— А до конца ли?

— До конца. Это ведь нечистый меня околдовал. А ты теперь меня спас, из дерева на волю вывел. Эти ведь соколы — мои братья родные.

— Ничего себе братцы, — солдат говорит, — медный всё лицо мне расцарапал, а солнечный глаза прожёг.

— Не беда, — девушка говорит, — серебряный

тебя спасёт.

И тут слышит солдат шум крыльев и чувствует — на грудь ему села птица. И вдруг что-то капнуло ему на глаза, и он увидел, что на груди его сидит серебряный сокол и плачет и капают его слёзы в солдатские глаза. И слёзы соколиные проясняют взор.

Взлетел сокол — поднялся солдат на ноги.

Глядит — девушка. Берёзовая. Глаза — тёмные, как те черницы на коре берёзовой, а кожа-то не белоснежная, как берёзовая кора, а тёплая и розовая, как дерево, что прячется под корою. А уж рубашка — белокорая.

На одном плече её — медный сокол сидит, на другом — золотой. А серебряного она к сердцу прижимает.

Шагнул было к ней солдат — вдруг небо потемнело, гром ударил вдали. И понял солдат — нечистый летит. Схватил ружьё.

И видят они — крылья кожаные небо чертят, нечистый летит, жалованье в узелке несёт. А за ним туча мчится, хочет нечистого молнией сразить.

Увернулся нечистый от молнии и как раз солдату на мушку попал.

Ударил солдат картечью — только перья по-

летели и жалованье из узелка потряслось. Тут и накрыла их туча, хлынул ливень, да такой, что все зажмурились.

А когда открыли глаза — не было нигде нечистого и туча пропала.

И смотрит солдат — стоят рядом с девушкой три паренька, смеются, потому что мокрые все. Один-то — огненно-рыжий, другой-то — русый, солнечный, а третий — весь седой. Молодой такой, а уже седой.

Долго они смеялись, потому что мокрые были да и расколдованные.

Посмеялись, взялись за руки и пошли в родную деревню. И солдат, конечно, с ними.

Стали жить хорошо, под одной крышей.

Солдат подумал-подумал да и женился на берёзовой девушке.

— Понравилась она мне, — признавался он братьям.

А с братьями очень подружился солдат. И особенно полюбил он серебряного. Ласковый потому что тот был, сердечный. Бывало, всё о чём-то грустил.

Сказка о сломанных дрожках

Лёля заслушалась.

Долго рассказывала Натакай свою сказку, и Лёля позабыла и про ледянку быстроходную, и про то, как весело было кататься с горы.

Она всё думала, отчего же грустил серебряный?

А после обеда набежали на гребень оврага школьные мальчишки. Был тут и серьёзный Максим, и Ефимка Киреев, и Мишка-солдатик. Только Вани Антошкина не было нигде видно.

А он в дрожках сидел.

Старые дрожки нашли ребята в каком-то сарае и прикатили на край оврага. Они решили съехать на дрожках вниз. Колёса были пока целы, чего бы не съехать?

Ваня Антошкин сидел в дрожках и дрожал. Ему не хотелось катиться под уклон в сломанных дрожках.

— Пускай Ваня вылезет, — сказал Максим. — Он боится.

— Да чего тут бояться! — крикнул солдатик. — Ничего он не боится. Верно, Ванечка? Ты же не трус!

— Не знаю, — прошептал Ванечка.

А Ваня Антошкин и вправду не знал, трус он или нет. Вроде и хотелось прокатиться на дрожках, а — боязно.

Лёля глянула в окно и увидела дрожки. Она тут же поняла, что ребята хотят столкнуть их с горы. Она выскочила на улицу.

— Да не трус он! — кричал Мишка. — Верно, Ванечка?!

— Вылезай из дрожек! — кричал Максим.

И Лёля увидела, что в дрожках сидит Ваня Антошкин. Она вскочила на подножку и дёрнула Ванечку за рукав.

— Вылезай, — сказала она.

Бледный и серьёзный сидел Ванечка в дрожках. Он крепко уцепился за сиденье.

— Про… — сказал он, — прокатиться хочу.

И Лёля увидела, что Ваня боится ужасно, но и с места его никак не отцепить.

— И я с тобой, — сказала она.

— Куда? Куда? — закричал Максим. — А ну, Лёля, слезай!

И тут на крыльцо выбежала Натакай.

— А это что? — закричала она. — Где Лёля?

И ребята, которые держали дрожки, напугались, что их увидела Натакай. И Максим и Ефимка

Киреев отскочили в сторону, и Мишка-солдатик отпустил дрожки на минутку — и медленно дрожки поехали вниз.

Максим ухватился было, да удержать дрожки не смог. Они уже неслись под гору, а Максима потащили за собой.

Максим держался, держался, да не выдержал, отцепился, остался на снегу — и бешено и страшно засвистели в овраг старые поломанные дрожки.

Колесо отвалилось — и с треском перевернулись дрожки, и отлетело второе колесо, и уже не дрожки, а чёрный ком катился на дно оврага, разваливаясь на глазах. И врылся в сугроб, и разлетелся вдребезги.

Лёля и Ваня Антошкин вылетели на самую макушку сугроба и зарылись в снег. Они не расшиблись и не ударились и даже почти не испугались.

Сверху с горы слышались крики. Ребята были уверены, что Лёля и Ваня расшиблись насмерть.

Потом они увидели, как две маленькие чёрные фигурки поднялись на гребень сугроба. Они стояли и стояли, не двигаясь.

— Уцелели, кажется, — сказала Лёля.

— Угу, — шепнул Ванечка.

Он понемногу дрожал.

— Постоим, — сказала Лёля.

И Ванечка кивнул. Он, пожалуй, и не мог бы сейчас никуда двинуться. С каждой минутой становилось почему-то всё страшней, как они летели на дрожках в овраг.

А солнце уже закатилось, посинела снежная степь, и в том месте, где коснулся снег неба, появилась великая розовая полоса. Розовый цвет сгущался, тёмные брусничные искры зажигались в небе.

— Глянь, Ванечка, — сказала Лёля, — там — линия горизонта. Интересно посмотреть, что там, за нею? Хочешь посмотреть?

— Боюсь, — шепнул Ванечка.

— Чего ты боишься-то?

— А линии-то этой.

— А почему?

— Я и сам не знаю. Боязно.

— Это не страшная линия, — сказала Лёля, — она — красивая. Знаешь почему?

— Чего почему?

— Почему она красивая.

— Не знаю.

— Так ведь из-за неё же солнце встаёт. Понял теперь?

А ведь правда, оттуда, из-за этой линии, каждое утро подымалось солнце и каждый вечер уходило за горизонт на ночлег. А на следующее утро опять вставало — ещё ярче, ещё веселей, ещё моложе.

Лёле так казалось: с утра солнце молодое, а к вечеру стареет, а на другой день — снова молодое. Вот ведь чудо!

— Чудо! Правда, Ванечка?

Ванечка в этом не видел особенного чуда: встаёт солнце — вот и хорошо. Но спорить с Лёлей он не хотел, он просто глядел на самую красивую линию на свете и шептал потихоньку:

— Угу!

Сказка о приходе весны

Зимнее солнце короткое.

Только выйдет на небо, глядишь — нет его, уже вечер, уже ночь да мороз. И спит деревня Полыновка, только в окнах школы горит сосновая лампа, и вечные звёзды дрожат над снежною степью.

Долго и долго тянулась зима, но вот задули ночные тяжёлые ветры. Они не были такими пронзительными и сухими, как зимой. Они наваливались на степь, прижимали к земле деревню, и они — эти странные ветры — были теплее снега.

Как-то ночью Лёля проснулась оттого, что ветер особенно тяжко выл и гудел за окном.

Лёля лежала, не открывая глаз, но видела всё, что происходило на улице за стеною дома.

Двигался снег. Как огромная шапка, вздрагивал он и пытался ползти. Он не был холодный и мёртвый, он тёплый был, тающий и живой. Плохо ему стало сегодня ночью, душно и тягостно. Он метался и не мог ничего поделать, никуда спрятаться, потому что был огромный. И Лёле стало жалко снег.

И она услышала тихий стон, как будто бы снег стонал под окном, но тут же поняла, что это стонет мама, и напугалась. Снег должен стонать, должен метаться, а мама — никогда.

Лёля вскочила, подбежала к маминой кровати, забралась под одеяло.

— Лёленька, — шептала мама, просыпаясь. — Ну что ты? Что ты?

Мама была жаркая, влажная, она целовала Лёлю, и так, обнявшись, они заснули, и снег всю ночь стонал за окном.

А утром обрушилась на деревню Полыновку великая весна.

Всё сразу и всё кругом раскрылось — и небо и земля.

Снег, измученный ночными ветрами, таял, и забурлила в овраге речка, подхватила разбитые дрожки, понесла; ударили в небе жаворонки, а ледянка быстроходная обратилась в решето.

А Лёля в решете этом таскала из-за дома снег. Она хотела уберечь снежные часы, которые подарила Ванечке. Она рассыпала снег по краям циферблата, вокруг палки, вколоченной в землю.

Но солнце заливало поляну, на которой были снежные часы. Снег таял, таял, и Лёля поняла, что

надо строить новые часы, весенние.

Великая весна обрушилась на деревню Полыновку, а зима, которая тоже была великой, потускнела и забылась.

Да и что толку вспоминать о зиме, когда подснежники охватили землю, а гуси и жаворонки раскрасили небо? Кто вспомнит о великой зиме, когда идёт босиком по одуванчикам?

Пожалуй, только Лёля и помнила, как мучился снег однажды ночью. Она радовалась гусям и одуванчикам, а ещё больше радовалась, когда находила в оврагах остатки снега.

«Уберёгся, милый», — думала она.

И ей хотелось, чтоб всё на свете всегда уберегалось.

Сказка о гусиных буквах

Печальной для Лёли была эта великая весна.

Заболела мама.

Она похудела и как-то притихла.

— Мам, съешь яичко печёное, — уговаривала Лёля.

— Не хочется.

Скоро и ученики заметили, что Татьяна Дмитриевна переменилась. На уроках она вдруг подходила к окну, открывала форточку и долго молчала, вдыхая весенний ветер.

А ветер весенний ширился, если ветер может шириться. Но Лёле казалось — ширится и, главное, расширяет небо.

По широкому ветру летели над степью на север дикие гуси — казарки и гумённики.

Они летели, летели и выстраивали на небе русские буквы.

Вот летит караван как буква «У»!

А вот как буква «А», и даже на месте перемычки-палочки четыре летят гуся.

И буквою «Ж», и буквою «Х» летели казарки и гумённики, а уж Лёлина буква — буква «Л» — встречалась чаще всего.

Лёля глядела в небо, читала гусиные буквы, и свою букву чаще всего. И она точно знала, что её букву — букву «Л» — и через сто лет и через двести понесут по небу весенние гуси.

Но вот кончились гуси, прошли журавли, пролетели небесные буквы, а в школе появилось новое слово.

Вначале это слово никто не понял. Только Татьяна Дмитриевна понимала, да не хотела пугать учеников.

— Экзамены, — говорила она. — Вот какое слово интересное.

И ребята повторяли за ней:

— Эгзамены… эгзамены…

А что за «эгзамены» — они не понимали. А может, это такие… вроде пирогов с капустой?

— А завтра последний урок, — сказала как-то Татьяна Дмитриевна. — Все младшие ученики до осени покидают школу. А вот старшие, третьеклассники, через неделю будут держать экзамены.

И тут младшие закричали и засмеялись. Они любили школу, да ведь и погулять пора! И только четыре человека — Максим, Марфуша, Ефимка и Павляй — сидели тихо.

Экзамены! Вот слово-то какое. Страшноватое. И

как же это их держать? Да кто же на свете удержит такое слово?

Младшие ученики вылетели на улицу, а третьеклассники остались. Татьяна Дмитриевна успокаивала их как могла. Но она и сама волновалась. Шутка ли — впервые в Полыновской школе четыре человека окончили третий класс! Это ведь были самые первые грамотные люди в полынных степях.

Но первые грамотные люди совсем оробели. Они поняли, что в школу приедут через неделю чужие и очень важные люди и станут им вопросы задавать. И если они правильно ответят — получат редчайшую бумагу под названием «Свидетельство». И ни у кого на свете такой бумаги нет, а у них — будет.

— Не надо мне этой бумаги, — сказал Павляй. — Я лучше вообще на экзамены не приду. Боюсь.

— Я тоже не приду! — крикнул Ефимка. — Я не боюсь, а всё же побаиваюсь.

Марфуша и Максим молчали. Они были лучшие ученики. Они-то не боялись, а всё-таки побаивались.

— И ты придёшь, Ефимка, и ты, Павлик, — сказала Татьяна Дмитриевна. — Только чтоб руки были чистые и уши вымыты. Ясно?

— Ясно, — ответил Павляй, хотя и не очень-то понимал, зачем на экзаменах чистые уши.

— Наверно, там, на экзамене, чужие и важные люди будут нам в ухи дуть, — сказал Ефимка.

Сказка о строгом празднике

С утра хлынул в школу весенний степной и очень ясный свет. Повсюду — на столах, на окнах стояли букеты ранних лесных и полевых цветов — медуницы и ветреницы, подснежники и фиалки. В школе чувствовался праздник. Но это был какой-то строгий праздник.

А вокруг школы собрались все полыновские ребятишки, пришли хоть издали глянуть на экзамены и взрослые.

В новом тёмно-синем платье с белым кружевным воротником на крыльце стояла Татьяна Дмитриевна. Бледная, но очень спокойная, она не обращала внимания на тех, кто собрался у школы. Она ждала.

Но, конечно, она очень волновалась. Ведь её ученики были первыми грамотными людьми в полынной степи. И сегодня чужие и важные люди должны были проверить, чему же она их научила.

За спиною Татьяны Дмитриевны виднелся и дед Игнат. Ради такого дня он принарядился. Вместо лаптей надел сапоги, расчесал бороду.

— Идут! Идут! — закричали ребятишки.

На дороге показались Максим и Марфуша, Ефимка и Павляй. В белоснежных льняных рубашках, подпоясанных цветными поясками, шли они к школе, на ногах золотились свеженькие лапти, сплетённые для этого случая.

За ними шли их матери и отцы. Папаши несли глиняные кувшины с мёдом, а мамаши — пироги, завёрнутые, конечно, в полотенца. И мёд и пироги были дары для тех важных людей, которые пока не приехали.

На крыльце поклоном встретила учеников Татьяна Дмитриевна. Каждого взяла за руку и ввела в школу. Дед Игнат складывал пироги в огромную ивовую корзину.

— Едут! Едут! — закричали в толпе.

Вдали, у линии горизонта, показалось облачко пыли. Оно росло, приближалось. Кто-то ехал к деревне, а кто — непонятно.

Но вот обозначились дрожки. С грохотом прокатили по деревне, стали у школы. Из дрожек вышли две женщины, одетые в чёрное, строгое.

— Вон оно чего! — сказал мужичонок Кузя, который случайно затесался в толпу. — Бабы чёрные.

Полыновцы удивились. Они никак не ожидали, что приедут женщины, да ещё целых две.

— Важные, наверно, — шептались в толпе, глядя, как Татьяна Дмитриевна кланяется гостьям.

— Небось поглавней генерала, — сказал Кузя, который случайно затесался. — Да неуж бывают бабы главней генерала?

А это были учительницы из двух соседних школ. Да только их никогда в Полыновке не видели. Одна-то школа была в двадцати километрах, а уж вторая — в пятидесяти.

— Едут! — снова закричали ребятишки, и новое облако пыли явилось в степи за деревней.

Оно было мощней первого, и все поняли, что в этом облаке едет кое-кто поглавней двух чёрных женщин. А если они важней генерала, так кто же это тогда едет?

Красивая рессорная бричка подкатила к школе. Большой и полный и вправду на вид чрезвычайно важный господин — в шляпе! — вышел на улицу.

— Барин, барин, — зашептались в толпе.

Тут уж не только Татьяна Дмитриевна, все от мала до велика ударились в поклон.

Золотые очки тонко поблёскивали под шляпой, имелся под очками и мясистый нос, а уж под носом — чёрные усы, которые ловко подчёркивали, что и розовые щёки тоже имеются.

Это был и вправду очень важный господин. Это был попечитель школ, и приехал он в Полыновку из далёкого города, который назывался — Пенза!

Вот как! Попечитель! Из Пензы!

Это было сверхъестественное явление.

Попечитель между тем оглядел всех собравшихся, слегка поклонился Татьяне Дмитриевне и сказал басом:

— Ну вот и приехали.

В толпе на мгновение замерли, а потом кое-кто тихонько засмеялся, а дед Игнат, который колом торчал в своих сапогах возле крыльца, вытаращил глаза. Все вздохнули посвободней и почему-то решили, что Попечитель — добрый.

Между тем, как только Попечитель вышел из брички, явился и батюшка поп. Он давно уж поглядывал в окно — не едет ли господин Попечитель? Появляться раньше ему было неловко.

Попечитель пошёл ему навстречу, батюшка благословил Попечителя, и господин Попечитель поцеловал батюшке руку. Тут батюшка поп снова в глазах полыновцев поднялся на небеса, с которых к этому моменту немного спустился.

Батюшка и Попечитель взошли на крыльцо, дверь школы закрылась, и на поляне настала полнейшая тишина.

Из школы тоже не доносилось ни звука.

Потом-то всё-таки послышался некоторый звук. Некоторый топот, некоторое упиранье и кряхтенье.

Дверь раскрылась, и дед Игнат вытолкал на улицу Мишку-солдатика. Оказывается, Мишка всё это время сидел под партой, чтоб посмотреть на экзамены.

Сказка о сеятеле

А Лёля и Ваня Антошкин спрятались на печке. За занавесочкой. Их никто не видел, а они-то видели, как сверкнули очки господина Попечителя, как прошествовал в класс батюшка поп и две чёрных женщины. Потом дверь в класс закрылась. Они теперь не видели ничего, зато слышали.

Господин Попечитель и чужие учительницы спрашивали учеников, одного за другим. Все отвечали очень хорошо, и господин Попечитель всех хвалил. Он и вправду оказался добрым и почему-то часто повторял своим басом:

— Спасибо, Татьяна Дмитриевна.

Особенно понравилась ему Марфуша. Он расспрашивал её и так и сяк, а она всё отвечала. Наконец господин Попечитель засмеялся, расцеловал Марфушу и снова сказал:

— Спасибо, Татьяна Дмитриевна.

Всё шло гладко, пока не дошло до Ефимки Киреева.

— Ефим Киреев, — сказал Попечитель, — как называется эта книга?

— «Сеятель», господин Попечитель.

— А что это такое — сеятель, скажи нам, Ефим

Киреев.

— Это — книжка, — сказал Ефимка.

— Хорошо, Ефим Киреев, молодец. А что это ещё такое, кроме книжки, скажи-ка нам, Ефим Киреев.

— Сеятель — это сеятель, господин Попечитель.

— Так-так, — сказал господин Попечитель. — Ну а что он делает, сеятель-то этот!

— Что полагается, — сказал Ефимка.

— А что же полагается делать Сеятелю?

Ефимка, как видно, задумался. В классе была тишина.

— Сеятелю полагается делать то, — сказал наконец Ефимка, — что полагается.

Господин Попечитель слегка засмеялся.

— Ладно, — сказал он. — Последний вопрос. Вот скажи, а Татьяна Дмитриевна, она-то кто? Сеятель она или нет?

— Татьяна Дмитриевна-то? — переспросил Ефимка.

Лёля и Ваня Антошкин не видели, что в этот момент Ефимка посмотрел на Татьяну Дмитриевну, и она легонько кивнула ему.

— Татьяна Дмитриевна — сильный сеятель, — с облегчением ответил Ефимка.

— Вот молодец, — сказал Попечитель. — А что же она сеет?

— Ну как чего, — улыбнулся Ефимка. — Коноплю.

— Ну а ещё-то чего?

— Да я не знаю, — сказал Ефимка. — Лук, наверно, садит.

Тут господин Попечитель засмеялся, а чужие учительницы о чём-то зашептались. Ефимка понял, что подвёл Татьяну Дмитриевну.

Татьяна Дмитриевна встала со своего места, подошла к окну. Она открыла форточку, вздохнула. Чужие и важные люди, которые сидели за столом, удивлённо посмотрели на неё. Они не поняли, зачем она встала, а Ефимка понял.

— Ну что ж, Ефим Киреев, — сказал Попечитель. — Прочти нам теперь стихотворение наизусть.

Татьяна Дмитриевна оглянулась. Она была бледная и дышала тяжело, но ласково смотрела на Ефимку.

Ефимка задумался. Он хотел было прочесть стихотворение про весну, но все эти разговоры насчёт Сеятеля навели его на другое.

Сейте разумное, доброе, вечное, –

начал он, –

Сейте, спасибо вам скажет сердечное
Полынный народ.

В полной тишине, что таилась в классе, раздалось некоторое хмыканье господина Попечителя.

— Кто скажет спасибо? — спросил он.

— Полынный народ, — ответил Ефимка.

— Нет, Ефим, ты ошибаешься. В книжке написано по-другому. На-ка книжку, прочти.

Ефим взял книжку и прочел:

Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте, спасибо вам скажет сердечное
Полынный народ.

— Там написано по-другому, — сказал господин Попечитель. — Там написано — русский народ.

— Так ведь это одно и то же, — ответил Ефимка.

Господин Попечитель задумался, а потом засмеялся.

— Ну что ж, Татьяна Дмитриевна, — сказал он. — Ещё раз спасибо вам.

Сказка о том, как не зацветала сирень

Сразу после экзамена мама уехала. Она уехала в Пензу — в далёкий город, к врачам.

Лёля осталась одна. Нет, не совсем, конечно, одна. В школе посапывал на печке дед Игнат, бродил по классу Мишка-солдатик, добрые сёстры Еленакай и Натакай часто забирали Лёлю к себе, — не одна и всё-таки одна.

Уже все цветы — и купальницы с незабудками, и ландыши расцвели, а сирень всё молчала. Бутоны-то уже были, да никак не могли они созреть, раскрыться — заговорить.

Приехала Дуня, и Лёля стала жить с нею в школе.

Как-то вечером Лёля сказала:

— Дуня, расскажи мне сказку.

— Сказку? — удивилась Дуня. — Я сказки не рассказываю. Я песню пою.

— А ты спой сказку.

— Ну что ж, — согласилась Дуня. — Слушай. — И Дуня запела:

Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина?

Головой склоняясь

До самого тына?

Дуня пела, а Лёля слушала, и в голове у Лёли сказка эта сложилась так.

Дунина сказка про рябину

Жила-была в полынной стороне рябина.

Она росла у забора на самом краю деревни.

Скучно, одиноко жила рябина — степь раскинулась вокруг, степь. А за забором росли яблони, цвела сирень. На рябину никто и внимания не обращал. Иногда только поздней осенью, когда на ветвях её поспевали красные ягоды, люди, проходящие мимо, останавливались.

— Какая красивая рябина в этом году! — говорили они и шли дальше.

А некоторые так просто проходили мимо, не замечая рябиновой красоты.

Рядом с рябиной, у самых её корней, вилась дорога. По дороге мчались кони, громыхали телеги. Пыль из-под конских копыт оседала на её ветвях. А за дорогой была река, и на том берегу рос могучий дуб.

Рябина давно заметила его, а дуб, пожалуй, её не замечал. Он был огромный, крепкий, и даже самый сильный ветер не мог согнуть его, только листья обрывал с веток.

Как-то поздней осенью задул особенно сильный и пронзительный ветер. Рябина гнулась под

его порывами, последние ягоды осыпались с её ветвей. И рябина захотела поговорить с дубом.

— Дуб, эй, дуб! — прошептала она. — Слышишь меня?

И ветер подхватил её слова, но дуб молчал — спал, наверно, убаюканный ветром. И долго ещё шептала рябина, пока дуб отозвался:

— Слышу тебя…

— Мне надо к тебе перебраться… Скучно здесь, одиноко. Да и ветер очень сильный.

— Так ведь дерево где растёт — там и растёт. Как переберёшься-то?

— А я бы прижалась к тебе, — шептала рябина. — Легче было бы…

Дуб долго молчал, а потом уж ветер донёс до рябины:

— Хорошо бы.

— Перенеси же меня через реку, ты ведь большой и сильный. Или сам иди ко мне.

И дуб тряхнул ветвями, хотел раздвинуть плечи, но не смог сдвинуться с места…

Дуня спела песню, замолчала, а Лёля не удержалась и заплакала. Эта сказка про рябину как-то вдруг оказалась связанной с болезнью мамы, и вот мамы всё нет, и когда же она вернётся?

— Ну, ну, не плачь, — сказала Дуня. — Ты ведь

не знаешь, чем кончилась сказка.

— А чем? — всхлипывала Лёля.

— Однажды утром люди проснулись и вдруг увидели, что рябина растёт рядом с дубом.

— Неужели перебралась?

— Конечно.

— А как?

— Наверно, добрый человек всё понял, осторожно выкопал рябину да и перевёз на лодке через реку.

И Лёля, засыпая, думала, что, если она увидит когда-нибудь одинокую рябину — обязательно перевезёт её через речку к дубу. Только бы выкопать её осторожно, корней не повредить.

А когда заснула окончательно, ясно увидела, как идёт рябина к дубу сама, как тяжело вынимает из земли свои корни, как гнётся, как качается, переходит речку, чтоб прижаться к дубу.

Сказка о чёрте с рогами и бородой

И ещё день прошёл — сирень не зацветала, и ещё, и ещё.

И вот однажды вечером — Лёля уже легла — вдруг услышала в сторожке какой-то стук по полу, а потом — плач. Только нерусский какой-то плач, нечеловеческий.

Лёля вскочила, выбежала в сторожку и увидела маму.

Мама и Дуня сидели на лавке, тихо смеялись, обнимались. А дед Игнат стоял в стороне и держал на верёвке что-то непонятное.

Но Лёля и не смотрела, что там держит дед Игнат. Она кинулась к маме, обняла её, прижалась к ней. И долго-долго так сидела, уткнувшись носом в мамино плечо.

И тут снова послышался этот странный звук, вроде как плач, да только нерусский.

— Посмотри, Лелесь, кого я привезла, — сказала мама.

Лёля оглянулась и охнула.

Небольшой серый чёртик стоял на полу и блистал золотыми глазами. Над горящими глазами острые и кривые торчали рога, кривились длин-

ные губы, и бородка жёлтая тряслась под губами.

— Нечистый?

— Да что ты, — засмеялась мама. — Это — Катька.

Тут Катька дёрнулась, натянула верёвку и нацелила рога прямо на Лёлю.

«Мнэ-э-э!» — закричала она.

— Это коза, — объясняла мама. — Катька. Понимаешь — коза! Ну вроде как маленькая коровка.

Лёля не знала, что такое коза. В Полыновке не держали коз, а только коров и овец. Полыновцы думали, что коза уж больно на чёрта похожа.

— Козье молоко очень полезно, — рассказывала мама. — Умные врачи велели мне его пить. И тебе, Лелесь, надо будет пить Катькино молоко. Согласна?

Лёля кивнула. Она была рада, что мама вернулась. Тут уж что угодно выпьешь, лишь бы мама дома была.

Лёлю снова уложили в постель. Но она всё ворочалась, всё думала о том, что наконец-то мама вернулась, и ещё она думала о чёртовой козе Катьке. Вот ведь рогатое чудовище! Наверно, все смеяться будут. Что там ни говори, а уж больно на чёрта похожа.

Лёля всё ворочалась, а мама с Дуней шептались,

и странные слова доносились до Лели:

— Перемены… перемены… ожидаются перемены… это всё «волчки»…

— Ну что там за перемены? — спросила наконец Лёля, — где «волчки»?

— Спи, — подошла к ней мама. — Спи.

Но Лёле никак не спалось.

Мама вернулась в сторожку и снова потихоньку рассказывала Дуне новости из далёкого города Пензы, и опять доносилось:

— Перемены… во всей стране… перемены.

А издалека, из чулана, слышался странный плачущий голос козы Катьки.

Лёля ворочалась и вздыхала, ей тоже хотелось узнать новости из далёкого города Пензы, и наконец пришёл к ней дед Игнат.

Покашливая, присел он рядом с Лёлей.

— С козой приехали, — ворчал он, — на кой нам пёс коза? Сена теперь надо… отрубей…

Так ворчал дед Игнат, и понемногу, слово за слово, из ворчанья появилась сказка. Сказка про козла, про Катькиного брата.

Сказка деда Игната про козла Козьму Микитича

В одной деревне жил ленивый мужичок.

Не было у него никакой скотины, а только козёл да баран.

Поленился мужичок накосить летом сена, а тут и зима пришла — нечего есть и козлу и барану.

Стали козёл да баран на весь двор реветь:

— Покорми нас, хозяин!

Рассердился ленивый мужичок, схватил кнут и давай стегать козла да барана:

— Вот вам сено! Вот вам отруби!

— Делать нечего, — сказал потом козёл. — Надо нам в лес убегать. Давай убежим в лес. Найдём там стог сена и станем жить.

— Давай убегать, брат Козьма Микитич, — баран говорит. — Хуже нам не будет.

Вот сговорились они. Козёл пошёл в дом и стащил у хозяина ружьё, заряженное пулями, а баран пустой мешок из сеней уволок.

И вот идут путём-дорогою. Козёл ружьё несёт, баран пустой мешок за собою тащит.

Вдруг видят — лежит на дороге волчья голова.

— Брат баран, — указал Козьма Микитич, — возьми эту голову да и сунь в мешок.

— А на кой нам пёс волчья голова, Козьма Микитич? — баран говорит. — И так идти тяжело.

— Возьми голову, брат баран. Придём на место — студень сварим.

— На кой нам пёс студень? — баран ворчит. — Нам бы сенца клок.

Но всё-таки послушался козла, взял волчью голову и в мешок положил. Шли они, шли путём-дорогою, и дорога-путь нырнула вдруг в лес.

— Холодает, Козьма Микитич, — баран говорит. — Хвост у меня иззяб.

— А вон, смотри-ка, огонёк в стороне. Пойдём к огню, согреемся.

И пошли прямо на огонь.

Глядь — волки! Сидят у костра, греются!

Семь волков-бездельников — семеро брательников.

— Ну, брат Козьма Микитич, — шепчет баран, — нам теперя крышка!

— Не робей, брат Баран Борисыч, а делай, как я велю.

Тут козёл подошёл к волкам:

— Здорово, ребята!

— Здравствуйте, Козьма Микитич, — скромно

ответили волки.

— Ну вы чего тут расселись-то? — козёл говорит. — Замёрзли, что ли?

— Греемся…

— Ну-ну, — сказал козёл, — конечно… холодает… Это, Баран Борисыч, чего у тебя там в мешке-то? Давай-ка сюда! Надо нам студень сварить. Главная забота против холоду — это чтоб не замёрзнуть с голоду. Тащи, короче.

Смотрят волки на козла да на барана и думают: «Вот он, ужин-то!»

— Подвинься-ка! — сказал козёл старшему брательнику. — Расселся тут. Дай-ка и мне к огню пригреться, копыта свои старые потомить… Ну, ты чего там, Баран Борисыч, доставай-ка из мешка волчью голову. Да только смотри, выбирай, чтоб старый волк был, чтоб студень вышел понаваристей.

Баран вынул из мешка волчью голову и подал козлу.

— Вот тут есть какая-то, — сказал он и закашлялся. — Не знаю, сгодится ли, Козьма Микитич?

— Не та, — сказал козёл. — Там, в мешке, есть другая голова, позубастее! Тащи её!

Баран стал копаться в мешке. Копался, копался и снова тащит ту самую голову.

— Эх, Баран Борисыч! — вздохнул козёл. — Ты и вправду баран. Опять не та. Посмотри на самом низу которая лежит. Ту мне надобно.

— Да пёс его знает, — сказал баран. — Настригли тут разных голов, а мне разбирайся!

Покопался он в мешке и снова несёт ту же самую голову.

— О! — сказал козёл. — Во! Она! Она! Хорошая! Ха-ха — ушки-то ушки! Самый раз на студень! Сейчас заварим!

— А что, ребята, — говорит волкам, — нет ли у вас котелка такого или ведра недырявого?

Перепугались волки.

«Ну, — думают, ужас-то какой! Целый мешок волчьих голов настригли! Надо нам тягу давать!»

— Есть, есть у нас ведёрко, Козьма Микитич, — брательник старший говорит. — Оно там... под гнилой черёмухой. Сейчас, сейчас принесём! Эй, Митька, Вавилка! Бегите за ведёрком! Сашка, Аркашка! Давайте за водой! Мишка! Никишка! Беги за дровами! А я за вами приглядывать побегу!

Повскакивали волки, побежали со всех ног. Бегут, бегут, задыхаются, глаза выпучили, а навстречу — медведь:

— Вы куда? Взбесились, что ли? Куда вас пёс

несёт?

— Ну, Михал Ваныч, беда! Пришёл к нам козёл… Ну, это… Микитич. А с ним баран. Целый мешок волчьих голов притащили. Мы и убоялись… бежим теперя.

— Эх, дураки вы всё-таки, — сказал медведь. — Козла убоялись. Да Барана Борисыча! Пошли назад — ужинать пора!

Тут козёл увидел, что волки назад идут, да с Михал Ванычем, и говорит:

— Лезь, Борисыч, на этот дуб, да повыше забирайся! А я следом полезу. Где ружьё-то?

Брат баран полез на дуб, да не может залезть. Кое-как за нижний сук ногами зацепился, висит. А козёл изловчился — повыше вспрыгнул.

— И где козёл? — медведь говорит. — И где Борисыч?

— Не знаем, батюшка Михал Ваныч, только что тут сидели!

— М-да… — сказал медведь, — придётся гадать. Меня тут одна бабка гадать научила. По желудям. Наберите-ка, ребята, желудей, я по ним гадать стану, где козёл, а где баран. Жёлуди не соврут. Точно покажут.

Вот волки пошли к дубу, на котором висели козёл да баран.

— Козьма Микитич, — шепчет баран, — упаду, ей-богу, упаду, мочи нет, копытам больно.

— Падай, — шепчет козёл, — как волки подойдут — так и падай! Только с прицелом падай. Норови кому на голову попасть.

Вот подошли волки к дубу. И старший брательник говорит:

— Не видать что-то желудей… Постой, а это что висит?!

Тут баран и грохнулся брательнику на голову. А козёл приладился к прикладу, взвёл курок и выстрелил изо всех сил.

— Медведя держи, Борисыч! — заревел козёл. — Волки — ладно, наплевать! Нам бы медведя добыть! Вот уж студень-то! Прямо — холодец!

Ужасно теперь поперенапугались волки, побежали в разные стороны, а медведь Михаило Ваныч от страху ополоумел — пуля-то мимо него просвистала!

Побежал Михаило Ваныч сам не зная куда да в дуб, на котором козёл висел, лбом и впёрся!

Рухнул козёл. Да с прицелом! Прямо на медведя свалился.

— О ужас! — закричал медведь и в лес убежал.

А козёл с бараном пошли к костру, сварили студень, а к ленивому мужичку решили никогда

не возвращаться.

— А на кой нам ленивый-то мужичок? — сказал баран. — Ну его ко всем псам.

— И то верно, — сказал Козьма Микитич. — Давай срубим в лесу избушку и станем в ней сами по себе жить.

Срубили они в лесу избушку и жили в ней ровно сто лет и три года. А волки им на побегушках служили, сено им летом косили, да потом ворошили, да в стога на зиму складывали.

Сказка про Катьку

Утром Лёля встала пораньше, чтоб поглядеть на козу.

Катька-коза стояла в чулане, трясла бородой и жевала что-то.

— Кать, Кать, — сказала Лёля. — На́ хлебушка… на́ мякиша…

— Мнэ-э-э-э… мнэ-э-э-э… — сказала Катька и схватила мякиш с Лёлиной ладони.

Лёля погладила рога. Крепкие да костяные, витые и длинные — удивительные были эти рога. Лёля вообще-то раньше никого, конечно, за рога не трогала, а тут вдруг трогает. Приятно. Крепкие да костяные, витые и длинные — они были ещё и тёплые.

«Тёплые», — подумала Лёля.

— Кать, Кать, хочешь картошечки печёной?

— Мнэ-э-э-э… — сказала Катька.

Ясно было, что картошечки она хочет.

Катька, как вскоре выяснилось, хотела всё, а когда Лёле нечего ей стало давать, Катька поднялась на задние ноги, а передними ударила изо всех сил в чуланную перегородку. В тесовую.

Перегородка дрогнула.

Катьке это понравилось, и она ударила другой раз.

Перегородка задрожала, а Катька разогналась и теперь грянула по доскам рогами.

На грохот явился дед Игнат. Кряхтя и ворча, привязал он на шею козе крепкую верёвку, вывел Катьку на улицу.

В том самом месте, где стояли когда-то снежные часы, дед вбил в землю кол, привязал к нему верёвку.

Дед ушёл обратно в школу, а Лёля глядела на Катьку и вдруг поняла, что теперь у неё есть новые часы, весенние. Тень от столба показывала часы, а Катька, которая ходила вокруг него на верёвке, показывала минуты.

Но Катька, конечно, не думала ни о каких минутах. Она думала только о траве и с каким-то особенным козьим хрустом жевала её. Тут набежали на пришкольную поляну полыновские ребятишки.

Они запрыгали от радости, что увидели живую козу.

— О-го-го! — кричали они. — Чёрт на верёвке!

— С бородою!

— С рогами!

— Давай скакать вокруг.

И они принялись скакать вокруг Катьки.

— Это коза, — объясняла Лёля, — вроде маленькой коровки.

Но голос её тонул в скакательном крике.

Между тем Катька на мальчишек никакого внимания не обращала. Она внимательно щипала траву, обходя циферблат солнечных часов.

Мишка-солдатик с Ефимкой Киреевым подобрались к ней поближе. Ефимка встал вдруг на четвереньки и полез к Катьке, как будто хотел её забодать.

— Бодай её, Ефимка! — кричал Мишка.

Глупый Ефимка подполз поближе, и тут Катька подняла голову и увидела его. Она глядела на него задумчиво и жевала траву. А потом наклонила голову и прямо с места ударила Ефимку рогами в лоб.

Бедного Ефимку оттащили к колодцу и долго поливали ему голову весеннею ледяной водой. Но, конечно, на лбу у него всё равно выросла эдакая фигурная и витая, бесконечно козлиная шишка.

А вот Ваня Антошкин Катьку очень стеснялся. Он даже старался ей угодить. Сорвёт лопушок и несёт Катьке:

— Кать, Кать, на́ лопушка сладенького.

— Мнэ-э-э-э, — говорила Катька и глядела на Ванечку золотым своим глазом. Ей Ванечка почему-то очень нравился.

Сжуёт лопушок, начнёт Ванечке ладонь лизать шершавым языком и снова говорит:

— Мнэ-э-э.

И Ванечка несёт ей новый лопушок, нежёваный. И Лёля и Ванечка иногда отвязывали Катьку и шли с нею по деревне гулять. Катька на верёвке, а за нею Лёля и Ванечка. Встречные ребятишки и даже взрослые издали кланялись:

— Здравствуй, Лёля, — говорили они, — мир козе твоей, Катьке.

— Мир вам! — отвечала Лёля. — И скоту вашему, и коровам, и овцам.

И Катька ходила по деревне спокойно, иногда только останавливалась там, где была особо сладкая травка.

А однажды вот что случилось. Лёля и Ванечка зазевались, заговорились. Катька дёрнула верёвку, вырвалась у них из рук и вдруг прыгнула через забор да пошла топтать чужой огород. Пока Лёля с Ванечкою перелезали через забор, Катькин и след простыл.

Долго бегали они по деревне и вдруг услышали знакомый голос:

— Мнэ-э-э… Мнэ-э-э…

Голос слышался откуда-то сверху, с неба.

А Катька стояла на крыше сарая! Да ещё какого сарая! Того самого, где лавочник Чернов бакалею держал.

Кое-как сманили Катьку вниз, приманили её лопушком да хлебным мякишем.

И тут наконец зацвела сирень.

Сказка о счастливой сирени

Свет, свежий сиреневый свет, холодный и радостный, осветил Лёлину комнату.

Кисти сирени светились за окном, а всё равно комната теперь преобразилась, она была полна цветущей сирени! Ведь стекло, ведь окно — это не преграда для души, которой хочется смотреть на сирень.

— Там есть счастливый цветок, — сказала Марфуша. — У всех четыре лепестка, а у него — пять. Кто найдёт его — будет счастливым.

— Я и так счастливый, — сказал Мишка-солдатик. — На кой мне цветок?

— Где ж твоё счастье? Ни отца, ни матери.

Мишка задумался. А ведь и правда, счастье-то его было невелико.

— Зато у меня вон чего есть, — сказал он и достал из-за пазухи живого галчонка. Галчонок хлопал крыльями, таращил глаза, в которых тоже не было особенного счастья.

— Отпусти его, — сказала Лёля, и Мишка почему-то сразу послушался, выпустил галчонка. Пролетев пять шагов, тот уселся на забор.

— Давайте искать, — сказал Максим. — Найдёт

ли кто счастливый цветок?

— Я и найду, — сказал Мишка.

— А может, я?

— Я! Я найду!

Только Ваня Антошкин помалкивал. Он-то уж точно знал, что не найдёт.

Мишка забрался на забор, чтоб достать самую высокую, самую махровую кисть.

— Здесь оно, счастье, здесь, наверху! — кричал он.

Другие ребята рвали сирень с земли.

Лёля тоже подошла к кусту сирени. Она не смогла дотянуться до высоких кистей.

А совсем внизу, в тени, она увидела маленькую веточку. На ней, заслонённой от солнца, настоящая кисть не получилась, толком не расцвела. Но Лёля всё-таки сорвала цветок и сразу увидела пять лепестков.

На этом, на счастливой сирени, мне и хочется закончить книгу полынных сказок.

Приключения Васи Куролесова
Повесть

Что мне нравится в чёрных лебедях, так это их красный нос.

Впрочем, к нашему рассказу это не имеет никакого отношения. Хотя в тот вечер я сидел на лавочке у Чистых прудов и смотрел как раз на чёрных лебедей.

Солнце укатилось за почтамт.

В кинотеатре «Колизей» грянул весёлый марш и тут же сменился пулемётной очередью.

Из стеклянного кафе вышел молодой человек и, распугивая с асфальта сизарей, направился прямо к моей скамейке. Усевшись рядом, он достал из кармана часы-луковицу, больше похожие на репу, щёлкнул крышкой, и в тот же миг раздалась мелодия:

Я люблю тебя, жизнь,

И надеюсь, что это взаимно…

Скосив глаза, я глянул на часы и увидел надпись, искусно вырезанную на крышке:

ЗА ХРАБРОСТЬ.

Под надписью был нацарапан маленький поросёнок.

Между тем неизвестный захлопнул крышку часов и сказал себе под нос:

— Без двадцати девятнадцать.

— Сколько?

— Без двадцати девятнадцать. Или восемнадцать часов сорок минут. А что?

Передо мной сидел молодой парень, худой, широкоплечий. Нос у него был несколько великоват, глаза прищуренные, а щёки загорелые и крепкие, как грецкий орех.

— Где же вы достали такие часики? — завистливо спросил я.

— Да так, купил по случаю. В одном магазинчике.

Это была, конечно, ерунда. Часы с надписью «За храбрость» не продаются. Неизвестный просто не хотел рассказывать, за что его наградили часами. Он стеснялся.

— Что мне нравится в чёрных лебедях, — сказал я дружелюбно, — так это их красный нос.

Владелец часов засмеялся.

— А мне, — сказал он, — чёрные лебеди вообще не нравятся. Лебедь должен быть белым.

Слово за слово — мы разговорились.

— Интересно, — толковал я, — почему это у вас на часах поросёнок нарисован?

— Да это так просто — шутка. Ничего интересного.

— Ну, а всё-таки?

— Дело давнее. Я ведь тогда жил ещё у мамы. В деревне Сычи.

— Ну и что там произошло?

— Да ничего особенного…

Часть первая
Усы и поросята
Глава первая
В деревне Сычи

Вместе со своей мамой Евлампьевной жил Вася в деревне Сычи.

Мама Евлампьевна держала кур с петухом и уток, а Вася учился на механизатора.

Как-то весной, в начале мая, мама Евлампьевна и говорит Васе:

— Васьк, кур у нас много. И утки есть. А вот поросят нету. Не купить ли?

— Мам, — говорит Вася, — на что нам поросята? Вырастут — свиньями станут. В грязи будут валяться. Противно-то как.

— Васьк, — говорит Евлампьевна, — да пусть валяются, тебе-то чего? Давай купим!

— Мам, — говорит Вася, — да ну их! Хрюкать начнут — отбою от них не будет.

— Васьк, — говорит Евлампьевна, — да много ли тебе надо отбою! Похрюкают и перестанут. А мы их будем помойкой кормить.

Они поговорили ещё и решили всё-таки купить

двух поросят.

И в выходной день Вася взял мешок из-под картошки, вытряхнул из него пыль и поехал на рынок в районный центр. В город Карманов.

Глава вторая
Тёртый калач

А народу на рынке было полно.

У ворот, на которых написано было: «Кармановский колхозный рынок», стояли женщины, толстые и румяные. Они продавали с рук цветные платки и белое бельё.

— Купи! — кричали они Васе. — Купи платок — чистый кумак!

Вася только проталкивался через толпу.

Он увидел, что рынок стоит во дворе бывшего монастыря, весь обнесён каменной стеной, а по углам — башни с резными крестами.

— А вот стекло двойное бэмское! — кричал у входа стекольщик, который боялся со своим товаром лезть в середину рынка.

Вместе с толпой Вася прошёл в ворота, и сразу же под нос ему сунулось блюдо с красными варёными раками. Раки были кривобокими, с перепутанными клешнями. Их усы свешивались

с блюда, как соломины.

— А ну! — крикнул Вася продавцу раков. — Сторонись, раковщик!

За раковщиком пошла сразу рыба. Некрасивый дядя вытаскивал из корзины лобастых язей, надавливал им на пузо. Язи открывали рот и делали «хм». И дядя бросал язя в корзину, в которой были и другие язи, переложенные крапивой.

Вася то застревал в толпе, то прокапывался дальше. Развернулись перед ним морковь и петрушка, зелёный лук — веником, репчатый — косицами.

— Каротель! Каротель! — покрикивала женщина-морковница.

— Репа! — ухал парень-долговяз.

Прохожие покупатели хватали-покупали, кому чего в голову взбредёт: кому — репа, кому — рыба, кому — каротель.

«А мне бы поросят, — думал Вася. — Только где же они?»

В самом углу рынка, под башней, Вася увидел, что искал. Здесь продавали кур, гусей, телят — всякую живность. И поросят было много.

Вася долго подыскивал подходящих, не очень маленьких, да и не слишком больших.

«Мне бы средних, — думал он. — И покрепче!»

Наконец у одного черноусого мужичишки Вася увидел парочку поросят.

— Славные! — сказал черноусый, пальцем указывая на них.

— Пятачки-то у них что-то маленькие.

— У этих-то маленькие? — удивился продавец. — Каких же тебе пятачков надо? С пластинку патефонную?

— Патефона у меня нету, — сказал Вася. — А всё ж пятачок хотелось бы покрупнее.

— Балда ты! — сказал черноусый. — Нет у тебя толку в поросятах. Лучше патефон себе купи.

— Тебя не спросил! — сказал Вася, грозно посмотрел на продавца и обошёл его.

«А что, — думал он, — может, и вправду патефон купить?»

Вася ещё повертелся на рынке, поискал других поросят, а издали всё поглядывал на тех, что ему приглянулись. Он видел, как мужичишка то и дело вытаскивал их из мешка и совал под нос покупателям, уверяя каждого, что поросята славные. И правда, они были славные, с небольшими по размеру пятачками.

Вася покрутился, покрутился, да и завернул снова к черноусому.

— Ага! — крикнул тот. — Вернулся!

— Говори цену.

Мужичишка сказал, но цена Васе не понравилась.

— Высока.

— Какой же ты человек плохой! То пятачки не подходят, то цена высока. Угрюмый ты.

— Ты сам угрюмый, вон усы-то как повисли.

— Новое дело! Теперь усы ему не нравятся! Ай да парень! Откуда только такие берутся?

— Из деревни Сычи, — веско сказал Вася. — Говори новую цену. Пониженную.

Черноусый сказал, и новая цена Васе понравилась, но он так подумал: «Поторгуюсь ещё для блезиру, пусть знает, что я — тёртый калач».

Вася поторговался ещё, и черноусый сказал:

— Вижу, ты тёртый калач. Ладно уж, скину трёшник. Только для тебя.

— Держи деньги. И суй поросят в мой мешок.

— Э, да чего там, — ответил продавец, сосчитав деньги. — Забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай.

Вася отдал ему свой мешок, вжик — перетянул мешок с поросятами верёвочкой.

«Дело сделано», — подумал Вася и пошёл к выходу.

— Стой-ка, — обиделся вслед ему черноусый, —

хоть бы «до свидания» сказал.

— Ничего, — ответил Вася, — обойдёшься.

Он шёл к выходу и думал: «Хоть я и деревенский парень, а грубиян».

Это ему нравилось.

Ему хотелось быть грубияном и тёртым калачом, да, пожалуй, и от стреляного воробья он бы не отказался.

Вася чувствовал спиной, как трепыхаются в мешке поросята, и это ему тоже нравилось, потому что было щекотно, да и поросята, в конце концов, были, конечно, славные, правда, с маленькими по размеру пятачками.

Глава третья
Парочка поросят

На станции Вася выпил квасу в честь хорошей покупки, а потом сел в электричку. Поросята шевелились в мешке, а когда поезд тронулся, стали повизгивать.

Вася стоял в тамбуре и глядел в окошко на пробегающие поля, дачи, ёлочки, телеграфные столбы. Пассажиры в тамбуре что-то кричали друг другу, махали руками и курили, выпуская изо рта тяжёлые махровые кольца, колёса стуча-

ли под вагоном — иэх! — мчался поезд в деревню Сычи и ещё дальше…

К дому Вася добрался под вечер, когда солнце уже стало садиться и покачивалось над деревней Сычи.

Мама Евлампьевна стояла у ворот и ещё издали крикнула:

— Васьк! Неужто не купил?

Вася промолчал. Ему не хотелось орать на всю деревню.

— Чего у тебя в мешке-то? — кричала Евлампьевна. — Говори скорей! Неужели поросёнок? Слышь, Марусенька, Васька-то поросёнка несёт!

— Бум, бум-бум, — отвечала ей соседка Марусенька из-за оконного стекла, а чего она отвечала, не разобрать.

Окно было закрыто.

— Пара поросёнков, мам, — сказал Вася, кладя мешок на землю.

— Да неси их скорей в избу! Застудишь. Они небось махонькие.

— Это ещё как сказать, — говорил Вася, внося мешок в избу. — Не такие уж махонькие, да и не слишком большие. В самый раз, крепенькие.

Пока Вася развязывал мешок, поросята шевелились в нём и повизгивали.

— И куры у нас есть, — кричала Евлампьевна, обращаясь к подоспевшей поглядеть поросят Марусеньке, — и утки! А поросят нету. Встану утром и грущу. Вот бы, думаю, поросёночка завесть.

— То-то я и говорю, — басовито бубнила в ответ Марусенька. — Без свиньи какой двор. Со свиньёй жить веселее.

— Да развязывай же скорее! — кричала на Васю Евлампьевна.

— Куда спешить-то, мам?.. — отвечал Вася, развязав мешок. Он встряхнул его, и из мешка, ощерясь и вроде даже противно улыбаясь, вылез рыжий облезлый пёс.

Глава четвёртая
Тёмная ночь

Ночь стояла на дворе.

Лунный блик мерцал через окошко. В темноте тикали на стенке ходики: тик, тик, тик…

«Ну, дьявол черноусый! — думал Вася, ворочаясь на кровати. — Ловко обманул».

Мама Евлампьевна тоже не спала.

— Ладно, Васьк, — вздыхала она. — Спи. Обойдёмся и без свиньи. Вон у людей даже кур нету — живут.

Но Вася не мог спать. Только закроет глаза — видится ему рынок в Карманове, толпа народу, грызущая семечки, а вдалеке, под башней, — черноусый, противный-противный. И всё подмигивает: «Купи поросёночка!»

«Как же пёс оказался в мешке? — думал Вася. — Не через дырку же пролез! Значит, черноусый мешки переменил, пока я деньги считал. Вместо мешка с поросятами подсунул мешок со псом».

— Ты куда пса девал? — спросила Евлампьевна. Она всё ворочалась на печке, переставляя валенки, которые там сушились.

— На улицу выгнал.

«А пёс-то какая свинья! — думал Вася. — Сидел в мешке и нарочно похрюкивал. Надо было его поленом огреть…»

«А я-то хорош! — думал Вася далее. — Развесил уши: мол, я тёртый калач! А сам — лопух лопухом».

Наконец Вася заснул и спал мрачно, без снов, вздрагивая и огорчаясь. И ночь над Васей, над деревней Сычи была тёмная, совсем тёмная, весенняя, когда снег уже сошёл, а земля под ним оказалась такой же чёрной, как и в прошлом году.

Глава пятая
Рыжий

С рассветом Вася хмуро проснулся, попил чаю из холодного самовара и пошёл на улицу.

Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пёс. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было. Хвостишко у пса тоже был не ахти какой — рогулька в репейниках.

— Ну что, мешочник, — сказал Вася, — совсем совесть потерял? Свинью в мешке изображаешь? Поди сюда!

Пёс не подошёл, а только задней лапой стал яростно чесать ухо. Ясно было, что он действительно потерял совесть. Вдруг он увидел петуха, вылезшего из-под сарая. Тут же рыжий кинулся на петуха и в мгновение ока загнал его на крышу.

— А ну! — грозно сказал Вася. — Иди сюда!

Рыжий лениво двинулся к Васе. Но потом оглянулся и увидел собственный хвост. Клацнув зубами, он хотел его поймать. Но хвост увиль-

нул.

Рыжий бешено закрутился на месте, а хвост никак не поддавался.

— А ну! — ещё грознее сказал Вася.

И тут же рыжий поймал хвост. Поймал, пожевал, выплюнул. Нехотя он пошёл к Васе, всё время оглядываясь на свой хвост.

— Твоё счастье, что у меня от сердца отлегло. Иначе не миновать бы тебе по башке поленом. Смотри, какой у меня кулак, — Вася показал псу кулак. — Ужас просто, а не кулак, — сказал он и сам поглядел на свой кулак.

Вообще-то кулак был не такой уж безумно большой. Скорее средних размеров. Балалаечный кулачок. Но на рыжего он, видно, произвёл впечатление.

Тут Вася взял пса за ухо, потому что заметил в нём какую-то штуковину. Вывернув ухо наизнанку, он вытащил эту штуковину, запутавшуюся в шерсти.

— Смотри-ка! — удивился он. — Пчела!

Рыжий понюхал пчелу и вроде как плюнул.

— Ухом пчелу поймал. Ну и ушки!

Вася выбросил пчелу и тут же почувствовал какой-то знакомый запах. Он пошмыгал носом, принюхиваясь.

— Что такое? Чем это от тебя пахнет?

От рыжего, конечно, пахло собакой, а ещё травой, пуганым петухом, но что удивительно — от него пахло мёдом.

Глава шестая
Обыкновенный мешок

«Так-так-так-так-так, — думал Вася. — Что же это получается? Пчела и запах мёда!.. Так-так-так-так-так. Это, конечно, неспроста. Ну-ка, посмотрим мешочек, в котором пса привезли».

— Сиди здесь, — сказал Вася рыжему, а сам пошёл в дом.

«Вдруг да на нём знаки какие-нибудь есть», — думал Вася, разглядывая мешок.

Нет, никаких знаков не было — обыкновенный мешок, серый да заляпанный, с заплаткой на боку. Тогда Вася встряхнул мешок, и из него посыпались соломенная труха, пыль и опилки. Вася присел на корточки и стал рассматривать эту пыль, лежащую на полу.

— Ты что это, Васьк? — спросила Евлампьевна.

— Вот она, — сказал Вася и вытащил из сора пчелу. Он положил её на сундук, а сам принялся нюхать мешок.

— Люди добрые! — напугалась Евлампьевна. — Васька мешок нюхает!

— Погоди, мам, кричать. Ты лучше понюхай, чем пахнет.

— Вот напасть-то! Сроду я мешков не нюхала!

— Да ладно, мам. Ты скажи, чем пахнет.

— Известно чем, — кричала Евлампьевна, — псом паршивым пахнет!

— Да нет, мам, не псом. Ты понюхай.

— Я, Вась, издали понюхаю, — согласилась наконец Евлампьевна и стала нюхать примерно с двух шагов.

— Подойди же ближе, мам, — уговаривал Вася. — Понюхай и в случае чего сразу отскочи в сторону.

Евлампьевна так и сделала.

— Ну что, мам, чем пахнет?

— Известно чем, мешком собачьим.

— Ну нет, — сказал Вася, — мёдом пахнет!

И верно, от мешка пахло мёдом, а ещё воском, пчёлами.

— Вот то-то и оно, — сказал Вася, — мёдом мешочек пахнет. По этому мешку я и найду черноусого!

— Господи, — сказала Евлампьевна, — прости нас и помилуй!

Глава седьмая
Вася бьёт черноусого

Всю неделю не давали Васе в деревне проходу.

— А ну-ка, Вася, — говорили ему, — расскажи, как ты поросят покупал!

Вася мрачно молчал и только старательно учился на механизатора — целыми днями копался в моторе старенького трактора «Беларусь».

Рыжий пёс к Васе привязался и всё время бегал за ним. Был он, видимо, пёс уличный, приблудный.

— Ну и поросёночек! — донимали Васю на улице. — А где же у него пятачок?

— За мной, Матрос! — гордо говорил Вася. Он решил рыжего назвать Матросом и оставить себе, раз уж за него деньги плачены. Кроме того, планировал Вася из этого рыжего Матроса сделать себе друга на всю жизнь.

Пока шла неделя, Вася обдумывал, как бы поймать черноусого. К субботе созрел у него в голове небольшой планчик:

«Заведу-ка я себе тоже усы. Замаскируюсь и поеду на рынок. Подойду к черноусому, скажу:

„Привет!“

„Ах, — скажет черноусый. — Я вас не знаю!“

Но тут я сыму усы и хлоп ему по зубам!»

От старого полушубка отстриг Вася бараньих волос, налепил их на тряпочку. Получились неплохие усы, которые осталось подклеить под нос казеиновым клеем.

«Приду завтра на рынок, — думал Вася, — суну Матроса в мешок и пойду искать черноусого. А как только найду, сразу — раз по зубам!»

Вася прищуривал глаз и покручивал кулаками перед зеркалом, воображая, как будет лупить черноусого. Хрясь! Хрясь!

В субботу утром он взял Матроса на верёвку и пошёл на поезд. Через всю деревню бежали за ним братья Барановы и неприятно хрюкали вдогонку.

Глава восьмая
По следу

А народу на рынке было снова полно. Издали видна была большая толпа. Над толпой покачивалось в воздухе серое облако — пара, пыли, табачного дыма.

Вася отошёл в укромную подворотню и рас-

крыл мешок.

— Полезай! — сказал он Матросу.

Но Матросу даже и глядеть на мешок было противно, он фыркнул и замотал головой.

— Можешь повеселиться в одиночестве, — сказал Вася и кинул в мешок колотого сахару. — А мне ещё надо усы на клей посадить.

Засунув Матроса в мешок, он приладил усы и только тогда вышел из укромной подворотни. Закинул мешок на спину, прищурил глаза, поднял воротник и, воткнувшись в базарную толпу, стал приглядываться направо и налево.

И направо, и налево были всё покупатели и продавцы, и Вася прохаживался по базару, как будто он сыщик. «Я будто бы сыщик, — думал он, — и теперь иду по следу черноусого».

Вася даже нарочно зорко вглядывался в землю и видел много следов от женских туфель, от мужских полуботинок. Одной рукой он придерживал мешок, а другую держал в кармане тяжело и увесисто, как будто бы там лежит наган.

Наконец Вася протолкался в угол, под башенку. И здесь народу было полно.

Какая-то старуха привела продавать бычка. Бычок всё время мычал, а старуха ругала его:

— Не мычи, бычок! Не мычи, говорю, а то не

купят.

Но бычок всё равно мычал, и от его рёва кролики прижимали уши.

Вася глядел туда-сюда, всё выискивал, нет ли черноусого. Иногда казалось, что в толпе мелькает что-то черноусое. Он кидался в ту сторону, но находил какого-нибудь чернобрового или, к примеру, красноносого.

Матрос сидел в мешке спокойно, и только, если прислушаться, можно было разобрать, как он урчит, хрустя сахаром.

Глава девятая
Усы

Самые разные лица и личности крутились на рынке и около. Серые, чёрные, зелёные, голубые глаза глядели на Васю или мимо него. Вася же смотрел в основном на носы и на то, что под ними. Нет ли усов? Но усов попадалось мало и всё больше чепуховые — мышиные хвостики.

Носы были, конечно, гораздо разнообразнее — и свистулькой, и репкой, и фунтиком. У одного дяди нос оказался вычурным, как шахматная фигура ферзь, а у другого такой дивный нос, который иначе не назвать, кроме как рубильник.

Все эти носы совсем запутали Васю.

«Зачем мне они? — думал он, отмахиваясь от носов. — Меня усы интересуют».

Вася и сам покручивал свои усы, как будто он старый усач, типа товарища Будённого.

Вася покручивал усы и щекотал пальцем Матроса, чтоб тому не было совсем уж скучно сидеть в мешке, а сам всё поглядывал по сторонам.

Поглядывать-то поглядывал, а не замечал, что в стороне стоят два человека и тоже рассматривают его.

— Кажись, это он, — сказал один из этих двоих, разглядев Васю, — только усы прилепил, замаскировался.

— А чего ему надо?

— Пришёл за поросятами.

Тут они грубо засмеялись, и второй сказал:

— Смотри-ка, в мешке-то у него что-то шевелится. Наверно, пса туда запхнул!

— Надо нам отсюда смываться.

— Погоди, зачем же? Парень-то лопух — усы нацепил, пса в мешок засунул. Сейчас я ему устрою концерт.

— А не опасно?

— Чего же опасно? Документы у меня в порядке. Сейчас я его навеки отучу поросят искать.

Тут эти два человека пошептались ещё и разошлись в стороны.

«И зачем только люди носят усы? — думал в это время Вася. — Какой в них толк? Нос, к примеру, нюхает, рот жуёт, глаза глядят, а чего делают усы?.. Возьмём, к примеру, таракана, — размышлял он дальше, — вот у него усы на месте. Или Матрос. Обрежь ему усы — он и колбасу не учует. А мне-то зачем усы? Разве для красоты? Но я и так парень ничего себе — нос крупный, глаза маленькие. Я и так, наверно, красивый».

Вася потолкался ещё немного, поискал черноусого, но не заметил ничего похожего.

«Да и то сказать, — думал он, — не такой дурак черноусый, чтоб снова на рынок прийти. Он теперь дома сидит, деньги считает».

Вася выбрался из толпы и остановился у входа, возле стекольщика, который всё покрикивал: «Вот стекло двойное бэмское…»

— Чего у тебя в мешке-то? — спросил стекольщик. — Чем торгуешь?

— Не твоё стеклянное дело.

— Тебе стекла не надо?

— Не надо.

— Напрасно, — сказал стекольщик, — неплохое стекло. К тому же двойное бэмское.

Он достал из заплечного ящика кусочек стекла и чпокнул его два раза ногтем. И стекло сказало: бэмс, бэмс.

Но Вася не слушал.

— Ты скажи лучше, стеклянная душа, черноусого не видел?

— Дак ты сам черноусый, — сказал стекольщик и ткнул Васе пальцем под нос. И так противно ткнул, что Вася обиделся.

Он сердито глянул на стекольщика и увидел, что тот мужчина неприятный: глазки тусклые, стеклянные, спрятались под ржавыми бровями, а лицо — рябое, так изрыто оспой, что напоминает рашпиль, которым обтачивают деревянные болванки.

Вася уже хотел сказать стекольщику что-нибудь тяжёлое, но после махнул рукой и решил двигать к дому.

В этот момент кто-то тронул его за рукав:

— Ваши документы!

Вася оглянулся. Перед ним стоял милиционер с такими огромными рыжими усами, как будто он их отращивал с самого дня рождения.

Глава десятая
Появление гражданина Курочкина

Глаза его мерцали синим светом, на фуражке полыхали кокарда и красный форменный кант, а усы над строгими губами стояли грозно и торжественно, как радуга над рекой. Широкоплечий и сияющий милиционер навис над Васей.

— Документики! — повторил он, протягивая к Васе толстый палец.

— Да они в деревне.

— Тогда пройдёмте.

— Куда это?

— Пройдёмте, пройдёмте.

— Нет, но это куда же?

— Пройдёмте, пройдёмте, — повторил милиционер и уже крепко держал Васю за руку повыше локтя и вёл его куда-то вправо, через толпу, и покрикивал: — Посторонись! Посторонись! Прр-ра-ппу-сти!

Этот усатый милиционер был знаменитый старшина Тараканов. Мелкие рыночные жулики и карманные воры так боялись его, что вместо «старшины» называли «страшиной». Кроме того,

прозывали его Тараканий Ус или просто Тараканиус. Но это, конечно, мелким жуликам не помогало.

— Посторонись! — всё покрикивал старшина и жёсткой рукой подтягивал Васю за собою.

Кокарда на его форменной фуражке ослепительно вспыхивала, как зеркало на лбу врача-носовика.

— Постойте, товарищ милиционер, — притормаживал Вася. — Давайте разберёмся! Я вас не понимаю!

Матрос, который тихо до этого сидел в мешке, вдруг стал взбрыкивать, упёрся в Васину спину, заелозил, заскулил.

— Куда мы то есть? — говорил Вася, совсем запутавшись в таких делах, и не мог ничего сообразить: за руку его дёргал милиционер, в спину толкался Матрос, а вдогонку хихикал стекольщик и прохожие болтали: «Смотри-кось, мелкого жулика повели!»

Старшина Тараканов взвёл Васю на какое-то крыльцо, открыл коричневую дверь, и они оказались в большой коричневой комнате. И не успел Вася разглядеть, что это за комната и сколько в ней народу находится, как на него кинулся какой-то плоский, невзрачный человек, ткнул со

всего маху в бок и завопил:

— Ага! Попался, проклятый!

И трах — кулак этого человека прилип к Васиному носу.

Матрос завыл в мешке, а милиционер сжал Васину руку.

— А ну, — крикнул старшина, — успокойтесь, гражданин Курочкин! Отойдите-сядьте! Разговаривать с применением кулаков законом не дозволено!

И тут Вася увидел, что гражданин Курочкин, этот самый невзрачный и плоский, который накинулся на него, есть не кто иной, как черноусый. Да только под носом у него нету никаких усов — одни губы!

Глава одиннадцатая
Искры из глаз

Круги поплыли у Васи перед глазами — кривые, в красную крапинку. И в кругах этих торчал черноусый, у которого не было теперь усов. Он издали показывал на Васю пальцем и кричал:

— Это он! Я узнаю его!

Старшина Тараканов по-прежнему держал Васю повыше локтя и тянул его в угол, где стояла

лавка, похожая на жёлтое пианино. Вася сел, а мешок поставил в ноги. Матрос, видно, почувствовал, что дела идут неладные, свернулся в мешке и лежал неподвижно, как пять кило картошки.

— Рассказывайте по порядку, Курочкин, — сказал старшина, обернувшись к черноусому, у которого не было теперь усов.

— Сейчас, — сказал Курочкин, волнуясь. — Попью только.

Он подошёл к настольному графину и попил, булькая горлом, как голубь-горлица.

— Прошлое воскресенье, — сказал Курочкин, попив, — я купил поросят, как раз вот у этого типа. Приехал домой, гляжу — в мешке пёс. Он, рожа кривая, мешки подменил, пока я деньги считал.

— Чего? — крикнул Вася, вскакивая с лавки. — Кто купил? Ты купил?!

— А ну-ка сядь! — сказал старшина, хватая Васю за плечо. — Сядь! Разберёмся!

Он подождал, пока Вася усядется, и дальше спрашивал Курочкина:

— Какой именно был в мешке пёс? Какой породы?

— Бандитской породы, — ответил Курочкин и

поглядел на Васю. — Весь мохнатый.

И Вася тоже поглядел на Курочкина. Нет, не было у него теперь усов, голые губы синели под курочкинским носом и шевелились, выговаривая слова. А по словам этим выходило всё наоборот, как будто Вася обманул Курочкина и подсунул пса вместо поросят.

«Вон как, — думал Вася ошеломлённо, — вон как честного Васю обвиняют!»

У Васи заныла голова. Он сидел на лавке тупо и неподвижно, как сидел бы фонарный столб.

«Ну ладно, — думал Вася, — болтай, болтай, Курочкин. Я пока помолчу, а потом и открою рот. Погоди, куриная слепота, только закроешь рот — я свой живо открою!»

Но рта открыть не удавалось, потому что Курочкин своего никак не закрывал, он молол и молол, как приехал покупать поросят, а Вася его обманул.

Поскрипев пером, старшина наконец поставил точку.

— Фамилия?

Вася сказал.

— Где проживаете?

Вася отвечал, а сам глядел на старшину. Он старался глядеть так, чтобы не бегали глаза, чтоб

Тараканов понял, что Вася — невинная душа. Но ничего не получалось — глаза у Васи бегали, он краснел и пугался, и старшина Тараканов, как видно, понял, что душа у Васи чёрная.

К тому же в столе у старшины Тараканова лежала секретная бумага со странным названием «ориентировка». В этой бумаге было написано, что на свете появился мошенник с чёрными усами, который продаёт пса за поросят. И вот теперь старшина Тараканов глядел на Васю, радостно понимая, что он этого мошенника поймал.

— Так ли всё было, как рассказывает гражданин Курочкин?

— Всё было наоборот.

— Знаешь что, — сказал старшина, ослепляя Васю кокардой. — Ты лучше чистосердечно признайся, положа руку на сердце.

— Да я чистосердечно, — ответил Вася, кладя руку на сердце. — Это сам Курочкин был с усами. У меня-то они не растут.

— А это что? — спросил Тараканов, указывая Васе под нос.

— Это не усы, — напугался Вася, — это от шубы отстрижено!

Вася подёргал за усы, и они отвалились.

— Так-так, — насмешливо сказал старшина, — а

в мешочке у вас что?

— Матрос, — пришибленно ответил Вася.

— Ну-ка, поглядим, что за матрос.

Присев на корточки, старшина развязал верёвку.

Матрос вылез из мешка. Он встряхнулся как следует, окутавшись на миг облаком пыли.

— Ишь ты! — сказал старшина и ткнул Матроса пальцем. — В мешок залез!

Матрос огрызнулся — и палец милицейский налился кровью.

И тут Матрос получил такого пинка, что у него из глаз искры посыпались. Разбрызгивая эти искры и завывая, он вылетел в дверь и, как рыжее лохматое колесо, укатился куда-то в сторону железнодорожного депо.

Глава двенадцатая «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые...»

Дело пошло быстрее быстрого.

У Васи отобрали усы и мешок, сунули всё это в несгораемый шкаф и замкнули секретным ключом. Потом строго взяли за плечо и отвели в какую-то мрачную комнату.

— Посидишь, — сказали и заложили дверь засовом.

Вот как повернулось дело. Никак не думал Вася, когда приклеивал усы, что это его погубит. Никак не думал, что зря сажает Матроса в мешок. Печальный стоял теперь Вася посреди комнаты, узенькой, как шкаф-гардероб.

На деревянной лавке, которая тянулась вдоль стены, сидел человек с лицом неспелого цвета и что-то мычал. Вася не сразу понял, что человек поёт, но постепенно стал различать слова:

Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

Взгляни, быть может, в последний раз...

Вася поглядел в глаза певцу, но ничего особо сурового в них не увидел — так, серая муть, голубая чепуха.

— Ты кто такой? — спросил вдруг певец тяжёлым голосом.

— А ты? — насторожился Вася.

— Чего? Кто я такой? Да если я скажу, ты умрёшь от страха! Меня вся Тарасовка знает! Понял? Туши свет!

— А меня все Сычи знают.

— Туши свет! Меня Рашпиль знает! Я знаешь

кто?

— Кто?

Тут человек, которого знала вся Тарасовка, наклонился к Васе и сказал таинственно:

— Я — Батон! Слыхал?

— Слыхал, — сказал Вася, хотя ничего подобного он раньше не слышал.

— То-то! — грозно сказал Батон. — Туши свет!

— А я знаешь кто?

— Кто?

— Я Вася Куролесов! Слыхал?

— Слыхал, — неожиданно сказал Батон и протянул руку. — Здоро́во!

Вася подал руку, и тут же Батон сжал её с оглушительной силой. Вася поднатужился и тоже крепко сжал батонскую руку. Тот ещё напрягся, и Вася поднадавил. Они жали руки с такой силой, что, окажись там, внутри рукопожатия, медный шарик, он бы, конечно, расплющился.

От напряжения рыхлое лицо Батона налилось кровью. Он был и вправду похож на большой белый батон, одетый в брюки. Живот его был кругл, а голова маленькая, как и полагается батону.

— Тебя за что взяли? — спросил он, отъединяя свою руку от Васиной.

— За поросят.

— Я тоже, помню, как-то на телятах погорел. А сейчас сижу по глупости: одному пинджаку рога посшибал.

— За что же? — спросил Вася.

— Он мне на ногу наступил.

Вася невольно поглядел на эту ногу и увидел, что нога очень крупная, в ржавых ботинках на микропоре. Подробно осмотрев ногу, стал Вася оглядывать комнату. Скучной оказалась комната: стены её окрашены были коричневой краской, а высоко под потолком вполнакала горела маленькая электрическая лампочка. Она немного помигала и потухла. И тогда Вася понял, что на улице уже вечер, целый день прошёл и принёс одни неприятности.

Стало совсем темно. Через узкое окошко не видно было ничего, чуть-чуть в нём серело, и слышен был какой-то невнятный шум и гудок далёкой электрички.

«Погиб я, — думал Вася, ложась на лавку, — теперь никак не докажешь, что я не вор. Матрос в мешке — вот что меня доконало. Эх, грустные дела».

Вася представил, как будет плакать мама Евлампьевна, выйдя его провожать в дальнюю сибирскую дорогу, станет махать платочком и

совать ему в руки узелок с ватрушками.

Тихо-тихо, чтобы не услышал Батон, стал Вася плакать, и сквозь слёзы замычал он песню:

Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

Взгляни, быть может, в последний раз...

Часть вторая
Водопроводчики
Глава первая
Нос уточкой

Утро в Карманове долго не наступало.

Так бывает в небольших подмосковных городах — долго не наступает утро. Над Москвой уже солнечное зарево, уже пожарная сокольническая каланча позлащена восходом, а в Карманове ещё темнота, темнота — ночь.

Вася проснулся затемно и долго слушал, как сопит Батон. В предутреннем сне тот громко высвистывал носом, и кажется, любимую мелодию:

Взгляни, взгляни в глаза мои суровые…

Рассвело.

И скоро зашевелилась входная дверь, заныли железные петли — дверь приоткрылась, будто зевнула. В щель выставились сонные усы старшины Тараканова.

— Куролесов, выходи.

Васю снова привели в дежурную комнату. Там у окна, прислонясь к несгораемому шкафу, стоял какой-то человек в сером костюме.

По привычке Вася поискал на его лице усы, но не нашёл. Зато нашёл нос, кривой и крылатый, широкие медные щёки и прищуренные глаза цвета маренго.

Человек в сером костюме навёл на Васю свои глаза и спросил:

— Этот самый?

— Так точно, — ответил старшина, кивая на Васю. — Под носом — искусственные усы, в мешке — пёс.

Серый костюм внимательно пригляделся и вдруг подмигнул Васе: что, мол, попался?

— Так точно, — толковал старшина. — Так точно, товарищ Болдырев, этот самый и есть мошенник. Усы под носом, пёс в мешке.

«Вот это фамилия! — подумал Вася. — Болдырев! Как будто самовар в воду упал. Наверно, начальник!»

— Не может быть, чтоб этот самый, — сказал между тем Болдырев, внимательно глядя на Васю.

— Да как же, товарищ капитан?.. — забеспокоился старшина. — Усы-то под носом!

— Уж не знаю как, — ответил капитан Болдырев. — Приметы не совпадают. Мошенник, которого мы ищем, пожилой, а этот слишком уж

молод. Ну-ка, парень, рассказывай, зачем ты усы прилепил?

— Для маскировки. Он лепит, и я буду лепить!

— Рассказывай по порядку, — серьёзно сказал капитан. — С самого начала. И чтоб всё было ясно.

Всё время, пока Вася рассказывал, капитан хмыкал и пронзительно глядел на старшину.

— М-да, — сказал он потом, — дела неважные. Что-то вы, товарищ старшина, напутали. Расскажите, какой из себя Курочкин.

— Невысокого роста, пожилой, — отвечал старшина Тараканов и вдруг побледнел. — Нос уточкой.

— Какой нос?

— Уточкой, — повторил старшина, бледнея всё больше.

— Ну вот, — сказал капитан Болдырев. — И нос уточкой. Приметы сходятся, а усы он сбрил. Этот Курочкин и есть тот самый человек, которого мы ищем.

— Да как же?.. — растерянно твердил старшина. — Он же паспорт показал, живёт в Перловке, сторож картофельного склада.

— Паспорт поддельный, — строго сказал капитан. — А картофельного склада в Перловке сроду

не было.

Глава вторая
Телеграмма

Да, вот какие получились дела. И в голову не пришло старшине Тараканову, что Курочкин и есть тот самый мошенник, а Вася — простой человек.

— Да, — сказал капитан Болдырев, глядя на старшину нестерпимым взглядом, — вон какие получились дела.

Старшина открыл секретным ключом несгораемый шкаф, вынул оттуда мешок и усы, подержал печально их в руках и протянул Васе:

— Возьмите, гражданин.

— Что за мешок? — спросил капитан.

— Ихний мешок, — ответил совсем расстроенный старшина. Усы его поникли, как спортивные флаги под дождём.

— Это не мой мешок. Это мешок вашего Курочкина. А вот усы мои.

— Интересно, — сказал капитан, разглядывая мешок. Он постелил на стол лист чистой бумаги и потряс мешок. Всякая труха посыпалась оттуда. Тут же капитан — чик-чик — свернул труху в

кулёчек и сунул в нагрудный карман.

«Рассматривать, наверно, потом будет, — подумал Вася, — под микроскопом».

— Вы понюхайте мешок, — сказал он капитану.

— А что? Пахнет?

— Ещё как!

— Верно, — сказал Болдырев, понюхав. — Запах есть. Только не пойму, чем пахнет. Не укроп ли?

Старшина Тараканов тоже протянул к мешку нос и несколько раз понюхал.

— Запах есть, — сказал он, — только тонкий запах. Я его не пойму. Это, наверно, мимозы.

— Ничего тонкого, — сказал Вася. — Запах мёда.

— Мёд? — удивился Болдырев. Он снова взял мешок в руки и принялся пристально нюхать.

— И ещё я в нём пчелу нашёл, — сказал Вася, — а другая была у пса в ухе. Вот я и думаю: по этим приметам можно найти Курочкина.

— Во парень! — удивился Тараканов. — И носом чует, и головой работает.

— Молодец, — подтвердил капитан Болдырев, — ты, я вижу, сообразительный.

— Маленько мерекаю, — ответил Вася с достоинством.

В этот момент дверь в дежурную комнату распахнулась, и вошёл рядовой милиционер по фамилии Фрезер.

— Товарищ старшина! — сказал он. — Вам срочная телеграмма.

Тараканов разорвал бланк и прочёл телеграмму:

Тараканову большой привет гражданина Курочкина.

Глава третья
Допрос Матроса

«Устал как собака, — думал Вася, выходя из милиции, — и не выспался».

В милицейском палисаднике и на улице, за забором, было пусто. Только одинокий кармановский гусь бродил среди луж.

Поглядев на гуся, Вася так зевнул, что у него всё в глазах перевернулось, а когда всё снова установилось, гусь уже мчался, гогоча, по лужам, а вслед за ним — рыжая рычащая фигура с обрывком верёвки на шее.

Загнав гуся под милицейский мотоцикл, фигура эта направилась к Васе и улеглась у его ног,

хлопая хвостом по одуванчикам.

— Привет! Кого я вижу!

Матрос повалился на бок, и Васе пришлось почесать ему живот. Он почёсывал его, разглядывая обрывок верёвки.

— Блохи? — послышалось за спиною. Капитан Болдырев вышел на крыльцо и разглядывал Матроса.

— Да нет, — сказал Вася, — собаки любят, когда им брюхо чешут.

— Да? — удивился капитан. Он хмыкнул, присел на корточки и тоже стал почёсывать Матроса.

— Да, — подтвердил Вася, — а я вот ни за что не дал бы себе брюхо чесать.

Матрос совсем, видно, обалдел от счастья, от того, что его чешут сразу два человека. Старшина Тараканов строго смотрел на всё это дело в окно.

— Видите верёвку? — спросил Вася капитана. — Я её на Матроса не цеплял. Видно, Курочкин снова его приманил, когда я в милиции сидел, и посадил на верёвку. А Матрос её перегрыз и ко мне вернулся. Кому же приятно свинью изображать?

— М-да… — сказал Болдырев. — Значит, Матрос порвал с преступным миром. Решил начать новую жизнь. Это неплохо. А всё-таки надо бы его судить да ещё и посадить годика на три.

— Ну нет, — сказал Вася, — Матрос — честный пёс. Это Курочкин виноват.

— А зачем он хрюкал? Собака лаять должна. Наверно, он тренированный.

— Да не хрюкал он, — сказал Вася. — Он молчал и вроде скулил, а мне казалось — похрюкивает.

— Лаять надо было, — строго сказал капитан.

— Его мешок оглоушивает, — пояснил Вася. — Сунешь его в мешок — он и замолкает.

— Ну может быть, и так, — добродушно сказал капитан, — а всё же надо бы попробовать.

— Чего попробовать? — не понял Вася.

— Попробовать… не наведёт ли он нас на след. Курочкинский.

Глава четвёртая
Матрос наводит на след

Первым делом Вася дал Матросу понюхать мешок:

— Ищи, Матрос, ищи! Где Курочкин?

Матрос виновато заскулил и лёг на землю, ожидая, видно, что ему снова будут чесать живот. Но ему подсунули мешок.

— На, Матрос, на! Нюхай мешок! — приставал к нему Вася.

Матрос сопел и из уважения к Васе нюхал мешок.

— Э-э, — сказал капитан, — так дело не пойдёт. Чего ему зря нюхать мешок? Он в нём сидел, нанюхался.

— Пчёлы! — вспомнил тогда Вася. — Пчёлы, Матрос! Вжу-вжу, вжу…

Вася жужжал, шевелил по-пчелиному пальцами и чуть ли не летал над Матросом. Тот не знал, куда деваться: то подпрыгивал на месте, то начинал брехать.

— Чепуха, — сказал капитан Болдырев, — ничего не получится. Дворняга есть дворняга.

Он подошёл к Матросу и вдруг топнул ногой и крикнул:

— Домой!

От неожиданности Матрос прижал уши.

— Домой! — повторил Болдырев. Он сверкнул глазами и снова топнул с такой силой, что земля затрещала.

— Домой! Домой! — подхватил Вася.

Он тоже затопал ботинками и попытался сверкнуть глазами. Получилось это у него не так мощно, как у капитана, но Матросу, видно, всё-таки не понравилось, что на него сверкают и топают. На всякий случай он побежал куда-то,

всё время оглядываясь.

Вася и Болдырев побежали за ним.

Матрос сворачивал с одной улицы на другую, пробегал проходными дворами, и вскоре они оказались на окраине города Карманова, в редком сосновом лесу. Здесь стояли дачи за голубыми и серыми заборами.

Матрос остановился у забора, сбитого из разнокалиберных досок и штакетин. Кое-где его подлатали ржавой жестью — специально, чтоб не было за ним ничего видно.

Матрос сел у калитки, поджидая Васю и Болдырева.

— Чего уселся? — крикнул Вася, подбегая.

Матрос заскулил и лёг на землю.

— Домой!

И тут Матрос, видно, совсем обиделся. Он чихнул и, поджав хвост, юркнул в дырку под забором.

— Так, — сказал Болдырев. — Надо поглядеть, что там делается.

Он приоткрыл калитку, и тут же раздался звонкий и злобный лай.

Очутившись за забором, Матрос преобразился.

Как рыжий горячий дьявол, он налетел на капитана и вцепился в ботинок.

— Молчи! — сказал Болдырев, дёрнув ногой.

Матрос отлетел в сторону и плюхнулся в клубнику.

— Смотрите-ка, — сказал Вася, схватив капитана за рукав. — Ульи.

Между яблонями, на взрыхлённой земле, стояло пять ульев, выкрашенных зелёной краской.

— Ну что ж, — сказал Болдырев. — Похоже, он привёл нас куда надо.

По тропинке, мимо сарая, мимо поленницы дров, капитан пошёл к дому, который виден был за кустами смородины. Вася шагал за ним. Он старался шагать смело и уверенно, но шажки получались мелкие, куриные. Поднявшись на крыльцо, Болдырев стукнул в дверь.

— Кто там? — сразу послышалось за дверью.

И в этот самый момент Васе захотелось отличиться. Прежде чем капитан успел открыть рот, Вася брякнул вдруг басом:

— Водопроводчики!

Болдырев так глянул на Васю, что у него сердце остановилось.

— А чего вам надо? — слышалось между тем за дверью.

— Водопровод хотим починить, — робко сказал Вася и совсем стушевался.

— А у меня нету водопровода, — сказал голос за дверью. — У меня — колодец.

— Ну давай колодец починим, — раздражаясь, сказал капитан.

— А чего его чинить! Он и так качает.

Говорить вроде было больше нечего. Болдырев снова вонзил свой взор в Васю, подержал его немножко в Васиной душе, а потом вынул.

— Ладно, — сказал он, — открывайте. Мы из милиции.

— Из милиции?

— Ага.

— Тогда покажите документ.

— Как же мы его покажем? Дверь-то закрыта.

— Ничего-ничего, показывайте. Я в щёлочку увижу.

— Вот дьявол! — рассердился Болдырев. Он достал из кармана красную книжечку и развернул её. — Ну что? — спросил он. — Видно, что ли?

— Немножко левее, — сказали за дверью.

Болдырев передвинул книжечку левее, и тут же над головой его раздался гром, дверная доска расщепилась, с пороховым огнём вылетела на улицу пуля и, взвизгнув, улетела по направлению к Москве.

Глава пятая
Руки вверх!

Пуля только ещё пробивала дверь, только ещё высовывала наружу свою медную змеиную головку, а Болдырев и Вася уже махнули с крыльца.

Вася грянул на землю и укатился за цветочную клумбу, а Болдырев врос в стену дома, прижался к ней так крепко, будто его приколотили гвоздями.

Он вытащил из кармана чёрный пистолет, похожий на записную книжку.

Услышав выстрел, Матрос подпрыгнул на месте, повис на миг в воздухе, а опустившись на землю, бросился бежать с такой скоростью, будто хотел догнать пулю.

Добежав до ближайшего пруда, он плюхнулся в грязную воду, безумным стилем баттерфляй переплыл на другой берег и навеки затаился в крапиве.

— Эй, водопроводчики! — послышалось за дверью.

Вася и Болдырев молчали, окаменев.

— Эй! Водопроводчики! Что ж молчите?

— А чего ты стреляешься? — ответил Вася.

— Ха-ха! — сказал человек за дверью. — Водопровод починять больше небось не станете…

— С тобой починишь, — сказал Вася, оглядываясь на Болдырева, который потихонечку подвигался к углу дома.

Вася понял, что Болдырев хочет зайти с тыла, ударить через окно.

— А почему я вас в щёлочку не вижу? — спросил неизвестный. — Что вы, спрятались, что ли?

— Мы на землю залегли, — сказал Вася. — Боимся.

— Вы уж лучше так и лежите, а то я всех перестреляю.

— Ладно, — сказал Вася, — полежим пока. Земля не очень сырая. В самый раз картошку сажать.

Болдырев уже скрылся за углом, и человек за дверью замолчал, затаился, видно, придумывал что-то. Может быть, заметил Болдырева?

Проползла минута. И тут раздался треск, звон разбитого стекла, и откуда-то из глубины дома долетел до Васи крик:

— Руки вверх!

Дверь вздрогнула, заскрипела, кто-то бухнул в неё изнутри. Запели несмазанные петли, и на крыльцо выскочил человек с пистолетом в руке.

Вася зажмурился.

Глава шестая
Три богатыря

На крыльце стоял капитан Болдырев.

А дом был пуст.

То есть, конечно, в нём была печка, были стол, стул, шкаф, тумбочка. На столе стояла сковородка, в которой имелись остатки жареного мяса, а на стенке висела маленькая картина «Три богатыря».

Всё это было. Не было только человека. Того, что стрелял. Исчез.

Когда капитан разбил окно и крикнул: «Руки вверх!» — дом был уже пуст.

Болдырев обошёл весь дом неслышным милицейским шагом, заглянул в шкаф и под кровать.

Вася шёл за ним, каждую минуту ожидая пулю в лоб. Но пули не было, и человека, который только что стрелял, не было.

— Ушёл, — сказал Болдырев. — А как ушёл? Окна закрыты. Постой! Что это над печкой?

Над печкой, прямо в потолке, виден был люк, который вёл, очевидно, на чердак.

По приставленной к печке лесенке Болдырев

дотянулся до люка.

— Эй! — крикнул он. — Вылезай!

Никто не ответил, и тогда Болдырев потихоньку полез наверх. Вот в люк ушла его голова, вот уже только ботинки капитанские торчат под потолком. Вася остался в комнате один.

Бух-бух!.. Что-то тяжело загромыхало над головой. Болдырев ходил по чердаку, и шаги его глухо отдавались в потолке. Но вот и они затихли.

Васе стало совсем неприятно.

«Проклятый Курочкин! — думал он. — В какую историю меня втравил! Чуть пулю в лоб не схлопотал, а теперь вот сижу неизвестно где. Того гляди, сейчас кто-нибудь ножом ахнет. Вылезет из погреба какой-нибудь косматый! Болдыреву на чердаке небось хорошо. Чего он там сидит? Слезал бы! А то сейчас войдёт кто-нибудь».

Совсем тихо стало, а в комнате не было даже и часов-ходиков, чтоб оживить тишину.

Вася присел на краешек стула и тревожно стал разглядывать картину «Три богатыря».

Пристально смотрел с картины Илья Муромец, поставив над глазами ладонь козырьком.

«Что ты делаешь в чужом доме, Вася? — спрашивал вроде Илья. — Зачем влез ты в эту историю?»

«Глупо, Вася, глупо», — говорил будто бы и

Добрыня, равнодушно взглядывая в окно, где виднелись яблони и ульи между ними.

Алёша Попович глядел печально. Единственный из троицы он, кажется, Васю жалел.

Скрип-скрип… — заскрипело что-то на улице. Это запели ступеньки, и у Васи охладело сердце.

На крыльце послышались шаги.

Глава седьмая
Йод из Тарасовки

Медленно-медленно приоткрылась дверь, и тут же сердце Васино ахнуло и полетело куда-то в глубокий колодец. Вася — хлоп-хлоп — прихлопнул его ладонью, пытался удержать на месте, но не сумел.

Дверь распахнулась пошире, и стал виден человек в сером костюме, а Вася уже и сообразить не мог, кто это.

— Жив? — спросил капитан, прикрывая дверь.

Вася молчал. Он всё ещё соображал, как же это так: улез на чердак, а вошёл в дом с улицы?

— Видишь, какие дела, — сказал Болдырев, — через люк над печкой неизвестный попал на чердак, а к чердаку с той стороны дома приставлена лестница. По ней он и ушёл.

— Куда ушёл?

— Откуда я знаю! — сказал Болдырев и махнул рукой.

И вот, когда Болдырев махнул рукой, Вася наконец успокоился, сердце его шмыгнуло на своё законное место, точь-в-точь кошка, которая вбегает в дом с мороза и первым делом — на печку.

— Что же будем делать? — бодро уже спросил Вася.

— А! — сердито сказал Болдырев. — Упустили! Теперь его не найдёшь! А тебя кто просил влезать со своими «водопроводчиками»? Кто?

— Не знаю.

— «Водопровод хотим починить»! — передразнил Болдырев. — Если ещё раз сделаешь что-нибудь без разрешения, пиши пропало.

— Пишу, — сказал Вася, моргнув.

Капитан прошёлся по комнате, заглянул зачем-то ещё раз под кровать. Потом взял с подоконника пепельницу, сделанную в виде фиолетовой рыбки, и стал рассматривать окурки-бычки, которые лежали в ней.

Вынув из кармана целлофановый пакетик, капитан аккуратно сложил туда окурки.

С удивлением смотрел Вася на такие действия.

Капитан тем временем открыл тумбочку, сто-

ящую у кровати. В тумбочке тоже не нашлось ничего особенного. Болдырев вынул мыло, повертел его в руках — «Детское», потом достал бритву. Бритва как бритва — безопасная. За бритвой показался из тумбочки маленький пузырёк тёмно-коричневого стекла.

Болдырев принялся рассматривать этот пузырёк, крутя его в пальцах.

— Как думаешь, — спросил он, — что это?

— Йод, — сказал Вася. — Каким раны мажут.

— Откуда он?

— Из тумбочки.

— Прочти этикетку.

На этикетке было написано: «Тарасовская аптека. Настойка йода».

— Ну и что? — спросил Вася.

— Ничего, — ответил Болдырев. — Йод из Тарасовки.

— Ну и что?

— «Что» да «что»! — рассердился Болдырев, засовывая пузырёк в карман. — Запомни, и всё! Может пригодиться.

— Да зачем нам йод? Пуля-то мимо пролетела.

Болдырев открыл рот и, видимо, хотел сказать что-то сердитое, но вдруг закрыл рот и приложил к губам палец:

— Т-ш-ш-ш…

На крыльце послышались шаги.

Глава восьмая
Рашпиль

Ступеньки перестали скрипеть — человек на крыльце остановился.

— Ох, — сказал он, отдуваясь.

Потом донеслось звяканье ключей и бормотанье:

— Хлеба взял, соли взял, бутылку взял. Надо было бы воблы взять, да где ж её возьмёшь?

Он замолчал и всё звенел ключами, никак, видно, не находя подходящего.

— Что это? — послышалось вдруг на крыльце, и в дырке от пули что-то зашебаршилось.

В неё всунулся заскорузлый палец, и Васе захотелось схватить его, но палец, покрутившись, ушёл обратно.

— Воры! — закричал человек на крыльце. — Дырку просверлили!

Дверь распахнулась, и в комнату влетел человек. Он выскочил на середину комнаты, размахивая сумкой-авоськой и тяжело сопя, и тут же у Васи над ухом грянуло:

— Р-Р-РУКИ ВВЕР-Р-РХ!

Вася даже не понял, что это крикнул Болдырев, таким страшным показался капитанский голос. Он рявкнул с силою пароходной сирены. От этого ужасного и неожиданного звука человек выронил авоську, ахнула об пол бутылка, а руки вошедшего вздёрнулись вверх так резко, будто он хотел подтянуться на турнике.

Болдырев тут же подошёл к нему сзади и, похлопав его по карманам, вытащил оттуда ключи и пачку папирос «Беломор».

Не опуская рук, вошедший обернулся. И лицо-то его оказалось знакомым — рябое, изъеденное оспой.

«Стекло! — вспомнил Вася. — Двойное бэмское!»

— Рашпиль! — сказал Болдырев. — Старый знакомый! Можешь опустить руки.

Стекольщик, по прозвищу Рашпиль, опустил руки. Глаза его были глубоко упрятаны под бровями и глядели оттуда, как мыши из подвала.

— Смотри, Вася, — говорил Болдырев, — вот это Рашпиль, старый вор, который сидел в тюрьме триста или четыреста раз.

— Два, — глухо проворчал стекольщик, а потом ткнул в Васю пальцем: — Эта морда мне тоже

знакомая.

— Что ты здесь делаешь, Рашпиль?

— Как — что, гражданин начальник? Домой пришёл.

— Это твой дом?

— А чей же? И дом, и сад, и ульи — всё моё. Наследство от родителя, Иван Петровича. Помер родитель. Добрый был.

— Жаль родителя, жаль Иван Петровича, — сказал капитан. — Значит, дом теперь твой. А кто же стрелял?

— Да мне откуда знать, гражданин начальник? Я в магазине был. Пришёл — дырка.

— Интересно получается, — сказал Болдырев. — Дом твой, а кто был в доме, ты не знаешь. Я бы на твоём месте подумал.

— Чего мне думать? — ответил Рашпиль. — Пускай лошадь думает, у ней башка большая.

— Ну, если не хочешь думать, тогда пошли.

— Куда?

— Куда надо.

Тут Рашпиль спрятал глаза под бровями, и теперь стало казаться, что у него вообще нету глаз, как, например, у репы.

— Может, жилец стрелял, — сказал он хрипло.

— Какой жилец?

— Да на рынке один попросился ночевать, я его и пустил. Сам-то я в магазин пошёл, а он дома остался. Прихожу — дырка.

— Как звать жильца?

— Васька.

— А фамилия?

— Фамилию-то я чего-то плохо помню. На букву «К» вроде.

— Курочкин? — влез в разговор Вася.

— Не-не, другая какая-то. Постойте, Кулоресов. Точно: Васька Кулоресов.

— Ага, — сказал Болдырев. — Вот как выходит. Ну ладно, гражданин Рашпиль. Сиди дома, никуда не выходи. Понял?

Он широко распахнул дверь и уверенно пошёл по садовой дорожке. Вася по-солдатски повернулся на каблуках и пошёл следом, глядя в затылок капитана.

— Только не оглядывайся, — тихо сказал Болдырев.

— Почему? — спросил Вася, когда они уже вышли на улицу.

— Человек, который уверен в себе, никогда не оглядывается.

Вася шагал вслед за Болдыревым, крепко ударяя ботинками в землю, как человек, уверенный

в себе. Но на самом деле он совсем не был в себе уверен.

Глава девятая
Каша в голове

Отойдя с полсотни шагов, Болдырев завернул за угол и остановился. Он достал из кармана чёрную записную книжку, похожую на маленький пистолет, и стал что-то быстро писать. Потом выдрал листочек.

— Пулей в милицию! — сказал он. — Отдашь записку Тараканову.

— А вы?

— Я здесь останусь.

Зажав записку в руке, Вася побежал по дороге. Сначала он бежал медленно, но потом разогнался и в милицию действительно ворвался пулей.

Тараканов сидел за столом в дежурной комнате. Размеренно и важно, с достоинством и с интересом старшина ел бутерброд.

— Записка! — крикнул Вася. — От капитана!

Одной рукой старшина взял у него записку, а другой по-прежнему ел бутерброд. Он стал читать медленно и вдумчиво.

— Так, — сказал он, дочитав записку и доев

бутерброд. — Всё ясно.

Секретным ключом старшина открыл несгораемый шкаф и достал оттуда пиджак-букле и соломенную шляпу, потом аккуратно снял форменный китель и фуражку. Переодевшись, старшина стал неузнаваем. В пиджаке-букле и в шляпе он был похож на сельскохозяйственного агронома с авторучкой в нагрудном кармане.

— Сиди здесь! — сказал он Васе и вышел, скрипя хорошо начищенными сапогами.

«Как это так: сиди здесь? — подумал Вася, усаживаясь на лавку. — Там дела делаются, а я сиди здесь! Встану сейчас да и отправлюсь следом. Чего я буду зря сидеть?» Но всё-таки он сидел, не решаясь нарушить приказ, и только прислушивался к тому, какая каша варится у него в голове. А каша варилась в ней действительно странная. Кто стрелял? Зачем стрелял? Почему Болдырев вдруг ушёл?

Вася пытался разобраться в этой каше, но ничего не получалось. Тогда он плюнул и стал думать о другом.

«Мама-то Евлампьевна, наверно, с ума сходит. Думает: где мой Вася? А Вася в милиции сидит. А куда, интересно, пропал Матрос? Наверно, совсем обиделся. Там его в мешок суют, здесь ногами

топают».

Скрипнула дверь. В комнату вошёл Болдырев.

— Ну, — сказал он, — так кто же всё-таки стрелял?

— Курочкин.

— Почему думаешь?

— Так я его по голосу узнал.

— Хорошо, — сказал Болдырев, — теперь давай думать, кто был в комнате, когда мы постучали.

— Курочкин.

— А где был Рашпиль?

— В магазине.

— Почему думаешь?

— Он сам сказал.

— Мало ли что он сказал! А почему на столе лежали две вилки? Нет, парень, Курочкин и Рашпиль — одна компания. Они оба были дома, и мы застали их врасплох. С перепугу Курочкин выстрелил. Потом они удрали.

— А зачем же Рашпиль вернулся?

— Вот я и думаю: зачем?

— А может быть, — сказал Вася, — они в доме позабыли что-нибудь?

— Ну молодец, — сказал Болдырев. — Конечно, они оставили что-то важное. Скорей всего деньги.

Болдырев прошёлся по комнате, внимательно посмотрел на план города Карманова, висящий над столом.

— Но Курочкин — это гусь. С пушкой ходит. Это важный преступник. У него дела покрупнее, чем твои поросята. Кстати, ты уверен, что слышал его голос?

— Ещё бы! Я этого Курочкина теперь за километр узнаю и по голосу, и не по голосу.

— А в темноте узнаешь?

— Я его с закрытыми глазами узнаю. Только понюхаю и сразу скажу: вот он, Курочкин.

— Ай да парень! — насмешливо сказал Болдырев. — Всем хорош, только водопроводчиком объявился. Ну ладно, сегодня вечером будешь нюхать.

Глава десятая
Засада

День-то почти что уж кончился.

Незаметно подплыли сумерки, за ними подвалил вечер. В домиках за деревьями загорелись настольные лампы — ночь наступила.

Ещё в сумерках Болдырев с Васей снова пришли к дому Рашпиля. Осторожно приоткрыв калитку,

капитан вошёл в сад. Вася за ним. У поленницы дров капитан остановился и сказал негромко:

— Докладывайте.

— Всё в порядке, — неожиданно ответили дрова глухим еловым голосом, — пташка в клетке. Нет ли чего-нибудь пожевать?

— Подкрепляйтесь, — сказал капитан и сунул в поленницу бутерброд, завёрнутый в газету.

Дрова тихонько заворчали, шелестя газетой.

— Стань у сарая, — сказал Болдырев Васе, — и гляди в оба. Только не вздумай чего-нибудь делать. Стой, смотри и молчи.

— А если меня будут резать?

— Тогда кричи, — сказал Болдырев и растворился где-то за кустами смородины, за пчелиными ульями.

Вася стоял, прислонившись спиной к сараю. Справа от него была поленница дров, слева — смородина и помойка, прямо перед Васей — яблони и ульи, а за ними — дом.

В темноте Рашпиль выходил несколько раз на крыльцо, кашлял, ругался, законопачивал дырку от пули, наверно, бутылочной пробкой.

Где Болдырев, Вася не знал. Видно, пристроился поудобней, чтоб в окно глядеть.

В окно-то глядеть, конечно, интересней. А тут

стоишь спиной к сараю и только дрова видишь, а смородину и помойку уже и не видно. Так, что-то сереет, что-то чернеет, а что это — не разберёшь.

«Надо было домой ехать, — думал Вася, — мама Евлампьевна совсем, наверно, извелась. Сидит на завалинке и плачет». Да и как не плакать: Вася-то у ней один. Может, убили Васю! Прижали в тёмном углу, сняли пиджак, часы «Полёт»…

Вспомнив маму, Вася совсем загрустил и бессмысленно смотрел теперь на поленницу дров, уже не различая, где берёзовые дрова, а где сосновые. Нет, конечно, берёзовые дрова были пока видны, но слабо, бледно, невыпукло. Кора-то белела, а вот чёрточки на ней растворились.

«Слились чёрточки, — думал Вася, — пропали во тьме. А я стою один, у сарая. Ну и жизнь!»

Спина Васина стала потихоньку замерзать — то ли сарай её холодил, то ли сама по себе.

Но скорей всего, виноват был сарай. Он совсем к ночи охладился.

Что-то зашуршало в сарае. Ясное дело — мышь. Пожрать пошла.

День спала в опилках, а ночью тронулась. Куда её несёт? Спала бы.

Шуршит и шуршит. А может быть, это не мышь? А что-нибудь покрупнее! Вроде человека!

С ножом!

Нет, не видно никого. Это всё фантазия, воображение, мышь. Это мышь шуршит, а Вася думает: человек.

Зачем человеку шуршать? Человек топает. Он не мышь. Он большой. Плечи — огромные, глаза — фонари, в кармане — нож. Сейчас подкрадётся, вытащит нож и…

Ночь совсем уж тёмная стала. Закрывай глаза, открывай — всё одно и то же: темнота.

А в темноте, конечно, кто-то крадётся.

Вот он дышит тяжело, со свистом!

Вася вынул руки из карманов и зачем-то присел. Он хотел крикнуть, но не успел.

Кто-то чёрный, приземистый кинулся на него, сопя и грубо дыша прямо в лицо.

Глава одиннадцатая
Страшноватая ночь

— Витя! — послышалось капитану.

«Какой Витя?» — подумал он.

Укрывшись за стволом яблони-папировки, Болдырев наблюдал за окнами и дверью дома. Он касался ухом шершавого ствола и слышал, как в яблоне что-то шевелится, вздрагивает, журчит.

— Витя! — снова послышалось Болдыреву.

«Какой такой Витя?» — подумал он, но вдруг понял, что слышит совсем другое слово. Это слово — «помогите» — долетало откуда-то из-за сарая.

Оттолкнувшись от папировки, Болдырев бросился туда.

Тут же послышался какой-то треск — это старшина развалил поленницу дров и кинулся к Васе на выручку.

И тут в свете карманного фонаря Болдырев увидел ужасную картину: какой-то растрёпанный человек катался по земле, обхватив руками что-то косматое и несуразное. В человеке Болдырев сразу признал Васю, а кого тот держит в руках, никак не мог разобрать.

— Что же это?! — сказал Болдырев.

— Всё в порядке, — донеслось с земли, — одного поймал!

При этих словах старшина Тараканов хлопнулся сверху на Васю и, гремя усами, вцепился в то, что держал Вася в руках.

Через секунду старшина поднял за шиворот какое-то существо, глаза которого в свете карманного фонаря блестели, как у сыча.

В репьях и в тине, кудлатый, растерзанный, в мощной руке Тараканова болтался Матрос.

Шерсть у него стояла дыбом, ухо, которое прежде торчало, теперь повисло, как подрубленное, а то, что висело раньше, теперь же, наоборот, поднялось.

Тут в доме стекольщика вспыхнул свет, и на крыльце показался Рашпиль.

— Кто там? — крикнул он и, выхватив из-под крыльца какую-то корявую дубину, стал спускаться в сад. — Кто тут? — орал он. — Убью!

Глава двенадцатая
Собачья жизнь

Размахивая дубиной, Рашпиль обошёл весь двор. Потом вернулся на крыльцо и снова угрожающе сказал в темноту:

— Убью!

Он потоптался на крыльце, хлопнул изо всех сил дверью, ушёл в дом.

Скоро свет в окне погас. На улице слышно было, как ухнул Рашпиль на кровать — заныли железные пружины.

В стороне от дома, под соснами, виднелись какие-то тени.

Две-то тени стояли спокойно, а третья, усатая тень всё время шевелилась, она прижимала

к груди что-то лохматое и брыкающееся. Это старшина Тараканов держал на руках Матроса и напоминал сейчас старинного богатыря, который побеждает некрупного дракона.

Печально выглядывал этот дракон из милицейского кулака. Ему хотелось ужасно укусить старшину, но руки того были в специальных непрокусываемых перчатках.

Да, день сегодняшний оказался для Матроса днём сплошных разочарований. Просидев до вечера в крапиве, Матрос отправился на поиски Васи, с трудом разыскал его у сарая, а Вася дал ему по морде и стал душить. Не это ли называется собачья жизнь?

— Отпустите пса, — тихо сказал Болдырев.

Старшина разжал перчатку, и Матрос бухнулся на землю, прижался к Васиной ноге. За день он что-то совсем исхудал — шкура болталась на нём, как шинель с чужого плеча. Вася погладил его.

— Собака — друг человека, — насмешливо сказал Болдырев. — И этот человек вместе со своей собакой может отправляться домой. Мне такие водопроводчики не нужны.

Болдырев повернулся к Васе спиной и шагнул в сторону, старшина — за ним.

Мгновение — и они скрылись бы в темноте, но

случилось неожиданное.

Матрос ринулся вдогонку и вцепился в галифе старшины. Галифе тревожно затрещали.

— Чего!!! — шёпотом крикнул старшина. — Обмундирование рвать!!!

Он махнул ногой — хорошо начищенный сапог, как сабля, сверкнул в темноте.

— Назад, Матрос! Ко мне!

Матрос выплюнул галифе, отскочил в сторону.

— Тихо! — сказал Болдырев и шепнул что-то на ухо старшине.

Тот козырнул: есть!

— Пойдём, — сказал Болдырев Васе. — Я тебя провожу.

— Собаку с человеком спутать трудновато, — говорил Болдырев, пока они шли по кармановским тёмным улицам, — видно, ты здорово перепугался. Ну ничего, многие люди боятся темноты. А ты парень сообразительный, только, пожалуй, трусоват. Ладно. Домой тебе ехать поздно. Пойдём в милицию, там переночуешь.

— Ничего мне не надо, — сказал Вася. — Я на станцию пойду.

— Чего ж ты? Обиделся, что ли?

— Ничего я не обиделся. До свиданья.

Он повернулся к Болдыреву спиной, свистнул

Матроса и пошёл к станции.

Всё-таки Вася, конечно, обиделся. Правда, на Болдырева обижаться не приходилось. Оставалось обижаться на себя.

Так, обижаясь на себя, пришёл Вася к станции.

Была ночь, и последний поезд давно уж дремал в тёплом депо.

По пустынной платформе слонялись два или три человека, которые тоже, кажется, обижались на себя. Один подошёл к Васе и попросил закурить.

— Я не курю, браток.

— Эх! — сказал обиженный. — И тут не везёт.

Да, бывают на свете такие люди, которым не везёт. Они вечно опаздывают на поезд и покупают пса за поросят. Вся их жизнь — сплошное невезение. Иногда кажется: вот-вот должно повезти, вот-вот ухватят они за хвост синюю птицу, а оказывается, это и не синяя птица, а так себе, воробушек, воронье перо, куриная косточка.

Вася уселся на длинную железнодорожную лавку и стал думать о своих обидах и невезениях. И так получалось, что ни в чём-то, ни в чём ему не везёт.

Матрос, которому в жизни тоже не везло, залез на лавку и улёгся, свернувшись. Он превратился

в рыжую пушистую подушку. Вася положил голову на эту подушку и скоро заснул, слушая, как бурчит у подушки в животе.

Ранним утром сел Вася на поезд, поехал домой и, когда уже подходил к деревне, издали увидел Евлампьевну. Она сидела на брёвнышке у скотного двора и горько плакала.

Часть третья
Запах мёда
Глава первая
Цветочек без поливки

Жизнь Васина потекла теперь самым обычным образом. Она, как говорится, вошла в свою колею.

Но колея эта Васе не очень-то нравилась. Ему хотелось, чтоб была она с каким-нибудь вывертом, с загогулинкой.

Однако откуда было взяться этой загогулинке, если с утра до вечера приходилось ему учиться на механизатора, часами сидеть над книжкой с мощным названием «Трактор»? И если он видел какую-нибудь загогулинку, так только в руках тракториста Наливайко, который ковырялся ею в тракторном моторе.

Недели через две после возвращения из Карманова Вася решил написать Болдыреву письмо и посмотреть, что из этого получится. Взяв чистый лист бумаги, он стал писать:

Добрый день (или добрый вечер, не знаю), дорогой товарищ капитан!

Пишет письмо вам ваш знакомый Василий Куролесов из Сычей, который усы лепил (от полушубка). Он пишет письмо в милицию первый раз, поэтому прошу извинить его за ошибки (запятые или буквы). А если не извиняете, всё равно дочитайте письмо до конца.

В первых строках обращаюсь к вам с глубочайшей сердечной просьбой. Сообщите мне: поймали Курочкина или нет?

Во вторых строках меня интересует Рашпиль (рябой). Всё в том доме живёт или переехал?

В последних строках сообщаю вам, что я тогда не струсил, а просто напугался. Если надо, то я пойду сражаться за Родину.

Жду ответа, как космонавта ракета.

Василий Куролесов.

Вася перечёл письмо, заклеил его в конверт и вывел крупный адрес:

Райцентр Карманов, милиция, капитану Болдыреву (лично).

Вверху приписал ещё слово:

Срочно.

Но этого ему показалось мало, в уголке конверта, рядом с маркой, он добавил:

Почтальон! Шире шаг!

Опустив письмо в ящик, приколоченный к сельсовету, Вася стал ждать ответа.

День шёл за днём — ответа не было, и Вася становился всё более мрачным. Улыбка что-то совсем исчезла с его лица. Приходя домой, он садился на сундук и глядел задумчиво на фотографии дальних родственников.

Матрос всюду слонялся за ним и тоже часами просиживал у сундука, глядя на фотографии дальних родственников.

— Васька у меня как цветочек без поливки, — жаловалась соседям Евлампьевна. — Совсем захирел.

Соседи разводили руками, пожимали плечами — надо бы, мол, полить этот цветочек, да как это сделать, неизвестно. Не придумано ещё такой аппаратуры, чтоб душевные неприятности поливать.

А между тем настоящие цветочки — анютины глазки и вероники — повсюду уже распускались.

Дождь их поливал, грело солнце, и дни, как рыбки, уплывали. Вот только что был день, только что держал его Вася в руках, а вот уж и нет его, в руках — пусто, и ночь наступила.

Как-то утром Евлампьевна разбудила Васю.

— Васьк, — сказала она, — письмо!

Глава вторая
Щепки летят

Сегодня была нерабочая суббота, и тишина стояла в деревне Сычи.

Конечно, это не была такая уж мёртвая тишина.

Например, слышно было, как соседка Марусенька доит корову. Струйки молока били в ведро с однообразным пилящим звуком: вжж… вжж… вжж… Можно было даже подумать, что Марусенька пилит это ведро. Но это она доила корову. Розку.

Сонными ещё руками Вася разорвал конверт и вынул оттуда письменный листок:

ВАСЬКА! БЕРЕГИСЬ! ТЫ ПОЛУЧИШЬ СВОЁ!

Вася крутил листок в руках и глядел в него, ничего не понимая.

— Вась! — приставала Евлампьевна. — От кого письмо?

— От тёти Шуры, — соврал зачем-то Вася.

— Ну что там у них под Казанью?

— Корова отелилась.

— Тёлочка или бычок? — допытывалась Евлампьевна.

— Бычок, — сказал Вася.

Матрос вылез из-под кровати, лизнул Васю в пятку и понюхал письмо. Запах ему не понравился. Он фыркнул и ушёл обратно под кровать.

«Курочкин! — подумал вдруг Вася. — Это он угрожает».

Натянув брюки, Вася схватил зачем-то топор и выбежал на улицу.

Помахивая топором, Вася обошёл весь двор. Каждую секунду он почему-то ожидал встретить у сарая Курочкина, но никого не встретил.

У сарая лежали напиленные дрова.

Чтоб топор зря в руке не пропадал, Вася вынул из кучи еловое полено и поставил его перед собой.

Странная история — полено оказалось похожим на Курочкина. Ясное дело, не было у него ни

носа, ни глаз, а всё ж и вправду оно походило на Курочкина.

— Получай, Курочкин! — сказал Вася и вдруг со всей силой трахнул полено по башке.

Оно разломилось, как яблоко.

И второе полено тоже оказалось похожим на Курочкина, и его Вася так долбанул, что топор, пройдя насквозь, вонзился в землю. Третье полено было корявым и суковатым, кора на нём облетела.

«Рашпиль!» — тревожно подумал Вася.

Он установил полено и врезал топором в его широкую розовую морду. Топор вонзился неловко в край. Чирикнув, щепка, как воробей, отлетела в кусты.

С этим поленом пришлось повозиться. Вася взял железный клин и вколотил его, разрывая древесные узлы. Полено закричало и лопнуло.

К обеду Вася расколол штук сто «курочкиных» и полсотни «рашпилей».

«Как же он узнал мой адрес? — думал Вася. — Наверно, следил».

Нет, Курочкин, конечно, не следил. Он ещё в милиции слышал, как Вася назвал свой адрес Тараканову.

Всю ночь Вася неровно спал. Ему казалось, что

Курочкин подглядывает неприятным взглядом. Вскакивая с кровати, он вглядывался в тёмное окно, ожидая увидеть наглые курочкинские скулы, но видел только крышу собственного сарая, а над ней — Малую Медведицу.

Впрочем, за сараем всё-таки маячила какая-то туманная фигура. Выскочив на крыльцо, Вася залепил в неё поленом и крикнул:

— Получай, Курочкин!

Но это был не Курочкин, а тракторист Наливайко, который случайно прогуливался за сараем.

Потрясённый Васиным поленом, тракторист Наливайко побежал по дороге, высоко подскакивая над лужами.

Глава третья
Вася хочет быть лошадью

А от Болдырева по-прежнему ничего не было — ни ответа, ни привета.

И неудивительно: вместо почтового ящика Вася сунул своё письмо в ящик вопросов и ответов, приколоченный к сельсовету. Все вопросы были заданы, ответы на них получены, и в ящик никто не заглядывал.

Капитан сам хотел было написать Васе, да не

собрался — дел у него было по горло.

Капитан «разрабатывал» Рашпиля.

Как иной огородник терпеливо обрабатывает почву, чтоб посеять в неё огурцы, так действовал и капитан. Только он не размахивал лопатой: он выяснял, что делает Рашпиль, куда ходит, кого видит. И скоро многое узнал. Узнал, к примеру, что Рашпиль любит вставлять стёкла. Даже ходит по улицам и орёт неприятно:

— Вста-а-а-а-влять стё-о-о-кла-а!

А потом в доме с новыми стёклами вдруг пропадает что-нибудь: пиджак, грабли, электрический утюг.

Капитан, конечно, мог взять Рашпиля, но не брал.

Он понимал, что Рашпиль — мелкий жулик, а вот Курочкин — тот покрупнее.

Болдырев рассчитывал, что Рашпиль в конце концов встретится с Курочкиным. Капитан ждал.

Но Вася-то не мог ждать.

«Хватит! — думал Вася. — Надо действовать. Пузырёк с йодом — вот за что мне нужно ухватиться. Еду в Тарасовку».

Ранним утром, в воскресенье, он решительно вышел из дома и направился к станции.

Матрос недовольно бежал следом. Ему хотелось спокойно лежать под кроватью и вспоминать свою прошлую преступную жизнь.

— Скажи спасибо, что едешь не в мешке, — толковал ему Вася.

Вася сел в поезд, втащил за собой Матроса, и поезд тронулся.

«Главное, ехать, — думал Вася, — а остальное получится само собой».

И в общем, он был прав. Не успел поезд проехать две остановки, в тамбуре его окликнул какой-то гражданин в соломенной шляпе.

— Здоро́во, Васька!

— Что-то не узнаю, — ответил Вася, приглядываясь.

— Чего? — сказал гражданин. — Туши свет! Взгляни в глаза мои суровые…

И тут Вася увидел, что этот порядочный на вид человек есть не кто иной, как Батон.

Живот у него вроде бы ещё вырос, а голова под шляпой уменьшилась. Вася подал ему руку, и Батон сжал её с оглушительной силой.

— Ты куда едешь?

— Да так, — неуверенно ответил Вася, — прокатиться.

— Чего зря кататься? — прошептал Батон. — Хо-

чешь денег заработать?

— Каких денег?

— Туши свет! — сказал Батон. — Слушай ухом.

Он пригнулся к Васиному уху и принялся шептать какую-то абсолютную чепуху.

Из чепухи этой получалось, что деньги заработать ничего не стоит, надо только, чтоб Вася поработал лошадью.

— Как — лошадью?

— Дело простое, — подмигивая, толковал Батон. — Будешь делать, что скажут. Кроме того, ты, как лошадь, получишь велосипед.

— Не пойму я что-то, — растерянно отвечал Вася, — прежде-то я лошадью не бывал.

— Ничего особенного, — объяснял Батон. — Подъедешь к одному дому, возьмёшь вещички и уедешь.

— Какие вещички?

— Хорошие, — пояснил Батон. — Меховые полулальто, фотоаппараты. Телевизор мы сами понесём, а ты засунешь в рюкзак всякую мелочь, сядешь на велосипед и уедешь. Вещички потом отдашь, а велосипед себе оставишь.

— Да откуда всё это возьмётся? — удивлялся Вася.

— Есть один магазинчик, — подмигивал Ба-

тон. — «Культурные товары». Понял? Туши свет!

И тут Вася похолодел: он понял, что Батон собирается залезть в этот самый магазинчик.

— Пожалуй, я пока подожду, — сказал Вася, — я парень молодой. До лошади-то я, наверно, ещё не дорос.

— Баран ты! — рассердился Батон. — Не хочешь — как хочешь. Сейчас моя остановка. Привет!

Поезд остановился — Батон соскочил на платформу. И тут в глаза Васе бросилось название станции: «Тарасовка».

И прежде чем Батон смешался с толпой пассажиров, Вася вытолкнул на платформу Матроса, сам выскочил за ним и крикнул:

— Эй, погоди! Я согласен!

Глава четвёртая
Тёмная лошадка

Удивительная всё-таки станция Тарасовка.

Здесь есть всё, что и на других подмосковных станциях, — дачи, ёлочки, козы, колодцы, шлагбаумы, бочка с надписью «Русский квас». Но есть и кое-что такое, чего нигде не найдёшь.

У дороги под расписным навесом разместилась закусочная «Кооператор». Из-под навеса

вываливает на улицу дым и кавказский запах жареного лука и мяса. Этот запах ползёт вдоль шоссе, зажигает блеск в глазах у случайных прохожих, подбирается к стадиону «Спартак». В дни футбольных матчей он будоражит болельщиков, и тогда над Тарасовкой стоит такой рёв и свист, какого, конечно, никогда не услышишь на других подмосковных станциях.

А запах, миновав стадион, ползёт дальше: мимо дач, ёлочек, коз, колодцев, мимо шлагбаумов и бочки с надписью «Русский квас».

Вася и Батон шли по шоссе как раз вслед за запахом. Батон нюхал запах с большим интересом.

— Люблю есть мясо, — толковал он, обняв Васю за плечи.

Матрос ненадолго отстал от них, покрутился возле закусочной, и неизвестно откуда во рту у него появился здоровенный кусок шашлыка.

— Толковый парень! — восхищённо сказал Батон. — Такой не пропадёт!

Довольно долго они шли по шоссе, и как только запах жареного мяса иссяк, Батон остановился.

— Сюда, — указал он на розовый дом сбоку от дороги.

Дом был обычный на вид — низенький, длинный, с облупленной штукатуркой. Единственно,

что поражало, так это огромное количество телевизионных антенн на крыше.

Вася оставил Матроса на улице, вслед за Батоном поднялся на крыльцо, вошёл в полутёмную комнату, освещённую только бледным экраном телевизора. Окна были занавешены от солнца. При неверном мёртвом свете увидел Вася человека, и сразу сердце его ударило в уши с колокольным звоном.

— Нашёл лошадку? — хрипло спросил тот, полуобернувшись к двери.

— Ага, — весело ответил Батон, — приятель мой, вместе сидели. Васька Куролесов.

При этих словах человек вскочил со стула, щёлкнул выключателем, и в комнату рухнул свет.

Ослеплённо глядел Вася на знакомое лицо — корявое, рябое, то самое, на котором горох молотили.

— Кого ты привёл, собака! — закричал Рашпиль и дал Батону по зубам. — Лошадку! Тёмную лошадку!

Зубы батонские лязгнули, он зажмурил глаза и быстро залопотал:

— Я не виноват. Я не виноват.

В этот же момент Вася пригнулся и что есть

силы боднул Рашпиля в живот.

Живот этот оказался твёрдым, как комод, и бодать его было всё равно что биться головой об стену.

Рашпиль махнул в воздухе своей короткой и толстой рукой, чтоб схватить Васю, но тот увернулся, прыгнул вправо и отчаянно боднул Батона.

У этого живот оказался слабым, как манная каша. От удара Батон подпрыгнул, и секунду казалось, что Вася поднял его на рога. Выкатив глаза, Батон повисел в воздухе и рухнул под телевизор.

— Всех перебью! — закричал неожиданно Вася и, схватив со стола стакан с чаем, метнул его в Рашпиля.

Ударившись об стену, стакан лопнул, как граната. Вася тут же издал клич, похожий на рёв паровоза. Он закрутился по комнате, будто танцевал бешеный танец лезгинку, пнул плечом телевизор и кинулся к двери.

Телевизор что-то крикнул ему вслед, тумбочка под ним подломилась. Телевизор тюкнулся об пол, как сотня сырых яиц.

С тихим звоном он пополз по полу и, как барсук, уткнулся в ботинок Рашпиля.

Вася ударил в дверь локтем и вылетел в тем-

ноту.

Глава пятая
Перо

Нет, Васе не повезло.

На полном ходу влетел он в чулан, врезался в чуланную стену, и тут же ему показалось, что на него падает новогодняя ёлка со всеми своими огнями и украшениями. От удара сел Вася на пол. Посыпались какие-то склянки, банки, что-то печально зазвенело, что-то полилось и злобно закапало в таз.

Ошеломлённого Васю Рашпиль за ноги вытащил из чулана, кашляя и ругаясь, бросил на пол рядом с умирающим телевизором.

Телевизор стонал.

На экране его вспыхивали и гасли предсмертные звёздочки. Собрав последние силы, он вдруг жалобно запел:

Издалека-а-а-а
До-о-о-лго
Течёт река
Во-о-олга…

Что-то захрустело в телевизоре. Он повернулся набок, из него, как из посылки, высыпались какие-то стеклянные орехи.

Всего лишь минута прошла, как Вася попал в эту комнату, а всё уже здесь перевернулось вверх дном: рядом с телевизором валялась на полу тумбочка с вывихнутой ногой, в чулане что-то ещё копошилось и падало, на стене шевелилось рыжее пятно чая.

Глядя на эту картину, можно было сказать, что Вася пронёсся как ураган, разрушая всё на своём пути. А теперь этот ураган лежал на полу, и на голове его созревала шишка никак не меньше кедровой.

— Допрыгалась лошадка! — сказал Рашпиль. — Жалко, что совсем шею не сломал.

Батон очумело глядел на всё, что творится вокруг, и указательным пальцем ощупывал пошатнувшиеся зубы.

— Ты знаешь, кого привёл? — спросил Рашпиль.

— Ммм… — ответил Батон, не вынимая указательного пальца, — л-л-лошадь…

— Это милицейская лошадь, от капитана Болдырева.

— Ммм… — удивился Батон. — Давай ему морду

разобьём.

— Мордой тут не отделаешься, — сказал Рашпиль и вынул из кармана перо — острый стальной нож с рукояткой, набранной из разноцветных стёклышек.

Он придвинул его к Васиному носу, и тогда Вася понял, что теперь он попал в самую печальную историю. Снизу глядел он на плоское блестящее перо размером не больше вороньего. Над ним покачивалось лицо Рашпиля — рябое и круглое, как луна. Сейчас оно было даже больше похоже на луну, чем сама луна.

Тихо стало в комнате, только слышно было, как в чулане что-то прощально капает в таз. Рашпиль покрутил ножом перед Васиными глазами, сказал:

— Ну, лошадка…

И тут же послышался стук в дверь.

Глава шестая
Свист

— Кого ещё чёрт несёт! — проворчал Рашпиль. — Кто там?

— Водопроводчики, — брякнул кто-то за дверью.

Рашпиль откинул крючок, и в комнату вошёл Курочкин. Да, это был он, гражданин Курочкин, и что удивительно — опять с усами. А под усами висела к тому же бородка, похожая на букет увядших цветов.

— Водопровод хотим починить, — повторил Курочкин, смеясь.

Вдруг в лице его что-то треснуло. Чёрные морщины побежали под глазами.

— Васька!

Вася приподнялся на полу и помахал Курочкину рукой.

— Видал? — сказал Рашпиль. — Кого Батон привёл?

— Кто? — крикнул Курочкин, подскакивая к Батону. — Ты?!

— Да не виноват я! — закричал Батон.

— Ладно, — сказал Рашпиль. — Брось ты его. Скажи лучше, что с Васькой делать. Выпускать его нельзя — сразу к Болдыреву побежит.

— Мне бежать нечего, — сказал Вася, — Болдырев давно вас выследил.

— Врёшь!

— Вокруг дома засада, — подтвердил Вася.

— Врёшь, Васька! Скажи, что врёшь.

— Не вру.

— Ну ладно, — кивнул Курочкин Батону. — Пойди проверь.

Батон лениво пошёл к двери. Он шёл ни шатко ни валко, тяжело неся свои узкие плечи и пухлые кулаки.

Да, хотелось бы Васе сейчас не врать. Приятно было бы, если б ворвалась вдруг в дом милиция и Болдырев крикнул: «Руки вверх!» Заплакал бы тогда небось Рашпиль. И Курочкин струхнул бы.

— Ты письмо моё читал? — спросил Курочкин.

— Читал.

— А понял?

— Нет, — чистосердечно сказал Вася.

— Ты мне устроил хорошую жизнь — навёл на меня капитана, и я тебе тоже устрою. Понял?

— Тебе, Курочкин, всё равно конец.

— Мне — конец? Ну, щенок, закрой глаза!

Вася хотел было закрыть глаза, но тут с улицы донёсся пронзительный свист.

На крыльце что-то загремело, загрохотало.

— Облава! — закричал Курочкин и прыгнул к окну.

Разом он выбил раму и вывалился на улицу. Рашпиль бросился следом и застрял в окне.

— Стой! — закричал он. — Стой, Курица! Стой, дешёвая повидла!

С улицы снова донёсся свист. Теперь это был другой свист — заливистый, булькающий, милицейский.

Рашпиль бился в окне, как толстая летучая мышь в кепке.

— Стой! — крикнул Вася. Он вскочил на ноги и схватил Рашпиля за рукава.

— Стой! — раздалось и на улице.

Послышался топот сапог в прихожей, гром каких-то тазов. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся Матрос.

Глава седьмая
Погоня

Шерсть у него стояла дыбом, глаза горели, уши сбились набекрень. Матрос сейчас вправду был похож на лихого матроса в тельняшке и бескозырке.

Он бросился к окну, вцепился Рашпилю в штанину.

Вслед за Матросом вбежал человек в милицейской форме. Это был старшина Тараканов. Он схватил Рашпиля за локти и вывинтил его из окна.

— Погодите! Погодите! — повторял Рашпиль. —

Что за спешка?

— Отвести! — сказал Болдырев, входя в этот момент в комнату.

Он подошёл к Васе и хлопнул его по плечу.

— Ну и шустрый ты парень!

Нет, никак Вася не мог поверить, что перед ним капитан Болдырев — серый костюм, прищуренные глаза цвета маренго.

— Товарищ капитан, я лошадью хотел…

— Где Курочкин? — перебил Болдырев. — Ушёл! Скорее!

Он выбежал на улицу, и Вася за ним. За забором, на шоссе, уже собрались любопытные. Они толпились у милицейского автомобиля, из окошка которого глядели Рашпиль и Батон. Два милиционера топтались около, старшина Тараканов разгонял толпу.

— Проходите, — ворчал он. — Нечего тут стоять. Идите гуляйте.

— Собаки нет, — досадливо сказал Болдырев. — Собаки нет. Вот история.

— А Матрос-то? — влез Вася.

— Э… Матрос… Какой Матрос? — сказал капитан. — Тараканов, за мной!

Капитан побежал по шоссе. Он обернулся на бегу и крикнул Васе:

— Жди меня здесь, у машины…

В одно мгновение Болдырев и Тараканов исчезли.

Вася подошёл к окну, из которого выпрыгнул Курочкин, и сразу увидел следы. Два каблука ясно отпечатались на рыхлой земле.

— Нюхай, Матрос! Нюхай! — сказал Вася и ткнул Матроса носом в следы, но тому не очень-то хотелось нюхать подоконную ерунду.

Вася сам хотел было встать на колени и понюхать следы, чтоб вразумить Матроса, но тот побежал к забору и нырнул через дырку в соседний сад.

— Куда ты? — закричал Вася. — Стой! — И побежал следом.

Он махнул через забор и, топча какие-то укропы, побежал по чужому саду.

«Куда же он? — думал Вася, торопясь за Матросом. — Неужели по следу?»

И тут Вася увидел, что за забором, прячась и приседая, бежит какой-то человек — полосатая тень мелькает между штакетин.

Вася продрался через заросли жасмина, потом запутался в малине и наконец очутился на узкой травяной улице, с обеих сторон закованной заборами. Ни Матроса, ни человека, что мелькал в

штакетинах, не было видно.

Вася пробежал немного вперёд и выскочил прямо к закусочной «Кооператор». Шоссе перед закусочной было пустынно, сизые клубы дыма выплывали из-под расписных навесов, а за дымом виден был Матрос, который жарил прямым ходом к станции.

Подбежав к платформе, Матрос поднялся по ступенькам и сразу направился к кассе.

Он шмыгнул в стеклянную дверь, покрутился там внутри и выскочил обратно.

— Ну? — крикнул Вася, подбегая.

Матрос почесал за ухом, подмигнул в сторону кассы. Вася глянул сквозь стеклянную дверь и сразу увидел Курочкина.

Тот читал расписание, заложив руки в карманы.

Глава восьмая
Мусорная урна

Маленький коричневый человечек бежал по рельсам.

Прямо на него наваливался паровоз. Сбоку стояла толстенькая коричневая женщина.

В ужасе она отшатнулась.

И коричневый человек, и женщина, и паровоз были нарисованы на железнодорожном плакате.

На нём было написано:

ЧТО ТЕБЕ ДОРОЖЕ?
ЖИЗНЬ
ИЛИ СЭКОНОМЛЕННЫЕ МИНУТЫ?

«Сэкономленные минуты», — подумал Вася.

Плакат был прибит к стене как раз возле расписания, которое читал Курочкин.

Он стоял к Васе спиной, и до чего же неприятной показалась эта спина, твёрдая и тупая!

Вася оглянулся: ни Болдырева, ни Тараканова не было видно.

Где-то неподалёку загудела электричка. Через две минуты она подойдёт к станции.

«Сэкономленные минуты», — снова подумал Вася и осторожно толкнул стеклянную дверь.

На лавочке сидели две женщины и какой-то тип в кепочке с толстой можжевёловой палкой в руках. Этот тип подозрительно глядел на Васю.

«Что же делать? — думал Вася. — Сейчас Курочкин обернётся!»

Взгляд Васин упал на жестяной мусорный ящик, стоящий в углу.

Это был обычный мусорный ящик, похожий

на шляпу-цилиндр. Такие ящики называются «урна».

Что-то сверкнуло у Васи в голове, какая-то молния: он схватил урну и стал подкрадываться к Курочкину. Гражданин в кепочке вытаращил глаза.

Спина Курочкина дрогнула, и тут же Вася подскочил к нему и со всего маху надел урну ему на голову.

— Во даёт! — крикнул гражданин в кепочке.

Курочкин от неожиданности присел. Огрызки яблок, шелуха от семечек, окурки-бычки покатились по его плечам. Звериный вой послышался из урны.

Выхватив пистолет, Курочкин выстрелил наугад. Пуля ударила в коричневую женщину, ту, что была на плакате.

Женщины, которые сидели на лавке, упали на пол и закричали. Гражданин в кепочке позеленел и пополз под лавку.

Курочкин закрутился на месте. Он метался, как разъярённый кабан, и бился урной об стену. Он, видно, не понимал, что это у него на голове, что это пахнет и сыплется по ушам.

Вася выхватил из-под лавки можжевёловую палку и ударил Курочкина по руке — пистолет

брякнулся на пол.

Вася размахнулся и врезал по металлической башке с надписью «Для мусора».

Раздался кастрюльный звон. Водопад окурков хлынул по курочкинским плечам.

От удара урна ещё прочнее села на голову и даже наползла на плечи.

Вася ударил ещё раз для верности.

Курочкин обмяк, зашатался и, кренясь на бок, повалился. Голова его ударилась об пол, как чугунок с гороховым супом.

Когда прибежал Болдырев, Курочкин лежал на полу и тупо икал внутри урны.

Урну не сразу удалось снять.

Когда Курочкина вынули из урны, он долго не мог понять, где находится, хотя каждому было ясно, что он в милиции.

Глава девятая
Деньги не пахнут

Дождевая туча приползла к Тарасовке, пошёл тёплый дождик, а солнце укатилось в сторону и висело теперь над городом Кармановом, раскаляя его шиферные крыши. Чуть не во всех дворах кипели самовары, а по улицам бродил усатый

точильщик и кричал:

— Точить-ножи-ножницы-бритвы-править!

— Надо бы за ним понаблюдать, — сказал Болдырев, глядя на точильщика из милицейского окна. — Ну ладно, это потом. А ты, Вася Куролесов, оказывается, молодец. Без тебя уж не знаю, что получилось бы… Тараканов!

— Слушаю! — ответил Тараканов, всовываясь в дверь.

— Деньги нашли?

— Пока нет.

— Приведите Курочкина,

Курочкина привели и посадили на одинокий стул, стоящий посреди комнаты. В милиции его умыли «Детским» мылом и повытряхивали из волос шелуху подсолнухов, но всё равно вид у него был серый и вялый, нос он покорябал обо что-то внутри урны, рука была забинтована.

— Да, гражданин Курочкин, — сказал Болдырев, — вид у тебя неважный. И дела тоже неважные. Лучше уж сам скажи, где деньги.

— Нету у меня никаких денег. Была трёшка, и ту отобрали.

Трёшка, отобранная у Курочкина, лежала на столе. Она была измятая, старая и, кажется, даже поросла мохом.

— Маловато, — сказал Болдырев, — где остальные?

— Нету у меня никаких денег. Нету.

Курочкина увели.

— Деньги у них есть, — сказал капитан, — и мы должны их найти.

— Да, может, они их проели — мороженое, газировка, туда-сюда.

— Какое мороженое?! Они очень много награбили. Деньги у Рашпиля, только где он их прячет? Весь дом обыскали — нету.

— А под кроватью смотрели?

— Кто же прячет деньги под кровать? Только круглый дурак. Впрочем, под кроватью мы тоже смотрели.

— Всё ясно, — сказал Вася, — они их в чугунок сунули и в землю закопали.

— Ну нет, — сказал капитан, — понадобится трёшка — откапывай чугунок, потом снова закапывай. Хлопот не оберёшься.

— Тогда они под кроватью. Лежат в жёлтом чемоданчике.

— Я смотрел под кроватью, — сурово отчеканил капитан. — Понимаешь?

— Так точно, — сказал Вася, но в душе он был уверен, что деньги под кроватью.

Болдырев прикрыл глаза, задумался, но ему тоже вдруг показалось, что деньги под кроватью. Лежат в жёлтом чемоданчике.

— Да, — устало сказал капитан, — деньги не пахнут…

— Чего? — не понял Вася.

— Пословица такая есть: деньги не пахнут. Слыхал?

«Странная пословица», — подумал Вася.

Он взял со стола трёшницу.

Неприятная была она на ощупь — вялая, липкая, лохматая.

Вася посмотрел на неё и вдруг понюхал.

— Товарищ капитан! — почему-то с ужасом сказал он. — Кажись, она пахнет!

Глава десятая
Всё ясно!

— Что за ерунда! — сказал Болдырев. — Что ты придумываешь! Дай-ка я понюхаю.

Он развернул трёшницу, поглядел сквозь неё на свет и осторожно поднёс к носу.

— Хм… Запах вроде есть. Только уж очень тонкий. Не укроп ли?

— Какой укроп? Пахнет мёдом.

— Что?! — закричал Болдырев. — Мёдом! У тебя всё пахнет мёдом!

Вася побледнел было, но тут же покраснел и сказал, заикаясь:

— Всё ясно!

— Что ясно?

Вася снова побледнел и пошевелил в воздухе пальцами.

— Вжу… вжу… вжу… — сказал он пчелиным голосом.

— Не может быть! — сказал Болдырев. — Не может быть! А впрочем, почему не может быть? Вжу-вжу-вжу, конечно! — Капитан в волнении прошёлся по комнате. — Тараканов! — крикнул он.

Дверь открылась, и в неё всунулся старшина.

— Найдите немедленно какого-нибудь пчелиного знатока и на машине доставьте к дому Рашпиля. Со всем пчелиным инструментом. Ясно?

— Какого знатока? — удивился Тараканов.

— Любого. Чтоб в пчёлах толк понимал.

— Слушаюсь-постараюсь! — сказал Тараканов, исчезая.

— Ну, Вася, — сказал Болдырев, — ты действительно малый головастый. Если верно догадался,

получишь карманные часы. С музыкой!

Они вышли на улицу.

Матрос, который всё это время болтался у милицейской столовой, побежал за ними следом.

Славная погода стояла в городе Карманове. За день солнце обсушило грязь на дорогах и теперь свободно летело в небе, направляясь к закату. На душе у Васи было ясно.

«Карманные часы, — думал он, — с музыкой!»

Но всё-таки странно было снова подходить к дому Рашпиля. Открывая калитку, Вася даже притормозил, опасаясь, как бы не вылетела откуда-нибудь пуля.

Но пуля не вылетела. На крыльце сидел милиционер и читал газету.

— Пойди, Фрезер, пообедай, — сказал Болдырев.

Свернув газету, милиционер ушёл.

Ульи по-прежнему стояли под яблонями. Их было пять штук, и все они были покрашены зелёной краской. Вася и Болдырев разглядывали их с двух шагов.

— Что-то пчёл не видно, — сказал Вася.

— Наверно, затаились, — осторожно сказал капитан.

— А по-моему, их здесь сроду не было. Зря зна-

тока вызвали.

Вася подошёл к ближнему улью и щёлкнул ногтем по крыше.

В ту же секунду и Вася, и Болдырев мчались через сад к дому.

Матрос, который добродушно дремал в клубнике, принял на себя основной удар пчелиной армии.

Завывая, как пожарная машина, он кинулся к ближайшему пруду и спрятался в знакомую крапиву, поклявшись никогда в жизни из неё не вылезать.

Захлопнув двери и форточки, Болдырев и Вася подсчитывали свои уроны.

Васе досталось за догадку — его укусило пять пчёл. Капитан отделался легче — пчёлы будто почувствовали в нём милиционера. Его укусила всего одна пчела, зато уж как следует, в кулак. К тому же у Болдырева оказался прокушен портсигар.

— Ничего, — сказал капитан. — Пчелиные укусы полезны.

Он достал из кармана милицейский одеколон «Шипр» и стал протирать раны.

Глава одиннадцатая
Пчелиный знаток Емельяныч

К этому моменту прибыл пчелиный знаток Емельяныч.

— Пчелу я понимаю, — говорил знаток, вылезая из машины. — И она понимает меня.

— Так точно, папаша, — подтверждал старшина Тараканов, помогая старичку выгружаться.

С сомнением оглядев Васю и Болдырева, знаток сказал:

— Кто пчелу не понимает, того и она не поймёт.

Емельяныч действительно пчелу понимал. Он надел на голову чёрный пчёлонепроницаемый колпак, отчасти похожий на чайник. В руки взял небольшую леечку. В ней тлели угли, и вместо воды из кончика носа выливался дым.

Облив пчёл дымом, Емельяныч стал вскрывать ульи. Тараканов помогал ему издали взглядом, а Вася и Болдырев глядели на всё это через закрытое окно. Пчёлы крутились вокруг Емельяныча, но не трогали. Правда, одна, особо злая, укусила Тараканова в кокарду.

В четырёх ульях Емельяныч ничего не нашёл, кроме пчёл и мёда, а вот в пятом улье пчёл не было! Емельяныч вынул из него одиннадцать фотоаппаратов «Зенит», четыре транзисторных радиоприёмника «Горизонт», двадцать ручных часов «Кругозор» и сто сорок девять золотых колец, надетых на палочку. Причём палочка оказалась из чистого серебра. После этого Емельяныч вынул и деньги, завёрнутые в «Вечернюю Москву» от 17 июня.

— Я пчелу понимаю, — толковал Емельяныч, когда все уже ехали обратно.

Вася и Болдырев молчали, с уважением слушая, как понимает Емельяныч пчелу.

— Понимайте пчелу, молодой человек! — приставал знаток к Васе. — И она вас поймёт.

— Ладно, папаша, — успокаивал его Вася. — Я постараюсь понять.

Потом Емельяныч прицепился к Болдыреву. Он задал ему вопрос: понимает ли пчёл милиция?

— Милиция всё понимает, — отвечал Болдырев. — Не только пчёл, но даже кузнечиков или божьих коровок.

— Кузнечики ваши чепуха! — горячился Емельяныч. — Они мёду не дают!

— Зато стрекочут красиво, — застенчиво сказал

Тараканов.

Эти слова так раскипятили старого знатока, что он стал прямо накидываться на старшину, чуть ли не хватая его за портупею.

— Прибавь ходу! — сказал Болдырев шофёру.

Разбрызгивая лужи, «газик» промчался по кармановским улицам и остановился у маленького дома, чем-то похожего на улей.

Болдырев хотел уже прощаться, но упорный Емельяныч схватил его под руку и потащил в сад.

— Так просто вы от меня не отделаетесь! — сказал он.

Всюду — под яблонями, на огороде, на крыше, на террасе, на чердаке — стояли ульи.

Собачья конура у крыльца тоже была похожа на улей. Казалось, Емельяныч держит в ней специальную дрессированную пчелу.

И действительно, как только все вошли в сад, из конуры выскочила маленькая чёрно-рыжая собачка и принялась не то лаять, не то жужжать.

— На место, Шмель! — крикнул Емельяныч.

Он усадил всех за берёзовый стол, врытый в землю между ульями, и быстро раскочегарил самоварчик. Потом достал чашки и стаканы, разлил чай и выставил на стол блюдо с мёдом.

И глядя на этот мёд и самоварчик, старшина Тараканов даже сказал стыдливо:

— Пчела пчеле — рознь. Она, как и человек, своё понимание имеет.

Глава двенадцатая
Грузовое такси

Длинный какой день-то сегодня получился. И сразу в нём собрались и деньги, и пчёлы, и мусорная урна.

День сегодняшний был похож на грузовое такси, которое перевозит вещи на дачу. Чего только в него не навалено — и детские коляски, и матрасы, и телевизор «Рубин».

А солнце было ещё высоко. Впрочем, не так уж высоко. Начинался закат.

Милицейская машина мчалась по шоссе. По сторонам мелькали домики и дачки. Их шиферные крыши порозовели под закатным светом, мерцали в зелёных садах. Навстречу одна за другой летели машины, и на лбу у них горели закатные пятна.

Но вот солнце закатилось, ветровые стёкла встречных машин померкли. Милицейский «газик» свернул с шоссе на просёлок.

Болдырев сидел рядом с Васей и устало молчал.

Вася тоже помалкивал. Одной рукой он придерживал на коленях банку с мёдом от Емельяныча, а другою гладил Матроса. Матрос глядел в окно задумчиво, как пионер, возвращающийся из лагеря домой.

— День кончился, — сказал Болдырев.

— Так точно! — подтвердил Тараканов.

— И дело наше кончилось, — добавил Болдырев.

Старшина Тараканов хотел сказать: «Так точно», но почему-то застеснялся.

«Газик» въехал в деревню и остановился у сельсовета. Механизаторы, которые шли в клуб на танцы, с удивлением глядели, как вылезает Вася из милицейской машины.

— Смотрите! — кричал тракторист Наливайко. — Ваську забрали!

— Спокойно! — строго сказал Тараканов из машины. — Гуляйте-танцуйте!

— Здорово ты догадался насчёт денег, — говорил Болдырев, прощаясь с Васей. — Ты всё-таки молодец. Хочешь со мной работать?

— В милиции, что ли? — не понял Вася.

Капитан подмигнул.

— А какой оклад? — спросил Вася, выгружая мёд и Матроса.

— Оклад хороший, — улыбаясь, ответил Болдырев. — К тому же обмундирование.

— Сапоги, — вставил Тараканов, — хромовые!

— Сапоги — вещь хорошая, — задумчиво сказал Вася.

Он пожал капитанскую руку, свистнул Матроса и пошёл к дому.

«Газик» фыркнул за его спиной и уехал. Над деревней Сычи нависли уже сумерки, уже во всех окнах зажглись лампочки и абажуры, а всё-таки в небе ещё виднелись остатки заката — день никак не хотел кончаться, а ведь и так уж длинный получился.

А книжка-то какая длинная получилась! Читаешь её, читаешь, никак не дочитаешь до конца.

Пора уж кончать книжку, пора и в окно поглядеть: что там на улице делается?

Краткий словарик, на всякий случай составленный автором

БЭМСКОЕ. — Такого стекла на свете нет. Есть богемское. Стекольщик переврал название, но это не страшно. Все стекольщики давным-давно переделали «богемское» в «бэмское».

КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ. — В свои детские годы автор думал, что «казеиновый клей» происходит от слова «коза». Это была большая ошибка. Но каково же было удивление автора, когда он узнал, что делают казеиновый клей из творога.

МАРЕНГО. — Кого ни спрашивал автор, никто не знает, что это за цвет — «маренго». Специально посетив город Карманов, автор посмотрел в глаза капитану Болдыреву и установил, что это чёрно-серый цвет, строгий.

МИМОЗА. — Ошибается тот, кто думает, будто мимоза — низкорослый цветок. Мимоза — это дерево ростом с берёзу. Самое удивительное, что название «мимоза» — неправильное. Это дерево с жёлтыми цветочками называется «акация серебристая».

НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ. — Железный шкаф,

который не горит в огне, в отличие от других шкафов, которые горят. Зато другие шкафы в воде не тонут, в отличие от этого.

ПАТЕФОН. — Музыкальный ящик вроде проигрывателя. Патефон заводят, как грузовик, специальной рукояткой.

ЯЗЬ. — Златолобая рыба с красными плавниками. Когда на берёзах лопаются почки, язь выходит на поверхность реки, хватает майских жуков, падающих в воду. Приятно окончить книжку хорошим словом — язь.